

**ВРЕМЯ
И МЫ** 115
1992

СВОЯ В ДОСКУ



ВАЛЮТА

ВРЕМЯ и МЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Восемнадцатый год издания

Выходит один раз
в три месяца

**115
1992**

НЬЮ-ЙОРК,

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВРЕМЯ И МЫ“, 1992

ИЗДАТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ВАГРИЧ БАХЧАНЯН
ЮРИЙ БРЕГЕЛЬ
ДЖОН ГЛЭД
ЮРИЙДРУЖНИКОВ
ЛЕВ НАВРОЗОВ
ГРИГОРИЙ ПОЛЯК

ВОЛЬФГАНГ ЗЕЕВ РУБИНЗОН
ИЛЬЯ СУСЛОВ
МОРИС ФРИДБЕРГ
ВЛАДИМИР ШЛЯПЕНТОХ
ЕФИМ ЭТКИНД (зам. гл. редактора)

Представитель журнала в Москве
Андрей Колесников
121433, Москва,
Малая Филевская ул., д. 54, кв. 4
Тел.:146-36-16

Израильское отделение журнала „Время и мы“
Заведующая отделением Дора Штурман
Адрес отделения: Jerusalem, Talpiot mizrach, 422/6

Французское отделение журнала „Время и мы“
Заведующий отделением Ефим Эткинд
Адрес отделения: 31 Quartier Boieldieu, 92800
PUTEAUX, FRANCE

Представитель журнала в Западном Берлине
Mariama Shmargon, Shlosstr 30/30
1000 Berlin (West) 19

ОСР и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

<i>А.Б. ЙЕГОШУА</i>	
Любовник	5
<i>Дмитрий РАШКИН</i>	
Мой миленький черненький котик	96

ПОЭЗИЯ

<i>Женя КИПЕРМАН</i>	
Бруклинская осень	132
<i>Аркадий КАЙДАНОВ</i>	
Обжитой дурдом.	136
<i>Кира ЧЕКМАРЕВА</i>	
За лишний час в цейтноте.	142

ПУБЛИЦИСТИКА

<i>Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН</i>	
Кому принадлежит будущее.	148
<i>Лев НАВРОЗОВ</i>	
Демократия, культура и оптимум счастья	165
<i>Андрей КОЛЕСНИКОВ</i>	
Ельцин как миф.	182
<i>Елена ГЕССЕН</i>	
Русский еврей на randevu.	193

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Жизнь и смерть Варлама Шаламова.	
Интервью Джона Глэда с Ираидой Павловной Сиротинской	204

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

<i>Борис ПИСЬМЕННЫЙ</i>	
Субурбия.	221
<i>Эдуард ПУСТЫНИН</i>	
Афганец	246



А.Б.ЙЕГОШУА

ЛЮБОВНИК

Перевод с иврита Наталии Вольберг

АСЯ

Старый барак молодежного лагеря, только чуть побольше, чем обычный. Первые вечерние часы. Очевидно, шла подготовка к спектаклю. Несколько человек бродило в одежде из тряпья, в соломенных шляпах, в мантиях из одеял, подпоясанных веревкой. У кого-то было загримировано лицо. Один из ребят писал музыку для спектакля, девочки окружили его, а он сидел на полу, скрестив ноги, склонившись над тетрадью, и быстро, быстро писал слова. Они напевали ему что-то, а он писал слова, только слова, но слова, в которых заключалась уже и мелодия. Из своего угла, поверх голов девушек, я могла различить эти музыкальные слова, которые он писал с необычайной скоростью. Но все ждали прихода еще кого-то. Ведущего артиста? Режиссера? Кого-то

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции

© „Время и мы”

ISSN 0737-7061

Окончание. Начало см. № 114.

важного, очень почитаемого, без которого спектакль не мог состояться. И вот мы слышим, что прибыл поезд, остановился на некоторое время и продолжил свой путь. Мы быстро вышли на площадь, чтобы встретить его. И он действительно приехал. Поезд, который остановился на минутку и уже исчез (видны только блестящие рельсы), оставил на платформе большую больничную койку, в которой кто-то лежал. Мы окружили его. Он был болен, не то чтобы действительно болен, но бессилён, что-то очень ослабило его. Он был слаб от родов, произвел на свет детей, но был и счастлив, горд собой, легкая победная улыбка сияла на его лице. Смесь Цахи с кем-то другим, лежит в одежде цвета хаки, армейское одеяло наброшено на него.

Ребята стали заниматься им, повезли кровать к барaku, веселились эдаким общим коллективным весельем. Были там и маленькие дети, словно куча мешков. Они были сложены в стороне, тихие и улыбающиеся, уже человеческие создания, не младенцы, - с волосами и зубами, одетые в маленькие дорожные костюмы с пуговицами и пряжками. Их подняли на деревянные подмости с навесом для багажа, и была суматоха и общее веселье, и только этот одинокий, самостоятельно породивший их человек был растерян и даже печален. А я стою в стороне и смотрю, чувствуя себя покинутой. Ведь любил же он меня когда-то? А сейчас лежит на койке, опершись о подушку, и смотрит на людей, которые кудахчут вокруг детей, родившихся без матери, рожденных им для всех, и это главное.

Я, колеблясь, приближаюсь к нему, стараясь не смотреть на него, гляжу на младенцев, неподвижно лежащих там с крепко запеленутыми ногами. Я знаю, что есть у них какой-то дефект, тайный, ужасный. А стоящие вокруг люди поднимают их и возвращают на место, выбирают для себя, торопят также и меня взять одного из них, а я вижу - там, в углу, лежит ребенок, уже довольно большой, такой старый недоносок с маленьким бельмом на глазу, и протягивает ко мне свои маленькие ручки.

- Скорее, скорее, - слышу я вокруг себя.

АДАМ

Так я, по крайней мере, понял. Испуганный, взбудораженный, стою я в воротах увядающего, запущенного сада ясным летним утром, опершись о крыло своей маленькой машины, смотрю на девушку, стоящую передо мной, чужую и знакомую, рассматриваю ее серьезное лицо, заостренное птичье личико, ее толстую косу, опускающуюся ей на грудь, окидываю быстрым взглядом ее фигуру, стопы ног в сандалиях, изгиб лодыжки и слушаю, как она рассказывает свой ясный и понятный сон; в первый момент мне показалось, что она придумала его, чтобы признаться мне в любви. Я не знал тогда о том, что выяснилось позже, после того как я женился на ней, что такими были ее сны - ясными и определенными. И всегда она напоминала их со всеми подробностями. Они были совсем не похожи на мои сны, которые я видел очень редко и которые были смутными и запутанными.

Мы решили поддерживать связь.

Но я приехал к ней уже в тот же вечер, на этот раз захватив с собой пиджаму, бритву, зубную щетку и рубашку на смену, уже влюбленный в нее, будто по какому-то тайному повелению; мне даже не пришлось прилагать усилий, чтобы влюбиться. Достаточно было вспомнить девушку, которую разбудил я тогда в палатке и которая казалась мне несравненно красивее ее теперешней. Я был влюблен не в нее и не в ту девочку, а в нечто среднее между ними.

Она несколько удивилась, увидев меня, возвратившегося к ней в тот же день. Ее отец, бродивший по дому, как лев в клетке, остановился на минутку и посмотрел на меня, а потом продолжал свое хождение. (Так бродил он по дому в течение многих лет, почти не выходя за его порог, не хотел видеть своих друзей. Он был горд и зол на весь мир, уверен в своей правоте, в том, что с ним поступили несправедливо.) Лишь ее мать, мягкая и чуткая старушка с подслеповатыми глазами, подошла ко мне и пожала мне руку. Большую часть вечера мы провели в ее комнате. Она говорила о своей учебе, о своих планах и о том, что творится в мире. Ее мысли

были заняты политикой, общественными процессами, вспоминала имена руководителей и события, всякие тайные вещи, неизвестные другим, которые казались ей чрезвычайно важными. Лишь тогда понял я, насколько притупили мою любознательность долгие годы одиночества и тяжелой работы в гараже. Потом я коснулся ее, прижал к себе, целовал ее губы, грудь, ощущая на губах кисловатый вкус мыла.

Ночью она снова постелила мне на старом диване в гостиной. В два или три часа ночи снова вошел опальный начальник в своей рваной пижаме, с возбужденным, пылающим лицом, опустился на колени перед большим старым приемником, крутил ручки, передвигаясь от станции к станции, ловил название государства или свое имя в неведомых даях.

Я невольно сжимаюсь под простыней, укрываюсь с головой, лежу тихо, мысленно спрашиваю себя, действительно ли я люблю ее.

Он закончил свое занятие и вернулся в свою комнату, а я не мог больше уснуть. В конце концов я встал, тихо оделся, побрился и зашел в ее комнату, чтобы разбудить ее. Но она спала очень крепко, сжавшись в комок; наверно, видела сон. „Люблю ли я ее на самом деле, - не переставал размышлять я, - не лучше ли мне вовремя уйти отсюда“. Оставил ей ничего не значащую записку и с первыми лучами солнца уехал обратно в Хайфу.

В полдень она появилась в гараже. Наверно, отец дал ей адрес. Я лежал под машиной, менял выхлопную трубу и вдруг увидел, как она нерешительно вошла. Я тотчас же встал и подошел к ней, покрытый копотью и хмурый, но она, ничего не говоря, подала знак, чтобы я продолжал работу, смотрела на меня испуганно, и это понравилось мне, успокоило меня, показалось естественным. Я вернулся к машине, залез под нее, работал быстро, сосредоточенно, чтобы отделаться от хозяина машины, который разглядывал с любопытством, как она бродит между машинами, рассматривает разбросанные вокруг инструменты, исследует фотографию голой девицы, которую я вырезал из журнала и повесил

на одну из стен. Она осмотрела все досконально, с большим интересом, даже сунула голову в старый мотор, стоявший на столе. Наконец-то мне удалось надеть выхлопную трубу, и клиент вместе с машиной испарился. Я подошел к ней, она не стала объяснять причину своего неожиданного приезда и не спросила, почему я убежал утром не попрощавшись. Она только хотела знать, как работает мотор. Я объяснил ей. Она слушала серьезно, глаза ее были грустными, голос дрожал, вот-вот заплачет. Но вопросы ее были толковыми, она не давала мне говорить о чем-нибудь другом, и я рассказывал, даже разобрал перед ней старый бензиновый насос, чтобы показать ей внутреннее устройство. Объяснял и объяснял, никогда не думал, что можно так много говорить о работе обычного мотора.

Через три месяца мы поженились.

Она перевелась учиться в Хайфу, и первые годы мы жили в доме моей матери.

Я не знал, будет ли наш брак устойчивым, иногда мне казалось, что еще немного и она оставит меня, пожалеет, что вышла за меня, найдет кого-нибудь другого, кто захочет взять ее. Я бы совсем не удивился, если бы она вскоре изменила мне. Но жизнь текла спокойно. Она была занята учебой, и мы вели очень размеренный образ жизни. Утром она шла в училище, потом оставалась в библиотеке, а я, закончив свой рабочий день, заезжал туда за ней. С моей старой и больной матерью она уживалась отлично, терпеливо слушала ее бесконечную болтовню, ходила с ней за покупками, выполняла все ее причуды. Поскольку мы, мама и я, сразу почувствовали, что она никудышняя повариха, мы поручали ей всякие домашние дела, например мытье посуды или пола, которые она выполняла очень старательно, не брезговала никакой работой. Уже тогда я обнаружил ее странную любовь к старухам. В Хайфе жили несколько ее старых теток, к которым она была очень привязана и которых часто навещала.

И училась, училась. Все время с книгами, тетрадями и сумками. Еще в училище она записалась на вечерние занятия в

университет. Почти каждые две недели сдавала экзамены, к которым готовилась вместе со своими соучениками. Оставляла мне записку, куда заехать за ней в конце дня: в библиотеку, в чей-нибудь дом, в кафе, иногда в парк. И я заезжал после работы, покрытый копотью, в грязной одежде. Тяжело шагал по библиотечным залам, между столами, привлекая внимание читающих, находил ее в конце концов и тихо касался ее плеча. Она кивала головой и шептала: „Только закончу страницу“. Я садился в сторонке, перелистывал открытую книгу, лежащую на столе, читал, но ничего не понимал, не находил связи. Как-то раз я сказал ей с улыбкой: „Может быть, и я стану изучать что-нибудь, сменю профессию, еще не поздно“. Она удивилась: „Для чего тебе?“ И действительно, для чего? Ничто из ее мира меня не привлекало.

Несмотря на то что она просила не утруждать себя и за ней не приезжать - может добраться домой сама, я каждый раз заезжал за ней. Мне хотелось знать, где она, с кем встречается, что делает в течение дня. Иногда меня одолевала странная ревность, я торопился закрыть гараж еще до окончания работы, специально отправлялся за ней за час или два до условленного времени, подстерегал ее на лестнице или подглядывал из какого-нибудь угла библиотеки. Но все напрасно. Она не думала оставлять меня, ей и в голову не приходило влюбиться в кого-нибудь другого. Потому что она нашла себе мужа и дом и могла погрузиться в интересные ей дела и даже заняться немного общественной работой. Она была членом студенческого комитета и однажды организовала забастовку, которая закончилась успехом.

Уже на второй год учебы она нашла себе работу на неполную ставку - замещать учителей в начальной школе. Были тогда у нее нелегкие дни. Ученики издевались над ней, хотя она никогда не рассказывала подробности о том, что там у нее происходит. Вечером она возвращалась немного не в себе. Но она очень старалась, тщательно готовилась к урокам, иногда закрывалась в ванной и громким голосом повторяла урок, сама задавала себе вопросы и отвечала на них. Кроме

того, она рисовала всякие таблицы, раскрашивала огромные листы картона, приклеивала сухие растения и обрамляла их веселыми рисунками. Поскольку она была страшной неумехой, я обычно помогал ей в этой работе.

В общем я сразу же понял, что она женщина удобная и уступчивая. Она очень старалась не ссориться со мной, относилась ко мне с уважением, даже с некоторой робостью. Может быть, была немножко говорлива, но поскольку я был способен погружаться в долгое молчание, было только естественно, что она говорила и вместо меня.

Почти каждый день или через день мы делали с ней „это“, но в большинстве случаев кончал почему-то только я. Мама старалась все время быть с нами, и так как целый день нас не было дома, она с нетерпением ждала возможности поболтать с нами вечером. Она не оставляла нас ни на минуту, входила без стука к нам в комнату, когда мы раздевались. Если я запирал дверь, она начинала беспокойно окликать меня из-за закрытой двери. Ночью она оставляла свет зажженным во всем доме. Спала она плохо и иногда заходила к нам среди ночи. Иногда мне приходилось ждать чуть ли не до утра, чтобы разбудить Асю.

Она послушно отвечала мне. Иногда шептала во сне, еще с закрытыми глазами: „Минутку, только досмотрю сон“, - и я сидел на краю кровати и ждал, чтобы она проснулась окончательно, улыбаясь напоследок своему сну. Она открывала глаза и помогала мне снять с нее пижаму.

На следующий год, когда она начала работать, мне стало все труднее будить ее рано утром, перед уходом на работу. Я брал ее полусонную, входя в ее сны. В то время я нанял первого своего рабочего - араба Хамида - и дал ему ключ от гаража, чтобы он открывал его утром и принимал первых клиентов. Это был первый рабочий, которого я нанял, - конечно, временно, с поденной оплатой, чтобы иметь возможность уволить его, если у меня не будет денег платить ему, но дела шли хорошо, и через некоторое время я нанял еще одного.

Таким образом, появилась возможность немного задерживаться по утрам. Я мог выслушивать ее рассказы о снах, которые все больше казались мне чужими и странными. Иногда мы говорили о себе - как и почему мы поженились, не сожалеем ли об этом. Она испуганно восклицала: „Ты жалеешь?“

Нет, конечно, почему мне было жалеть об этом? Хотя иногда, когда мне казалось, что я ее больше не люблю, я становился мрачным. Но она, как я уже говорил, удобная женщина, выполняет все мои прихоти, правда, особенных прихотей у меня и не было. В том-то и дело, что она не возбуждала во мне особых желаний. В те годы я физически тяжело работал, но не только из-за этого бывал я таким усталым по вечерам.

Что-то в ней утомляло меня. Что-то неопределенное. Я не говорю о тех коротких речах, которые она иногда произносила передо мной, я был готов слушать их. Но что-то в них казалось мне оторванным от жизни и не потому, что она жила в действительности, отличной от моей. Нет, это что-то другое... Что-то, чего я не мог выразить и потому молчал. Все больше и больше мне казалось, что настоящая действительность проходит мимо нее, что она упускает ее, удаляется от нее, но что такое настоящая действительность, мне, разумеется, трудно было сказать. И ведь она совсем не витала в облаках. Она выполняла свои обязанности, работала, училась, все время носилась куда-то, поддерживала связь со многими людьми. Она выработала у себя быструю походку, решительную такую, правда, из-за этого ей приходилось слегка сутулиться - такие старческие движения. Нет, нет, не старческие, серенькие, нет, не серенькие, что-то другое. Не те слова. Но как же описать ее? Я хочу описать ее. С чего начать? Мне кажется, что я еще не начал...

ДАФИ

Разве я жалуясь? В последнее время они оставляют меня в покое. Каждый по-своему. Оснат говорит всегда: „Дают тебе отдохнуть твои стареющие родители“. Мои стареющие родители? Я немного удивилась, но промолчала. Неужели?

Бедняжка Оснат, ей нет покоя. С ней вместе в комнате живет ее десятилетняя сестра, как две капли воды похожая на нее, только еще более некрасивая и, очевидно, более умная. Она действует Оснат на нервы, роется в ее ящиках, меряет ее одежду, вмешивается во все разговоры. Нет от нее покоя. Кроме того, существует еще младенец, родившийся полтора года назад к радости всего нашего класса, который в полном составе был приглашен на брит-мила* посмотреть, что ему будут делать. Такой сладкий ребенок, уже начал ходить на своих кривых ножках, добирается до всего. Как говорит Оснат, „бродячая катастрофа“. Всегда простужен, из носа течет, и он вытирает его об одеяла, простыни, одежду гостей. В руках он держит черный фломастер, и если у него хотят отобрать его, начинает вопить, словно ему в сердце вонзают нож. Рисует на стенах, в тетрадях и книгах. И всегда крики, плач и переполох. Сумасшедший дом. И еще приземляются у них гости со всего света. И тогда Оснат уступает свою комнату и спит на матрасе в гостиной.

„Ну и тихо же у вас. Давай поменяемся, Дафи“.

И правда, у нас тихо. В послеобеденные часы, когда мамы нет, а папа еще не вернулся с работы, в нашей затемненной и тщательно убранной квартире можно даже услышать тиканье счетчика. Просто нечеловеческое что-то. Счастье, что есть у меня своя комната, мое царство, мой балаган, неприбранная кровать, разбросанная по полу одежда, повсюду книги и тетради, постеры на стенах. Был период, когда они пытались заставить меня навести порядок, но потом отстали. „Это мой порядок, - сказала я, - мой ритм“, - и стала закрывать свою дверь, чтобы они не заходили ко мне и не искали причин для раздражения.

И вообще этот способ - закрывать дверь моей комнаты, когда я дома, который я изобрела в последний год, оказался очень удачным. Когда приходят гости, я могу забыть весь мир.

* Обрезание

Но у нас нечасто бывают гости. Иногда дядя, холостяк из Тель-Авива, приезжает в Хайфу, остается поужинать и исчезает. Несколько раз в году в пятницу вечером к нам наведываются несколько грузных пар, большей частью одни и те же люди: друзья их детства или учителя и учительницы из нашей школы, иногда даже преподающие в моем классе.

Однажды на такой вечер накануне субботы был приглашен Шварци, тогда я вышла посмотреть, как он ведет себя в товарищеской компании, и увидела, что большой разницы нет - надутый и важный, как обычно. Эти встречи довольно скучные. Все они никогда не говорят о том, что действительно их близко касается, не хотят рассказывать о своем сокровенном. Сидят и спорят о политике, обсуждают цены на машины и квартиры. И еще о неприятностях, которые доставляют им дети. Всегда есть один, который верховенствует над всеми, не дает никому вставить слова. Папа бесшумно подносит гостям вазочки с арахисом и фисташками, садится и молчит. Работа в гараже немного отупляет его. Раньше я иногда входила и усаживалась рядом со всеми, чтобы успеть съесть кусок пирога, который я заметила еще после обеда, прежде чем они уничтожат весь. Но в последнее время я решила, что с меня достаточно видеть моих учителей утром и мне совсем ни к чему встречаться с ними у себя дома, поэтому я стала закрываться в своей комнате, не подавая признаков жизни. Иногда какой-нибудь гость откроет осторожно дверь, думая, что здесь уборная, и удивляется, увидев, как я тихо сижу у стола, думая свои думы. Лстиво улыбается мне и начинает приставать ко мне с вопросами. Все поражаются, как я выросла. Когда я слушаю их, мне всегда кажется, что я расту у них на глазах.

Тогда я стала запирать дверь на ключ, иногда ни с того ни с сего, даже днем. Случается, что в послеобеденные часы мама начинает сильно стучать в мою дверь: тетя Стелла, сестра дедушки, явилась с визитом в сопровождении одной из своих подруг и хочет видеть меня. Я выхожу к ним, целую ее, иногда и другую старушку, которая не всегда знакома мне,

сижу около них и отвечаю на вопросы. Тетя Стелла, прямая и высокая, с длинными седыми волосами, с открытым лицом, около нее другая старушка, маленькая и худенькая, в темных очках, с толстой палкой - и начинается короткий допрос. Она знает обо мне очень много; она даже ухаживала за мной, когда я была маленькой и мама еще училась. Спрашивает про мои отметки, знает, что мне не дается математика, помнит имена Оснат и Тали, и даже об отце Тали, который сбежал, она знает, что-то понаслышке. Я отвечаю ей тихо, с улыбкой. Слушаю также, как она допрашивает маму: что она делала в течение последнего месяца, ругает ее за чрезмерную занятость, интересуется папиной спиной, которая болела у него несколько лет тому назад, передает нам привет от своих знакомых, которые чинили у него в гараже свою машину. Почти совсем не говорит о себе, только интересуется нами или другими, а мама напряженно сидит на кончике кресла, краснеет, как маленькая девочка, смеется неестественным смехом, хочет показать им недавно купленное платье, приносит из кухни пирожки, бутерброды, сыры, салаты, но Стелла не притрагивается ни к чему. Зато вторая старушка старательно жует. Мама просто обожает этих старух, ухаживает за ними с подобострастным восторгом. И когда они наконец-то встают, чтобы уйти, она самым настоящим образом умоляет их, чтобы позволили ей отвезти их домой.

В конце концов они уходят. Мама подвозит их до центра. Я тем временем открываю маленькую плитку шоколада, который принесла мне Стелла, шоколад самого высшего сорта. Мама возвращается через полчаса в хорошем настроении, усаживается в кресло, где сидела тетя Стелла. Она так потрясена этим визитом, что ничего не в состоянии делать. Я внимательно разглядываю ее: волосы ее седеют, на лице морщины, спина немного сутулая. Она стареет радостно, еще немного - и купит себе палочку.

АДАМ

Как же описать ее? С чего начать? Со стоп ног, тонких ног молодой девушки в тяжелых туфлях на низком каблучке, которые скрывают почти всю стопу, может быть и удобных, но бесформенных и немного сбитых.

Она одевалась странно. Вкус ее становился все более унылым. В центре Кармеля она нашла себе магазин, которым владели две старые „екит”. * Они одевали ее в серые шерстяные платья с белыми закрытыми воротниками и рукавами до локтя, в костюмы как бы мужского покроя, с подкладными плечами. Они делали ей скидку, и это доставляло ей большое удовольствие, даже если ей приходилось брать платье с каким-нибудь дефектом. Когда Дафи была маленькой, эти старухи привозили ей маленькие платья из того же материала, и Дафи выглядела в них, как маленькая старушка.

Я не очень-то разбираюсь в этом, но мне всегда казалось, что что-то в подборе цветов одежды у нее не в порядке. Кроме того, она была влюблена в несколько старых платьев, все время то удлиняла, то укорачивала их, следуя тому, что она называла „велеением моды”. Она несколько исправляла и вновь купленные платья - отрезала, изменяла, подшивала своими не слишком ловкими руками.

Она почему-то считала необходимым экономить деньги. У нее было какое-то опасливое отношение к ним. Смешная экономность, почти скупость, в основном в отношении себя.

Я почувствовал это давно, еще в ее доме, по тому, как делили еду на совершенно равные порции, а то, что оставалось, не выбрасывали, а снова разогревали и поджаривали. И еще по тому, как использовали старые обертки. Ее отец писал свои воспоминания, заполняя обе стороны листа, не оставляя полей, а когда в тетради кончались страницы, он продолжал на обложке. Но там, может быть, существовала на это причина, так как со времени возникновения государства ее

* Немки.

отец не работал и они жили на маленькую пенсию, которую он получал за службу в органах безопасности еще до образования государства. Его чрезмерная гордость не позволяла ему согласиться на какую-либо работу после того, как его отстранили.

У нас же в последнее время были деньги, и с каждым годом их становилось все больше. Правда, в первые годы нам хватало их с трудом, дела маленького гаража шли туго, кроме того, компаньон отца Эрлих решил выйти из дела и я должен был выкупить его часть, из-за чего я погряз в долгах. Когда появились первые прибыли, то каждую копейку я тратил на новое оборудование и расширение помещения. Она, конечно, не могла следить за развитием дела и довольствовалась тем, что я давал ей. Никогда не просила больше, а с тех пор как она начала работать, ее зарплата поступала в банк и там смешивалась с деньгами гаража. Сомневаюсь, знала ли она сама, сколько получает. И вообще странно, но денежный вопрос не интересовал ее, она только продолжала жить экономно, бережливо, словно выполняла какой-то долг. По прошествии нескольких лет она стала помогать родителям, я, конечно, не сказал ей ни слова, и она так была благодарна мне, что стала еще более экономной, до аскетизма, в отношении себя.

Прислуги у нас в доме никогда не было. В первые годы, после того как родился ребенок, и до той поры, как он пошел в детский сад, нам помогала ее мать. Приезжала она в начале недели специально из Тель-Авива, чтобы пожить у нас, а в конце недели приходила ее старая тетя, жившая в Хайфе. Иногда тетя брала ребенка к себе. А Ася носилась из школы на занятия в университет, училась и преподавала. Если что-нибудь в доме выходило из строя, холодильник или электрическая печка, я чинил их сам. Потом это мне надоело, и я, не спрашивая ее, заменил их новыми. Она бывала потрясена большими тратами. „Разве у тебя есть деньги? Ты уверен?” Когда мы сменили квартиру и залезли в долги, она решила, не посоветовавшись ни с кем, взять еще полставки в вечер-

ней школе, хотя мы могли расплатиться без всякого труда. Но я не сказал ничего, я приучил себя давать ей полную свободу действий. В это время дела в гараже пошли в гору, доходы быстро росли, Эрлих, бывший компаньон, вернулся в гараж. На этот раз он просто нанялся бухгалтером. Будучи никуда негодным механиком, он оказался чародеем в денежных делах. У него был свой особый метод манипулировать финансами. Если заходил новый клиент с просьбой о небольшой починке, мы брали с него ничтожную плату, иногда вообще ничего не брали, и он, конечно, возвращался, а через какое-то время мы нагревали его на приличную сумму, не слишком сильно, но, по крайней мере, на двадцать процентов выше прейскуранта. И он, разумеется, платил, не споря и не вдаваясь в подробности. Эрлих наладил посылку счетов по почте. Мы не требовали, чтобы клиент платил тотчас же, хотя машину он получал сразу после ремонта. Мы давали людям почувствовать, что оплата это вроде бы дело второстепенное, самое главное - хорошее обслуживание, совсем не упоминали об оплате, а через неделю или две, когда клиент уже и не помнил, что был у нас, по почте прибывал счет. И люди платили без возражений, словно это были счета за электричество или телефон. Все чаще счета стали оплачивать без всяких уточнений предприятия или фирмы. Но Эрлих умел справляться и с этим; хотя он не был моим компаньоном, но считал гараж своим и бился за каждую копейку. Он проделывал всякие сложные комбинации, зная досконально все параграфы налогового закона, советовался с юристами. Мы начали развиваться, нанимали все больше рабочих, открывали новые службы, продавали запасные части. Каждый месяц приносил доход в десять - пятнадцать тысяч лир. В своем бумажнике я всегда таскал тысячу пять, просто так, без особой надобности.

Но она не понимала, что происходит, вернее, даже не хотела понимать, да и я не очень-то старался объяснять ей. Она все еще считала гараж каким-то кооперативом, не представляя, что вся прибыль идет мне.

Она очень редко заходила в гараж, словно боялась находиться там. Я сомневаюсь, знала ли она, где он начинается и где кончается. Она только испытывала большое уважение к моей работе, видя, как я встаю на рассвете и возвращаюсь поздно вечером. Хотя теперь я больше и не приходил, покрытый копотью, и с исцарапанными руками, как было в первые годы.

„Тебе нужны еще деньги?“ - спрашивал я ее время от времени.

„Нет“, - быстро отвечала она, даже не раздумывая, и просила меня беречь деньги для гаража, на всякий случай. Что могло случиться - я не представлял. Может быть, заменят машины лошадьми?

Второй автомобиль, для себя, она не хотела ни за что. Для чего это ей? Она прекрасно обходится автобусом. Но я замечал взгляды, которые бросали в мою сторону учителя и ученики, когда мне приходилось заезжать за ней в школу или в университет и я шагал рядом с ней в своей грязной рабочей одежде, слегка поддерживая ее под руку. Ее это совсем не трогало, а меня задевало.

Я купил маленькую подержанную машину, поставил около дома и заставил ее учиться вождению. На первом экзамене она провалилась, но потом сдала; ей даже стало нравиться это. В моторе она не понимала ничего, да ей это было и не нужно. Я постоянно заботился, чтобы все было в порядке. Как-то раз она прибыла в гараж посреди дня. Порвался ремень вентилятора, и она чуть не сожгла мотор. Она была в совершенной панике. Меня не было на месте, и рабочие, которые не знали ее в лицо, не обращали на нее никакого внимания. Она осталась сидеть около руля, ждала очереди, как последний из клиентов, и проверяла тем временем контрольные своих учеников. В конце концов ее заметил Эрлих, вытащил из машины и привел в свою контору, приказав рабочим немедленно исправить поломку. Когда я появился и она уже стояла у исправленной машины, они не отводили от нее любопытных взглядов, внимательно рассматривая ее с какой-то разочарованной улыбкой. Теперь они уже знали, что это моя

жена. „Хади иль хатьяра?“* - спросил кто-то шепотом стоящего рядом товарища.

Бегать по магазинам и искать что-либо для себя она считала пустой тратой времени, просто утомительным занятием. Иногда она оттягивала даже необходимые покупки, продолжая пользоваться совершенно изношенными вещами - сумкой, перчатками или зонтиком. Долгое время ходила в потерявшей уже всякую форму соломенной шляпе, к которой испытывала необъяснимую привязанность. Когда я говорил ей что-нибудь об этой шляпе, она давала обещание купить новую, но откладывала покупку со дня на день. В конце концов, я просто брал и выбрасывал ее старье на помойку, даже не ставя ее в известность. Она искала день или два, пока я сам не сообщал об этом.

„Но почему? - удивлялась она. - Тебе просто хочется сорить деньгами.“

И тогда я решил сопровождать ее при покупках. Мы встречались в городе после работы, ходили по магазинам, чтобы что-нибудь найти для нее. Она не была требовательным покупателем. Все ей нравилось, казалось подходящим и практичным. Она лишь рассматривала ярлык с ценой, размышляя, какую же сумку ей купить - за сто или за сто сорок лир, а я стоял рядом, и у меня в кармане три тысячи лир, просто так, без особой цели.

„Это не дорого?“ - советует она со мной.

„Нет, совсем не дорого“.

Но она все же выбирает самую дешевую.

А я молчу, но злость все больше охватывает меня.

Я нарочно везу ее оттуда в самое дорогое, фешенебельное кафе, заказываю себе кофе, пирожки и бутерброды, что-нибудь легкое, а она ничего не хочет есть, только пьет кофе. „Я совсем не голодная“, - говорит она и смотрит голодными глазами, как я уничтожаю один бутерброд за другим.

„Ты и правда не хочешь есть?“

* Это его старуха? (араб.)

„Не хочу“, - она улыбается, рассматривает дешевую сумку, которую только что купила, убеждает себя, что это на редкость удачная покупка. „Она больше той, дорогой“, - объясняет она мне, а я молчу, улыбаюсь про себя, плачу официантке бумажкой в сто лир, оставив большие чаевые. Но она не обращает внимания на толстый бумажник, лежащий на столе. Ее совершенно не касается, сколько денег есть у меня.

„Хади иль хатьяра“ - вспоминаю я слова рабочего-араба, и у меня сжимается сердце.

А она улыбается мне добродушно, быстро подбирает крошки с моей тарелки и отправляет их в рот, допивает кофе, смотрит на часы. Она вечно торопится, думает о чем-то другом - об истории, экзаменах, педсовете. Удалось ли мне описать ее?

АСЯ

Я сижу в машине Адама, и хотя я никогда в жизни не водила ее, мне удастся заставить ее двигаться. Я чувствую огромную тяжесть этой машины, о которой даже не подозревала, мотор рычит, как трактор, но все-таки я двигаюсь вперед, перевожу скорости без скрежета. Мне трудно видеть дорогу, я глубоко вдавлена в сидение. В переднее стекло я вижу лишь крыши домов и небо. Еду наобум, чувствую, что мотор плохо слушается меня, на поворотах зеваю и слышу, как машина глухо ударяется об углы домов, но продолжает двигаться, словно танк, - любое препятствие ей нипочем. Я приезжаю домой уже вечером. Ставлю ее под уличным фонарем и выхожу взглянуть на повреждения. Ничего страшного, в некоторых местах следы слабых ударов, даже краска не слезла, только вмятины в железе, наподобие лужиц. „Он починит это сам“, - думаю я и поднимаюсь бегом по лестнице. Дверь открыта, в доме люди. Они сидят в кресле, на диване, некоторые устроились на полу. Тарелки с пирожками и арахисом, мисочки с маслинами и солеными огурцами.

Кто приготовил это все, может быть, они сами? Сидят и шепчутся, не прикасаются к еде, ждут меня. Но я иду искать Адама. Где он? Вхожу в спальню, он сидит там на кровати в своей рабочей одежде, один, будто прячется. Выглядит странно, более молодым, что-то мучает его.

„Что ты сделала с машиной?“

„Что сделала? Ничего...“

Но он отодвигает занавеску и показывает мне ее; она лежит вверх колесами, которые медленно двигаются, словно насекомое, перевернутое на спину и стучащее ножками, издавая легкое шипение.

Я удивлена, мне даже забавно; из соседней комнаты слышатся громкие голоса гостей, теряющих терпение.

„Быстро оденься и выйди к ним, машину перевернешь потом... Что тут такого?“

А он подходит к кровати, снимает рубашку, на лице его выражение глубокой боли, а я все время спрашиваю себя: „Что изменилось в нем, что изменилось?“ И вдруг понимаю - у него нет бороды, он вырвал бороду, очевидно одним движением, сам себя скальпировал, и она лежит там, на подушке, лежит целиком. Я просто не могу этого видеть...

АДАМ

Как же описать ее? С чего начать? Со стоп ног, маленьких и гладких, перед которыми опускаюсь я на колени в одну из ночей после несчастья, с силой сжимаю их, причиняя боль, покрываю их поцелуями, со смесью страсти и грубой силы, умоляю ее дать мне еще одного ребенка, чтобы не потерять надежды. Может быть, первый раз в жизни я перешел все рамки, буйство охватило меня.

Это случилось через три месяца после несчастья, от которого она оправилась как будто бы очень быстро - через неделю уже вернулась к работе и ко всем своим занятиям, но ночью не спала, даже не снимала одежды. Сидит и исправляет школьные работы, читает, дремлет в кресле, встает,

чтобы вымыть пол, помыть посуду, иногда даже начинает среди ночи варить, но главное - не гасит свет до утра. Тихая, деловая, ведет себя вполне разумно, но сторонится меня, когда видит, что я приближаюсь к ней, отдаляется от меня, словно я виноват или она виновата, будто могла быть вообще чья-то вина.

Я вижу в этом только несчастный случай и не могу даже слышать все эти таинственные предположения: он сделал это намеренно, он искал смерти, у него была неосознанная цель. Я разбираюсь немного в дорожных авариях. В гараж каждый день приводят машины, потерпевшие аварию, и мне приходится выслушивать массу рассказов, хотя я не спрашиваю, что случилось, как это случилось, кто виноват. В мои обязанности не входило судить людей, мне нужно было лишь установить повреждение и починить его. Но взволнованные водители не могут успокоиться, пока не расскажут мне, что произошло, им кажется, что я считаю их виноватыми, когда я брожу вокруг смятой машины с бумагой и карандашом в руке. Как будто это касается меня. Заплетающимся языком начинают описывать столкновение со всеми подробностями, иногда даже чертят маленькую схему; готовы признать свою вину, но только частично, в определенных пределах. Тот, другой ехал слишком быстро, или светофор был не в порядке, начинают развивать всякие странные теории о мертвом пространстве, характерном для этой марки машины. Шоссе, солнце, правительство, объяснения нагромождаются одно на другое, только никак не могут сказать просто: „Вел себя, как сумасшедший, превысил скорость, был рассеян, я виноват“. Даже видя пятна крови на машине, они продолжают описывать свое геройство: в последнее мгновение повернул направо, налево, дал задний ход, иначе все могло быть гораздо хуже. Могли задавить еще одного? Редко бывают люди, готовые сказать: „Проклятый, бессмысленный случай“,

Итак это случилось.

После пяти лет супружеской жизни у нас родился глухой ребенок. Мы назвали его Игал. Глухоту распознают очень

быстро. Уже в больнице дали нам специальное письмо к детскому врачу нашего участка. Нам объяснили, что у него со слухом что-то не в порядке. „Будьте осторожны, он не слышит“, - сказали нам. Я не буду рассказывать подробности, так как нет им конца, человек становится специалистом в том, что касается его беды, выучивает термины, знакомится с аппаратами, сравнивает с подобными случаями. Даже начинает дружить с родителями, у которых есть глухие дети. И не такое уж это большое несчастье. Есть вещи куда более страшные: слепота, тяжелые заболевания крови, умственная отсталость. Он был в общем-то здоровый ребенок, и с этим недугом можно мириться. В нас все время поддерживали надежду. А в первый год есть даже некоторые преимущества - он много спит, шум не мешает ему, хоть включая радио около его кровати, он радостно ползает возле работающего пылесоса, на грохочущей улице он спит сном праведника.

Мы были непрестанно заняты им. Ася проводила с ним большую часть своего времени, а я, который работал тогда с утра до ночи, старался не пропустить часа, когда его укладывали спать. Стою около него и говорю громким голосом, широко раскрывая рот, медленно двигаю языком и учу его говорить „папа“ или „голова“, а он смотрит на меня внимательно, повторяет за мной, но только звук его голоса какой-то странный, то очень низкий, то очень высокий, и он произносит совсем другие слова. Ты начинаешь схватывать другой язык, неясные слоги, странные звуки, твой слух обостряется, улавливает самые тонкие оттенки голоса. Он сопровождал слова широким движением рук, а когда это делает маленький ребенок, то это вызывает умиление. Интересно, что я понимал его лучше, чем Ася. У меня развилось особое чутье, позволявшее мне понимать его слова, которые, хотя и были ни на что не похожи, содержали в себе какой-то внутренний смысл.

Когда ему было два года, он стал пользоваться слуховым аппаратом. Гости приходят в дом и видят его, а ты немедленно начинаешь объяснять, даже если никто ни о чем и не спраши-

вает. Это первая тема, а иногда и последняя. Лишь бы не подумали, что он недоразвитый или ненормальный из-за того способа, каким он выражает себя. Ты начинаешь привыкать к его недостатку, он кажется тебе естественным. У мальчика есть друзья, один или два. Существуют некоторые проблемы, связанные с воспитанием и с общением, но при желании все это можно преодолеть. Главное - обращаться с ним естественно и даже иногда подражать ему, что я и делал, иногда без достаточной на то причины.

А он был умный ребенок и уже в двухлетнем возрасте начал болтать без остановки. Все время смотрит на твое лицо, на движение губ, а если ты забудешься и отвернешься в сторону, разговаривая с ним, то он дотронется до тебя, чтобы напомнить про себя и повернуть к себе твое лицо, или уткнется в тебя своей головкой таким сладким движением, что сердце буквально тает. Есть, правда, небольшие трудности, например, позвать его домой, когда он играет в саду. Нельзя просто крикнуть ему, надо спуститься вниз и дотронуться до него. Что же он слышал все-таки? Это мы тоже узнавали благодаря усовершенствованным аппаратам в поликлинике. Нам дали наушники и воспроизвели звуки, которые, согласно предположению, он слышит. Чтобы мы лучше понимали его и могли чувствовать то же, что и он.

Когда ему исполнилось три года, мы отправили его в частный детский сад, находившийся рядом с нашим домом. Сад держала старая симпатичная воспитательница. Там было всего, может быть, пять детей, и он отлично прижился. Она, правда, не очень-то понимала его, потому что сама была глуховата, но относилась к нему тепло и с любовью. Сажала его к себе на колени и целовала его, точно он калека, а не глухой. Он тоже очень любил ее и всегда говорил о ней с улыбкой и восторгом. Иногда я выкраивал время и уходил из гаража днем, чтобы зайти в садик. Я старался объяснить ей и детям, что он говорит, учил детей открывать широко рот, произносить слова медленно и внятно. Дети немного боялись меня, но они были милыми и старались выполнять все мои указания.

Может быть, я немного перестарался, и Ася попросила меня прекратить эти визиты. Сама она вернулась на работу и взяла полную нагрузку, может быть, слишком рано, но мне трудно судить.

Сначала мы интересовались специальными школами для него, Ася даже думала найти себе работу в такой школе, но потом поняли, что в этом нет необходимости. Он проявлял самостоятельность и сумел приспособиться к обществу нормальных детей. Его способность выражать себя становилась все более совершенной. По вечерам я забирал у него аппарат и говорил с ним, глядя ему в глаза, чтобы он понимал меня по движению губ. Был период, когда аппарат стал раздражать его, и мы отрастили ему волосы, чтобы не было видно аппарата. С помощью токарного станка в гараже я приделал ему наушник поменьше. В то время я был наиболее близок с ним, в основном из-за этой возни с аппаратом. Мы вместе разбирали его. Я объяснял, как он действует. Он трогал маленький микрофон и маленькую батарейку, у него, наверно, было техническое чутье, унаследованное от меня.

Самое главное - не обращаться с ним чрезмерно серьезно, шутить с ним, подшучивать даже над его глухотой, поручать ему всякую работу, например, вынести мусор, вытереть посуду. Мы стали подумывать еще об одном ребенке.

Когда ему было пять лет, мы переехали на новую квартиру. С сожалением пришлось нам оставить воспитательницу-старушку; он был ее воспитанником с самым большим стажем. В подготовительной группе садика ему было очень трудно привыкнуть. По утрам он плакал. Но потом, кажется, все уладилось. Последний перед его смертью пасхальный седе́р мы устроили в нашей новой квартире. К нам приехали Асины родители и несколько ее старых теток, и он пел перед всеми без ошибок „Ма ништана...“* каким-то прыгающим низким голосом. Все хлопали ему и хвалили его.

* „Чем отличается эта ночь...“

Дед, всегда хмурый и серьезный, посмотрел на него с большим интересом, потом смахнул слезу и улыбнулся ему.

Иногда он снимал аппарат - когда хотел посмотреть книгу или когда строил что-нибудь, трактор или подъемный кран; мы зовем его, а он не слышит, глубоко погруженный в свое безмолвие. Это нравилось мне - возможность прервать связь с миром, получить удовольствие от этой особенной тишины. Нет сомнения, что этот физический недостаток задержал его развитие. Однако он умел использовать преимущества своего положения. Иногда жаловался на боль в ушах из-за слишком сильного шума в аппарате. Мы посоветовались с врачами - они увидели в этом хорошее предзнаменование: часть нервов с возрастом начинала обнаруживать признаки чувствительности. Но действительное положение прояснится лишь через несколько лет. Нельзя было знать с уверенностью, мешает ли ему шум или он хочет понаслаждаться тишиной, царящей вокруг. Я сделал ему выключатель под рубашкой, около сердца, чтобы он мог иногда выключить аппарат, не снимая его. Предполагалось, что он будет пользоваться выключателем только дома.

Мы купили ему маленький велосипед, на котором он мог кататься на тротуаре вокруг дома. Нашли ему новых друзей, живущих поблизости. Он ладил с ними, а когда они раздражали его, просто выключал аппарат. Как-то раз один из детей пришел ко мне, чтобы пожаловаться, что Игал нарочно притворяется глухим, когда не хочет дать им какую-нибудь игрушку или поиграть в какую-нибудь игру.

Я сделал ему замечание, хотя мне понравилась эта его независимость.

Почему бы и нет?

В ту субботу, после обеда, за неделю до начала занятий в школе, он отправился к своему другу, который жил через четыре дома от нас, на той же стороне улицы. Друга не было дома, и он, очевидно, я не уверен в этом, выключил аппарат, возвращаясь обратно. Вдруг он увидел, что его друг играет с детьми на другой стороне улицы. Они помахали ему рукой,

чтобы он присоединился к ним, и он стал переходить дорогу, погруженный в полную тишину. Машина, ехавшая по склону с небольшой скоростью (были обследованы следы торможения), гудела ему, чтобы он успел остановиться, но он продолжал свой путь, погруженный в свое безмолвие, не бегом, а медленно двигаясь по направлению к машине.

Для него все происходило медленно и в полной тишине.

...Я спал, и меня разбудили дети, десять маленьких кулачков стучали в дверь. Я в майке и босой вылетел на улицу и побежал к каретескорой помощи, когда он уже лежал там. Стоящие вокруг дети стали испуганно кричать: „Подождите, подождите, это его папа“. Он еще дышал, глаза его были залиты кровью, шнур аппарата был оторван. Он не мог меня слышать.

Мы оба люди, твердо стоящие на реальной почве, старались вести себя разумно, без взаимных обвинений, не нападая друг на друга. Я думал, что она скажет мне что-нибудь о выключателе, который я приделал ему, но ей это не пришлось в голову. Я намекнул ей, но она не поняла, о чем речь.

Странно, что много времени после несчастья, два-три месяца, мы почти не оставались наедине. Ее родители тотчас приехали к нам и по нашей просьбе остались жить у нас. Отец ее был тогда уже очень болен, и за ним требовался уход. Старые ее тети приходили помогать - стряпать и убирать дом. Мы остались не при деле. Словно мы снова стали детьми. Я спал в рабочей комнате, Ася устроилась на диване в гостиной. В доме все время крутились люди. Будничные дела приобрели огромное значение, отвлекали внимание, как бы пытались наше горе: уход за отцом, особая пища для него, а главное - обилие гостей, которые приходили навещать не нас, а ее отца.

Я хорошо помню эти последние дни лета, мягкие, ясные. Дом полон тихими, молчаливыми людьми, в основном стариками. Бесперывно открывается дверь, и кто-нибудь появляется, чтобы выразить соболезнование; все многочисленные друзья ее отца, бывшие подчиненные тех времен, когда он

руководил тайной службой, деятели рабочего движения. Все, кто отдалился от него из-за того дела и с кем он порвал связь, решили помириться со своим бывшим опальным начальником, внук которого погиб под колесами машины и который сам был смертельно болен. Они приходили смущенные, опасливо смотрели на него; он принимал их маленькими группами, по два-три человека, сидя в кресле на затененной террасе, при свете наступающего заката, весь белый, с легким шерстяным пледом на коленях, лицо его спокойно, глаза обращены к морскому горизонту, слушает, как они оправдываются, уверяют его в своей верности, выражают ему свое соболезнование, сообщают ему и секретную информацию. А в стороне, в некотором отдалении, сидят старушки, пьют чай и шепчутся по-русски. Дни траура были для него днями великого примирения со всеми его врагами.

Я был в доме как чужой. Боялся даже зайти на кухню. Возвращаясь с работы, и через некоторое время зовут меня обедать; одна из старушек сварила обед для меня. Эрлих, бывший компаньон моего отца, пришел, чтобы выразить соболезнование и предложил мне помощь в гараже. Он начал просматривать со мной счета, подал мне несколько удачных идей. Через некоторое время я предложил ему работу в гараже в качестве наемного служащего, вести бухгалтерию, и, к моему удивлению, он согласился. Дотемна сидели мы с ним в гараже, возвращался я домой поздно вечером и находил дом, полный людей. Ася сидит в углу, ей подносят еду, выговаривают ей за что-то.

Через два месяца ее родители уехали, хотя мы и упрашивали их остаться. Ее отец был уже в очень тяжелом состоянии.

Только тогда мы ощутили, как опустел дом. Пустая детская комната. Мы снова перешли спать в спальню. В сущности, только я, так как она продолжала ночами бродить по дому. Я не собирался прикасаться к ней, но было странно, что она не хочет спать в своей кровати. Прошла еще неделя или две, она страшно похудела, лицо стало бледным, но она

вышла на работу, чтобы выполнять свои обязанности, как обычно, только продолжала дремать в кресле, не раздеваясь. „Может быть, теперь расстаться, может быть, пришло время избавиться от нее“, - думал я, но тоска по ребенку причиняла мне боль, я хотел еще ребенка, пусть даже глухого, как он, я хотел начать сначала, вернуть ее. Но к ней нельзя было никак приблизиться. Она сказала: „Нет у меня сил начать все сначала“.

У меня снова отросла эта дикая борода. Она страшно опустилась. Мы совсем не подходили для любви. С силой схватил я ее, без страсти. „Чего ты хочешь?“ - она сопротивлялась. И тогда я упал на колени, поцеловал стопы ее ног, сам себя возбуждая, потому что не было у меня желания.

ДАФИ

Канун субботы. Воздух неподвижен. Они ушли к друзьям. Когда они дома, их почти не чувствуешь, но когда они уходят, чувствуется их отсутствие. Я брожу по дому в одиночестве. Почти никогда я не оставалась дома одна вечером, накануне субботы. Но с Оснат нельзя встретиться, потому что у них дома радость и веселье, ее брат получил неожиданно отпуск из армии. Я звонила ей в девять часов, чтобы договориться о чем-нибудь, она сказала, что они в разгаре субботней трапезы, что приехал брат и что у нее есть много чего рассказать, и что она позвонит мне попозже и повесила трубку. И вот до сих пор еще не позвонила. Тали со своей матерью поехала в Тель-Авив, к бабушке. Каждые два месяца ее мама возит к этой бабушке, чтобы та смотрела, как быстро растет Тали и как хорошо за ней смотрят, может быть, бабушка увеличит алименты, которые она платит вместо своего сына, отца Тали, который исчез. Слишком привыкла я проводить время с ними двумя и, когда их нет, я чувствую себя совершенно потерянной. Не надо было оставлять организацию бойскаутов так быстро, для таких мертвых вечеров они незаменимы.

Десять. Я звоню Оснат. Они уже добрались до последнего блюда. В голосе ее нетерпение, она не думает, что сможет

прийти ко мне сегодня вечером. Я намекнула ей, что могу прийти к ней, но она притворилась, что не понимает, словно ревниво берегла своего старшего брата для себя, не желая делить его ни с кем.

Ужасный жасмин. С балконов вокруг слышатся голоса и смех. Студенты, снимающие квартиру в доме напротив, почти потушили свет, танцуют под такую томную музыку. Одна пара на балконе стоит в обнимку, целуется. Я брожу по раскаленному дому из комнаты в комнату, гашу свет, может быть, станет прохладнее. В кухню не захожу, чтобы не видеть кучу посуды, сваленной в раковину. Папа решил вмешаться и потребовал, чтобы я вымыла ее, силой вытащил губку из маминых рук, хотя для нее все это минутное дело. Короче, я обещала вымыть посуду, и я вымою ее, но не сейчас. Ночь длинна, а для этого необходимо хоть маленькое вдохновение. Самое страшное для меня - работать в одиночестве. Если бы был около меня какой-нибудь маленький брат или сестра, с которыми можно было говорить во время работы, которые могли бы помочь мне. Особенно угнетает это молчание, эта тишина. Подумать только, ведь сейчас у меня мог быть девятнадцатилетний брат. Тоже в армии. А они допустили, чтобы он погиб просто так, на улице. Пятилетний мальчик, милый такой - можно видеть на старой фотографии, - очень серьезный, не могли даже выжать из него улыбку, как будто он уже тогда понимал, что не проживет долго.

Пол-одиннадцатого. Ни капли воздуха. Честное слово. Все в белой дымке. Небо стоит, звезды, луна затянута молочно-белыми испарениями. Я тяжело переносу себя из одного кресла в другое. Я бы сейчас приняла душ, пошла спать, поставила бы будильник на семь утра и встала бы помыть посуду, но папа взбесится, если увидит полную раковину. И какая ему разница, кто вымоет. Я заглядываю в газету. Жизнь идет полным ходом, и вокруг музыка, голоса и смех. А я тут одна, где я внутри всего этого?

Когда мне было десять лет, мне рассказали о нем впервые, сказали, что он умер от болезни; лишь год назад папа открыл

мне правду, что его задавила машина, и даже показал, где это произошло. Как это они ничего не оставили от него в доме? Как это удалось им скрывать в течение многих лет? В последнее время я все больше думаю о нем, ведь вся жизнь могла быть иной. Меня охватывает тоска по этому брату. Я веду с ним воображаемые беседы, иногда представляю его себе девятнадцатилетним парнем, а иногда - пятилетним мальчиком. Иногда я помогаю ему раздеться, приготавливаю ему ужин, купаю его, а иногда он входит в мою комнату поздно вечером, улыбающийся высокий юноша, чтобы побеседовать со мной.

Я встаю и быстрыми шагами отправляюсь на кухню. Такая маленькая семья ухитряется испачкать так много посуды! Я сразу же отодвигаю в сторону две кастрюли и подгоревшую сковородку. Мое обязательство на них не распространяется. На всю остальную посуду, не дотрагиваясь до нее, выливаю жидкое мыло, открываю маленькую струйку воды. Необходимо, чтобы грязь размягчилась и отстала сама собой. Хорошенькое занятие для пятничного вечера. Я выхожу из кухни, гашу свет, сажусь за большой стол, прислушиваюсь к шуму воды на кухне, может, хоть немного посуда вымоется сама собой. Смотрю на пламя субботних свечей. Это я заставила их в этом году зажигать свечи в канун субботы. Сами они не подумали бы об этом, потому что они оба не верят в Бога, каждый по-своему.

Жара все усиливается. Я снимаю одежду и остаюсь в одних трусиках в темноте и смотрю на огонь, как загнипнотизированная. Я могу сидеть так часами и наблюдать, как тают свечи, стараюсь угадать, какая из них погаснет последней. Издалека слышится сирена скорой помощи. Длинные, тонкие насекомые с нежными крылышками гуляют по стенам, по столу. Я начинаю дремать, сквозь сомкнутые веки вижу колеблющееся пламя, но вдруг прикосновение чего-то мокрого к ступне заставляет меня встрепенуться. Вода? Откуда вдруг взялась вода? Господи, пол залит водой. Кран!

Не хотела мыть посуду, так сейчас придется мыть и пол. Время близится к полуночи. Они еще не приехали. Я бегу за

тряпкой, начинаю собирать воду, ползаю на коленках, выжимая, гоняюсь за водой, которая забралась даже под шкаф и замочила маленький чемодан, стоящий за ним. Я мою пол, собираю воду, с меня льет пот. Иду на кухню и мою эту проклятую посуду, чищу кастрюлю и сковородку, надраиваю их до блеска. Работаю как дьявол. Мою, вытираю, ставлю на полки. А потом иду помыться под душем, сижу в халате и роюсь в старом чемодане, который раньше никогда не видела. Немного покрывшейся плесенью детской одежды - моей или его? Кто может сказать? Не могли выбросить все это? Я засовываю вещи обратно в чемодан, ставлю его на место. Очень хочу спать, но жду их. Что случилось с ними? Голоса на улице стали тише, музыка прекратилась, прохладный ветер проникает в комнату, и воздух начинает двигаться.

Я помню только, что они вдруг оказались около меня. Я не слышала, как они открыли дверь, как подъехали, папа поднимает меня, поддерживает меня, доводит до кровати. Во сне я слышу, как мама говорит: „С ума сошла, весь дом вымыла " а папа вдруг засмеялся: „Бедная Дафи приняла меня всерьез".

АДАМ

И правда, как описать ее? Начать с маленьких и гладких стоп, удивительно хорошо сохранившихся, с высоким подъемом, милым, чистым. Стопа избалованной девочки, совсем не подходящая серьезной женщине, лицо которой покрыто морщинами и которая словно намеренно старается как можно раньше постареть.

Если бы кто-нибудь коснулся меня с истинным, дружеским чувством, с добрым намерением, с интересом, скажем, в один из вечеров кануна субботы, на встрече у наших старых друзей, у учителя Асиной школы или у товарищей из нашего класса, или у бывших наших соседей, с которыми мы сохранили связь! В тех компаниях, где мы бываем почти каждую пару недель, собираются в основном старые знакомые, и че-

рез некоторое время общая беседа затухает, тот, кто никому не давал рта раскрыть, замолкает и начинает есть свой кусок торта или отправляется в уборную, а серьезные беседы о политике или о неудачах подрядчиков, или о последней поездке в Европу прекращаются и начинаются мелкие частные разговоры и перешептывания. Женщины рассказывают о своих женских болезнях, мужчины встают, чтобы размяться, выходят на большую веранду, кто-то даже включает тихонько телевизор, а я все еще прилип к своему креслу, роюсь в пустой вазочке из-под арахиса, перебираю шелуху, тихий, как обычно, думаю о том, чтобы двинуться домой; если бы кто-нибудь, хороший друг, друг юности, обратился ко мне, положив руку мне на плечо, мягко дотронулся до меня с сердечной улыбкой, желая завязать со мной истинные отношения, прошептал бы, например, „Адам, ты всегда такой молчаливый, о чем ты думаешь все время?“

Я бы тут же сказал ему всю правду, почему нет? Я готов к этому.

„Ты, конечно, удивился, но я думаю о ней. Я не могу думать о ком-нибудь другом“.

„Оком?“

„О моей жене...“

„О твоей жене?.. Прекрасно, почему бы нет. Иногда нам кажется, что ты погружен в свои дела, думаешь о чем-то далеком, а ты всего-навсего думаешь о ней“.

„Мои мысли непрерывно заняты ею...“

„Что-нибудь случилось?“

„Нет, ничего“.

„Ведь вы вместе производите очень хорошее впечатление, такая прочная пара, в вас не чувствуется раздражения или напряженности. Мы немного удивились, когда она вышла за тебя замуж... Ведь она такая интеллектуальная, все время корпит над книгами, и это казалось странным, что именно ты из всех ребят. Ты понимаешь? Извини... Ты понимаешь?“

„Я понимаю, понимаю, продолжай...“

Если бы кто-нибудь из друзей, из тех немногих, что есть у

нас, один из трех-четырех, с которыми мы встречаемся постоянно, которые сопровождают нас в течение многих лет подошел бы ко мне сердечно, с открытой душой, даже посреди этого шума - ведь даже в небольшой комнате всегда можно найти место, чтобы поговорить о своем, личном.

„Ты вдруг исчез, бросил школу посреди занятий, пошел работать, прошло несколько лет, и вдруг вы вместе. Это было для нас сюрпризом.“

„И для меня тоже...“

„Ха, ха, а мы были уверены, что вы все время тайно влюблены друг в друга“.

„Я...“

„Конечно, ты. Мы помним историю, которая произошла с ней. Но сейчас ваша связь кажется естественной. Поверь мне, что если мы говорим о вас, то только хорошее, приятно видеть вашу семью среди нас, хотя ты всегда сидишь и молчишь. Нет, не думай, что это мешает, наоборот, честное слово, не знаю, как это выразить, Адам...“

„Спасибо, спасибо. Я понимаю“.

„Так о чем же ты думаешь все время?“

„О ней, я уже сказал тебе“.

„Но что ты думаешь о ней, если это не секрет...“

„Вовсе нет, о ее стопе...“

„Извини? Я не расслышал, ужасно шумно здесь... О чем?“

„О ее маленьких стопах“.

„С ними что-нибудь случилось?“

„Нет, ничего особенного, я только не знаю, замечал ли ты их хотя бы невзначай. Этот нежный детский изгиб ноги, ноги избалованной девочки. Она не совсем то, чем кажется...“

Если бы кто-нибудь положил руку на мое плечо, отвел бы меня в сторону, разговаривая со мной шепотом, с любовью и по-дружески, пусть даже с выражением превосходства на лице, пусть даже из простого любопытства, но глядя на меня открыто и прямо и говоря со мной, как истинный друг...

„Да, конечно... как можно знать. Прости меня. Стопы, ты сказал. Но кто может знать, кроме тебя, конечно... Прости...“

Она носит... прости меня... такие грубые туфли, на низком каблуке. И даже я, хотя и не очень-то в этом разбираюсь, удивляюсь... жена говорила мне... и это платье... все какое-то запущенное... она и косметикой не пользуется, я полагаю... В молодости она выглядела миленькой, не красавица, но вполне ничего, и именно она постарела так быстро, то есть, упаси Боже, не постарела, а несколько опустилась, может быть, из-за несчастья, которое у вас случилось, я понимаю, но нельзя давать им стариться так, мы все в этом заинтересованы, мы должны заботиться друг о друге, предупредить, перед нами еще длинная жизнь..."

„Я знаю... мне жаль..."

„Ой, Адам, прости меня. Но я говорил, как друг. Ведь мы знакомы уже так много времени. Ты понимаешь?"

„Все в порядке. Продолжай..."

Если бы кто-нибудь подошел ко мне, дотронулся до меня слегка, в час, близкий к полуночи, пусть был бы он даже немного навеселе, в час, когда все поднимаются и начинают бродить по дому, потому что одна молодая пара должна освободить приходящую няню, а остальные начинают раздумывать, остаться ли им еще или уехать, начинают разгуливать по квартире, заходят в другие комнаты, взвешиваются в ванной, выходят на веранду, а хозяева бегают за гостями, уговаривают колеблющихся остаться, мчатся на кухню и приносят какую-то жирную горячую еду с куском хлеба -то, что осталось от субботней трапезы или то, что предназначено для завтрашнего обеда, собирают снова своих гостей, суют им в руки тарелки, наливают красноватое острое варево. Ставят пластинку с греческими песнями, и тогда начинаются полусонные беседы, а ко мне если и подходят, то для того, чтобы выяснить цены на машины или узнать мое мнение о новой модели, только что появившейся в продаже, или спросить, как следует подбирать шины. Стоят с тарелками в руках и с уважением слушают, в этих делах я непревзойденный авторитет.

Некоторые из друзей были также моими клиентами, хотя я никогда не приглашал их приходить ко мне в гараж, даже

когда он был еще маленький и я боролся за каждого клиента. Я не нуждался в них, это они нуждались во мне.

На первых порах только немногие из них могли приобрести себе машину. Учителя начальной школы, мелкие служащие, студенты, бывшие мошавники* не могли позволить себе собственного автомобиля. Но прошло не так уж много лет, и большинство наших друзей обзавелись машинами. Правда, подержанными. Перед покупкой приводили машину ко мне на осмотр, чтобы услышать мое мнение. Мне надо было быть осторожным, не поддерживать в них иллюзий, а главное - не брать на себя ответственность. Иначе они стали бы появляться у меня через день, не могли бы обойтись без меня. Я должен был держаться подальше от их автомобилей.

Конечно, мне пришлось сделать несколько починок.

Директору, господину Шварцу, почистил головку мотора, старым друзьям из моего класса сменил рессоры и наладил мотор. Приятной паре, с которой мы познакомились на одной из встреч, он - пожилой преподаватель университета, а она - молодая, очень милая художница, прочистил охлаждающую систему и сменил сцепление. Школьной секретарше с мужем отремонтировал машину после аварии и поставил новую выхлопную трубу, учителю физкультуры, тридцатипяти-летнему холостяку, установил динамо и зарядил аккумулятор.

У всех, наверно, было такое чувство, что они что-то выгадали у меня, но на самом деле они ничего не получали, правда, они выигрывали на том, что я не заменял им хорошие части и не задерживал машину в гараже.

Были среди них такие, что возвращались ко мне, особенно если требовалась срочная починка, но гараж все разрастался, я часто отсутствовал, распорядитель не проявлял к ним особого внимания, а Эрлих никому скидок не делал, да и они сами уже привыкли к своим машинам, позже сменили их на более новые, стали считать себя специалистами, нашли более дешевые или более удобные гаражи.

* Мошав - сельскохозяйственный поселок.

Знакомая, которую бросил муж, оставив ей большую машину, одно время часто появлялась у меня. Она была совершенно не в себе и все время слышала какие-то странные шумы в машине, боялась, что вот-вот что-то взорвется там. Она стояла в стороне и ждала, чтобы я освободился и сделал с ней круг и сам ощутил, как машина дрожит и издает какие-то странные, таинственные звуки. Выезжал с ней на шоссе, идущее вдоль моря, вдыхал запах дешевых духов, украдкой смотрел на ее толстые короткие ноги, почти касающиеся меня, а она сидела, страстно глядя на меня, и говорила о своем муже, плакала, в то время как я машинально делал какие-то замечания. Она просто прицепилась ко мне. В конце концов я решил избавиться от нее, посылал к ней Хамида, и он выходил, делал маленький круг и возвращался, говоря ей тихо и с презрением: „Ничего, господа, все у вас в порядке“. И она отстала от меня.

Таким образом, в кругу наших приятелей я был для них просто другом. У них не было никаких задних мыслей, когда они приглашали нас. Я приходил, сидел и молчал. В некоторых домах уже знали, что я люблю фисташки и арахис, и ставили передо мной большую миску, как для собаки, и я сидел целый вечер, не произнося ни слова, только медленно перебирал орешки и ел. У меня был свой метод бесшумно раскалывать фисташки ладонями. После гибели мальчика с нами обращались осторожно. Был довольно длинный период, когда нас не решались приглашать, но потом попытались, очень деликатно, и мы ответили согласием. Мое молчание было позволительным, Ася же, наоборот, говорила все больше и больше, особенно она воспламенялась во время разговоров о политике, вступала в споры, всегда приводила неизвестные факты, уточняла необходимые детали. Я каждый раз заново удивлялся ее познаниям. Что это? Преимущество учителей истории и географии вообще, или она унаследовала это качество от своего отца? Она знала, например, численность населения Вьетнама, и где находится река Меконг, имена премьер-министров Франции до подписания Женевского соглашения,

и главные пункты этого соглашения, и когда начались все эти несчастья в Ирландии, и как там появились протестанты, и когда преследовали гугенотов во Франции, и кто они такие вообще, и что было голландское подразделение в нацистской армии. В сущности, не всегда было ясно, что она хочет сказать, но она всегда поправляла других или вносила ясность в какой-нибудь вопрос. Не то чтобы кто-то изменял свое мнение из-за информации, которую она непрерывно извергала, но я замечал, что мужчины несколько побаиваются ее, когда она сидит среди них на высоком стуле, с папиром между пальцами, не прикасается к еде, только пьет одну чашку кофе за другой, уже когда другие и не прикасаются к кофе, опасаясь бессонницы.

А я слушал и ее, и других женщин, которые уставали от этих споров и, сидя около меня, начинали шептаться о своих делах. У одной из знакомых был любовник, и все знали об этом. Все были ужасно возбуждены, хотя подробности были покрыты туманом. Только муж ее ничего не знал, гордо сидя в углу, этакий поперечник - на всякое высказанное мнение у него всегда находилось прямо противоположное.

Но Ася, как описать ее? Я все еще пытаюсь описать ее в эти первые ночные часы, когда мы еще торчим тут среди друзей, уже должны уходить, но все еще не можем найти подходящий момент. А я смотрю на нее, думаю только о ней, обнаруживаю горькие, агрессивные нотки в ее голосе. Странная уверенность в себе. Лишь время от времени, когда кто-нибудь решительно отвергает ее мнение, она на мгновение теряется и прежним, детским движением приближает свой кулачок ко рту, точно хочет пососать его. Большой палец секунду крутится около ее губ, но внезапно она приходит в себя и быстрым движением убирает руку ото рта.

Вечера кануна субботы у друзей, у старых приятелей, пустые беседы, лишённые смысла, но связь существует, и она настоящая и глубокая. Я все время смотрю на свою жену, исследую ее со стороны, чужими глазами, думаю о ней, ее теле. Сможет ли еще влюбиться в нее кто-нибудь посторонний, кто

увидит ее такой, как она есть, в этой одежде, в этом сером платье с выцветшей вышивкой, кто-нибудь, кто влюбится в нее и за меня.

ДАФИ

Однажды за ужином он сказал просто так, без всякой связи: „Завтра сбрею эту бороду, хватит, надоело“, - и посмотрел на маму, которая пожала плечами: „Как хочешь“.

Но я подпрыгнула.

„Только попробуй, она так идет тебе“.

А он улыбнулся: „Почему ты кричишь?“

„Не сбривай,“ - умоляла я.

„Что ты так волнуешься? Какое это имеет значение...“

Ну как я могла объяснить ему, почему для меня имеет такое значение его борода. Ведь без нее он будет таким жалким, все его могущество исчезнет, он станет простым механиком, тяжеловесным и ограниченным владельцем гаража.

Я стала мямлить что-то о том, что нос его станет длиннее, а уши будут торчать, что у него короткая шея, потом побегала за листом бумаги и нарисовала, каким он будет уродливым без бороды.

А они оба развеселились и смотрели на меня, улыбаясь, не понимая моих чувств. Но разве я могла сказать им, что его борода для меня что-то вроде знамени, символ...

„Кончай ужин“.

„Так ты обещаешь мне“.

„Я сбрею ее и снова отращу...“

„Нет, ты не отращишь ее снова, я знаю...“

Я не могла больше есть. Убираем посуду, снова молчим. Почему мама ничего не говорит? Папа уселся с газетой у телевизора. Действительно, что в этом важного. Мама моет посуду, но я взволнованно брожу по комнате, потом подхожу к нему:

„Так что же ты решил?“

„Что?“

„Насчет бороды...“

„Борода?... Что с бородой?..“

Он забыл или просто дразнит меня, он, может быть, вовсе и не собирался сбривать ее.

„Ты совсем с ума сошла. Нет у тебя других забот в жизни“.

„Тогда скажи...“

„Ты меня никогда не видела без бороды“.

„И не хочу видеть“.

Он смеется.

„Так что же ты решил?“

„Ладно, пока подождем“.

АДАМ

Чем была моя борода? Знаменем или символом, словно я говорил: „Не сможете заключить меня в рамку, определить меня запросто, а у меня есть свои мечты, другой предел, странности, может быть, какая-то тайна. Во всяком случае, не простой человек“.

А борода в последние годы стала большой и лохматой.

Она давала мне несколько явных преимуществ. В гараже она помогала мне сохранять дистанцию. Люди подходили ко мне с какой-то опаской, кроме того, я обнаружил, что на арабов борода производит большое впечатление, они очень уважали ее.

Сначала люди ошибаются и думают, что я религиозный.

В сущности, так это и началось. После того как мальчик погиб, появился у нас в доме мой незнакомый родственник, уже немолодой человек, который пришел, чтобы следить за выполнением религиозных обрядов; он заботился о том, чтобы мы сидели семь дней траура и не выходили из дома, чтобы я не брился в течение тридцати дней, и целый год каждое утро приезжал к нам на рассвете, чтобы взять меня с собой на молитву. Он сводил Асю с ума. Она не могла понять, почему я беспрекословно слушаюсь его. Но смерть ребенка обычно повергает тебя в какое-то смутное беспокойство, вызывает страх и путаницу. И если появляется человек, кото-

рый точно знает, что надо делать, в этом есть какое-то утешение. За месяц борода выросла необычайно. Она начала приобретать форму. Поскольку мне снова приходилось вставать рано утром, чтобы успеть на молитву в синагогу, оказалось очень кстати, что не надо бриться.

Тем временем родилась Дафи, которой очень нравилась эта борода, - все время засовывает в нее свою маленькую ручку и вытаскивает обратно. Мне кажется, что одним из первых слов, произнесенных ею, было слово „борода“.

На работе я старался не приближать свою голову к работающему мотору, чтобы бороду не затянуло внутрь. Рабочие должны были разобрать мотор, вынуть части и показать их мне.

Иногда я решал - хватит, надо сбрить, но в последний момент мне становилось жаль, и Дафи умоляла, чтобы я не сбривал ее. Я отправлялся в парикмахерскую немного подкоротить ее и подровнять. Но через некоторое время она снова становилась лохматой. В ней появилось много седых волос. Золотистый цвет потускнел и превратился в каштановый, много оттенков переплелось в ней, и парикмахер предложил мне как-то покрасить ее, но я, разумеется, отказался. Я не часто прикасался к ней, у меня не выработалось привычки, характерной для многих бородачей, поглаживать ее без всякой надобности, но иногда я вдруг замечал, что старательно жую ее своими зубами.

Часто я вообще забывал о ней, и ночью, лежа в кровати, когда я складывал газеты, собираясь уснуть, я обнаруживал в большом зеркале свое лицо, и мне казалось, что какой-то посторонний человек смотрит на меня.

ДАФИ

В комнате тихо, послеполуденное время, мы сидим втроем и готовимся к завтрашнему экзамену по истории. Каждая должна прочесть главу из учебника, чтобы потом рассказать ее другим. Брат Оснат в майке и трусиках тихо размазывает

по полу пирожное, я слышу из-за стены глубокий вздох, шепот и скрип стонущей под ними кровати. „Любимый! О, любимый! О, май дарлинг!“ Так явственно. Сердце мое замирает, мне кажется, что я почти теряю сознание. А Оснат поднимает голову от учебника, вся красная, начинает шелестеть бумагой, стараясь заглушить шепот, что-то произносит, ужасно нервничает, зло толкает младенца, а тот сначала удивляется, а потом раздражается диким воплем; она встает, стараясь не смотреть на меня или на Тали, которая не поднимает головы от книги; то ли читает, то ли думает о чем-то, и невозможно определить, слышала ли и она, как родители Оснат лежат себе вместе в соседней комнате в послеобеденный час, это, как видно, их любимое время, и это уже не в первый раз; наверно, в такой вот послеобеденный час много лет тому назад они зачали Оснат.

И тут я не могу удержаться от улыбки, Оснат угрожающе смотрит на меня, а потом на ее лице появляется улыбка, чего, собственно, она должна стыдиться?

Ведь у нее, честное слово, очень симпатичные родители. Мама веселая, шумная, голосистая, копия Оснат, высокая, худая, очкастая, все время сидит и болтает с нами со своим американским акцентом, помогает нам делать уроки по английскому, знает обо всем, что происходит в школе и имена всех ребят из нашего класса. У них милый дом с маленьким садом, в комнатах всегда беспорядок, но у них приятно бывать, они всегда приглашают нас, Тали и меня, поужинать с ними. Дети для них не в диковинку. Кроме Оснат есть старший брат, который служит в армии, сестра поменьше и полуторагодовалый младенец, который родился, когда мы кончали начальную школу, и было большое веселье в классе, потому что всех пригласили на брит-мила. Наверно, Оснат была единственной, кто не был от него в восторге, потому что он очень милый, ужасно толстый, с круглым животом и еще лысый, напоминает ее отца, который выглядит намного старше ее матери: профессор Техниона, кругленький, лысый, но полный жизни, веселый человек, до смерти

влюбленный в ее некрасивую мать. Когда он приходит днем из Техниона, то сразу же направляется в кухню и целуется с женой без всякого стеснения, в нашем присутствии, долго стоит с ней в обнимку, как будто они не виделись десять лет, потом врывается в комнату Оснат, начинает выдавать анекдоты, интересуется нашими уроками, ужасно симпатичный.

Проходит немного времени, и ее мать заходит к нам, приносит нам младенца и тарелку с пирожными - плата за то, чтобы мы последили за ним, когда они пойдут „отдохнуть“. Оснат начинает протестовать и говорит, что нам надо делать уроки, что у нас завтра контрольная, и тогда мама подмигивает нам и говорит: „Дафи и Тали посмотрят за ним - правда, девочки?“

И быстро бежит в спальню, которая находится за стенкой. Они не спят, мы слышим, как они болтают, смеются, низкий голос ее отца: „О, о, о“, и в конце наступает тишина, и вдруг, точно стрела вонзается в меня, - я слышу ее голос, нежный, стонущий: „О, мой милый, май дарлинг...“

Тут Оснат толкает ребенка, а ее мама вдруг спрашивает: „Оснат, что с Гади? Дай нам немного отдохнуть“. Я встаю, поднимаю его, пытаюсь успокоить, обнимаю, а он прижимает свои грязные ладошки к моему лицу, дергает меня за волосы, весь сияет: „Тафи, Тафи“.

Проходит немного времени, и они кончают „отдыхать“, идут в ванную помыться под душем. Ее мать в длинном цветастом халате, благоухающая, с мокрыми волосами выходит к нам, чтобы взять малыша, а отец в шортах и майке тоже заходит к нам с большим подносом, на котором стоят вазочки с разноцветным мороженым. Оба спокойные и веселые, словно светятся изнутри, сидят и лижут с нами мороженое, хотят, чтобы и мы приняли участие в их радости, забавляются с малышом, крепко целуют его, со страстью, которая еще не остыла в них. Оснат показывает отцу, что нам задано по математике, и он решает нам одну-две задачки, смешит нас разными необычными примерами.

„Уже переспали друг с другом“, - думаю я, глядя на них

обоих со стороны, не могу забыть глубокий, мощный вздох, что-то волнует меня, такая сладкая боль, не знаю почему. Как говорила она этому маленькому, кругленькому человечку: „Мой любимый, мой любимый, май дарлинг“.

И вообще, какое мне дело, в сущности.

- Вы останетесь поужинать, хорошо? - говорит мама Оснат. Тали всегда готова, а я вскакиваю с места. „Я не могу, мне надо домой, меня ждут“, - вру я. Собираю книжки и бегу домой. Никто, разумеется, не ждет меня. Мамы, как обычно, нет дома, папа сидит в кресле в своей рабочей одежде, читает газету. Когда они лежат вместе? Когда целует его? Кто говорит ему „май дарлинг?“

Я вхожу в гостиную, смотрю на него. Грузный, серьезный человек устало листает газету без всякого интереса. Я подхожу к нему, целую его в щеку легким поцелуем, чувствую, какая у него густая борода. Он удивлен, улыбается, слегка дотрагивается до моей головы.

- Что-нибудь случилось?

АДАМ

Но почему же не описать ее со всеми подробностями, ничего не скрывая, предельно точно? Может быть, я боюсь думать обо всем? Однако, чего же, в сущности, я хочу, ведь и я тоже изменился, нельзя сохранить юность навеки, да и не этого ищешь. На стенах гаража рабочие вешают фотографии обнаженных девиц, которые они вырывают из журналов. Я ничего не говорю, это не мое дело, и если это возбуждает у них желание работать - чего же лучше? Но Эрлих нервничает, вмешивается, завел свою собственную цензуру, решая, что можно, а чего нельзя, срывает фотографии, которые кажутся ему слишком наглыми, гневно протестует со своим немецким акцентом: „Пожалуйста, только не то, что вызывает отвращение, без пар. Что-нибудь эстетическое...“ А рабочие насмеяются над ним, начинают спорить, стараются выхватить у него сорванную фотографию, весь гараж

покатывается со смеху, работа прекращается, молодые ребята стоят и смотрят, раскрыв рот. Я приближаюсь к собравшимся, не вмешиваюсь, конечно, рабочие улыбаются мне и возвращаются к работе, я смотрю на фотографии - молодые гладкие тела, бесконечные вариации на одну и ту же тему. Несколько фотографий висят здесь, может быть, десять-пятнадцать лет. Девушки, которые тем временем превратились в толстых женщин, постарели, а возможно, и умерли, превратились в прах, а здесь, на покрытых копотью стенах гаража, они вечно молодые, и Эрлих стоит возле меня, покраснел, то ли сердится, то ли улыбается, смотрит на разорванную фотографию в своей руке, старый греховодник, он еще сохранил желание. Подмигивает мне: „Проказники, хотят превратить гараж в дом терпимости“.

Но меня все это не трогает, во мне как будто исчезло всякое желание. Уже после рождения Дафи почувствовал я первые признаки, наступило вдруг глубокое разочарование, я пожалел - зачем настоял на своем, ведь мальчика все равно не вернешь, и почему мы не расстались тогда.

И я замечаю, что Ася вернулась к обычному распорядку жизни, словно забыла все, и новая, незнакомая страсть проснулась в ней. Она ищет моей близости при каждом удобном случае. Иногда сидит на кровати голая, читает газету и тихо ждет меня, а когда я беру ее, вся загорается и быстро успокаивается, как бы сама собой, не обращая на меня внимания.

Я начал вести себя грубо, но это не трогало ее. Намеренно заставляю ее ждать, жестокость, о которой я и не подозревал, захлестывает меня, я опасаясь, что она будет расти, но Ася все еще тянется ко мне, жестокость не отталкивает ее, а, может быть, наоборот.

Я начинаю отдаляться, изменяю свои привычки, рано ложусь спать, гашу свет, укрываюсь одеялом, притворяюсь спящим, встаю на рассвете и ухожу. Она пытается остановить меня, но боится сказать что-либо определенное и в конце концов отстает. В те дни она снова похудела, будто сжалась, появились первые признаки костлявости в ее теле,

всегда наклоненном несколько вперед в быстрой походке, которую она выработала у себя.

Она отчаялась, входит ночью в спальню и не зажигает свет, чтобы не разбудить меня, но я иногда внезапно встряхиваюсь, прижимаю ее к себе, пытаюсь ласкать ее, она шепчет: „Ты не должен заставлять себя“, - а я отвечаю: „Я и не заставляю“, - а сам ищу зеркало в комнате, чтобы увидеть то, что я не чувствую.

ВЕДУЧА

Ряды растений, фруктовый сад, плантации цитрусовых, поле пшеницы и посредине что-то большое и старое. Банан? Арбуз? Старый темный баклажан. Низкий-сухой и ветвистый куст воткнут в кровать, набросили на него пижаму и халат. Его корни под простыней, маленькие и кривые, как твердые большие пальцы ног, большой ствол - мягкий влажный пар, и из него торчат две жилистые ветви, на которых застыл тонкий слой смолы. Тонкий мох покрывает верхушку из белых листьев.

Думает древнее растение, будет ли оно расти до потолка или, может быть, пробьется через окно наружу, выйдет на солнце, даст цвет и плод?

Приходят, вливают кашу в упрямое растение, поят желтым чаем. Растение молча впитывает, чувствует лишь, как солнце переходит от окна к окну, пока не исчезнет. Ночь. Растение в темноте. Но дверь открывается, и сквозняк обвеивает просыпающееся растение. Ветер пробегает между ветвями, проникает до корней. Дверь закрывается, ветер застрял внутри растения, которое раскачивается само собой. Кора шелушится, становится тоньше, мох превращается в волосы, смола в кровь, ствол становится мягче, полый внутри, начинается какой-то свист, идущий изнутри, ветер входит, ветер выходит и снова входит. Растение орошает само себя, выделяя тонкую струю жидкости, растение издает звуки, ветер душит его. Два желудя пробиваются около вершины,

становятся прозрачными, застывшее стекло воспринимает свет, нежные, покрытые волосиками листья слышат голоса. Растение ощущает свой запах, чувствует горьковатый вкус разрезанного листа во рту. Голод, жажда, ощущение. Начинает стонать - а...а - а - а...о... - стон зверя, превратившегося в растение.

ДАФИ

Всегда там полумрак, потому что квартира на первом этаже, воткнута прямо в склон горы, но еще и из-за занавесок, которые мешают проникновению света, и слабых лампочек, потому что мама экономит, но вот почему она не проветривает комнаты - ведь воздух ей ничего не стоит. Тяжелый запах духов, духов каких-то нечистых. Когда мы с Оснат приходим туда, у нас портится настроение уже на лестнице, поэтому мы почти не ходим к Тали, только если она больна.

На ней всегда один и тот же старый халат, у которого не хватает пуговицы именно посередине, в том месте, откуда можно видеть ее громадные груди. Большая опустившаяся женщина со светлыми тусклыми волосами, распущенными по плечам. Может быть, когда-то она и была красивой, но сейчас такая сухая, ужасно действует на нервы, открывает дверь и смотрит на нас тяжелым взглядом: „А, наконец-то вспомнили, что у вас есть подруга“. Говорит это, даже если Тали заболела только сегодня утром.

Мы заходим в комнату Тали, она лежит такая красивая, раскрасневшаяся от высокой температуры, садимся возле кровати и ждем, когда ее мама выйдет, и тогда начинаем болтать с ней, рассказываем, что случилось в школе, отдаем ей контрольную, которую вернули сегодня, и утешаем ее тем, что полкласса получили двойки, а Тали, она не очень-то горлива, только улыбается своей лунатической улыбкой, берет контрольную и кладет ее под подушку. Но проходит немного времени, и в комнату входит ее мама, пододвигает кресло к двери, половина его в комнате, а половина за порогом,

садится с книгой на венгерском языке и с сигаретой в зубах, исподтишка бросает на нас недовольные взгляды, короче говоря, присоединяется к нам, как будто мы пришли навестить ее.

Оснат сказала мне, что кто-то говорил ей, что мама Тали только наполовину еврейка и она совсем не рвалась в Израиль, но отец Тали заставил ее приехать, а потом сам сбежал, оставив ее здесь. Мы ни слова не сказали об этом Тали, может быть, она и не знает, что она на одну четверть нееврейка, но мне это помогло многое объяснить и в первую очередь - эту ужасную горечь, исходящую от ее матери.

Сидит тихо, недалеко от нас, делает вид, что читает книгу, окружена облаком дыма, серьезная такая. Осматривает нас, словно мы какой-то товар, не улыбается, даже когда мы рассказываем анекдоты. Она вдруг может прервать Оснат посреди предложения каким-нибудь странным вопросом.

„Скажи, Оснат, сколько зарабатывает твой папа?“

Оснат совершенно ошеломлена.

„Я не знаю“.

„Приблизительно?“

„Не имею представления“.

„Три тысячи в месяц?“

„Не знаю“.

„Четыре тысячи?“

„Не знаю!“ - Оснат почти кричит. Но мама Тали не поднимает голоса.

„Так спроси его как-нибудь“.

„Для чего?“

„Чтобы знать“.

„Хорошо“.

И тогда наступает тяжелое молчание, и мы снова пытаемся вернуться к прерванной беседе. И вдруг опять мама:

„Так я скажу тебе. Там, в Технионе, каждый месяц дают им надбавку. Он приносит домой по крайней мере четыре тысячи чистыми.“

„Чистыми от чего?“ - спрашивает Оснат со злостью.

„От налогов“.

„А...“

И снова наступает какое-то неловкое молчание. Какое ей, черт возьми, дело, сколько получает папа Оснат!

„О папе Дафи“, - она вдруг обращается ко мне с ехидной улыбкой, удар сбоку, - я не спрашиваю, потому что ты действительно не можешь знать, он и сам не знает. Еще немного, и будет миллионером со своим гаражом, хотя твоя мама и старается скрыть это“.

Теперь ошеломлена я, не могу произнести ни звука. Вот ведьма, сидит там в кресле со своими оголенными ногами, гладкими, как маргарин. Хищные ногти покрыты красным блестящим лаком. Когда я вижу ее в этой позе, я сейчас же определяю ее нееврейскую половину, нижнюю половину.

Удивительно, что Тали никогда не прерывает мать, когда та начинает говорить ерунду, не обращает на нее внимания, сидит молча в кровати, уставившись в окно; ее совсем не трогает, что ее мать так действует нам на нервы.

Мы начинаем нащупывать другую тему, что-то начинаем рассказывать Тали, и вдруг снова удар из угла комнаты.

„Скажите, девочки, вы тоже каждую неделю требуете новую одежду, как Тали?“

Мы смотрим на Тали, но ее лицо совершенно спокойно, словно она вовсе не понимает, о чем речь.

„Скажите, скажите... Я получаю только тысячу двести в месяц и за квартиру плачу триста. Скажите ей, чтобы не просила каждую неделю новое платье. Достаточно раз в две недели. Может быть, вы можете на нее повлиять?“

У нас появляется желание немедленно убраться отсюда, как сделал это отец Тали, только жаль бедняжку Тали. Оснат начинает протирать свои очки, руки ее дрожат, я вижу, как ее охватывает характерная для нее нервозность, но она не говорит ничего, я тоже молчу. Мы знаем, что на любой ответ последует ехидное замечание. Мы стараемся не обращать на нее внимания, возвращаемся к нашей беседе, говорим отрывистыми фразами, тихим голосом, украдкой смот-

рим со стороны на мать, сидящую на пороге, лицо у нее жесткое, светлые волосы разбросаны по плечам. „А может быть, - думаю я, - нееврейская половина находится именно наверху“. Проходит четверть часа, мы почти забываем о ней, и вдруг:

„Что вы думаете, стоит ли держать Тали в школе?“

„А почему нет?“ - подпрыгиваем мы.

„Но ведь она очень плохо учится.“

„Неправда,“ - протестуем мы и называем имена нескольких учеников из нашего класса, которые еще хуже Тали.

Но на мать это не производит никакого впечатления.

„А что, она получит там профессию? Может, лучше отправить ее работать...“

Но мы боимся потерять Тали, начинаем объяснять, как важно закончить школу для будущего, а ее мама смотрит на нас мрачно, исследуя нас, но слушает внимательно, хотя и настаивает на своем.

„Еще через два-три года Тали может выйти замуж, Тали очень красивая, все это видят, намного красивее вас, девочки... ее отхватят сразу же... так зачем ей оставаться в школе?“

Меня это начинает развлекать. Но Оснат бледнеет, встает с места, хочет уйти; каждый раз, когда речь заходит о внешности, она ужасно нервничает.

„Но, может быть, ты и права, Оснат, - продолжает мама Тали спокойно, действуя нам на нервы своим венгерским акцентом, - хорошо, чтобы у нее был какой-нибудь аттестат, у меня нет никаких аттестатов, и я дорого заплатила за это, я думала, что достаточно любви...“

Лицо ее искажается, словно ей хочется выругаться или заплакать. Она встает и выходит из комнаты.

Мы смотрим на Тали, совершенно опустошенные всеми этими разговорами, но на ней ничего не отражается. Ненормальная, улыбается про себя своей легкой улыбкой, о чем-то думает, тербит кончик одеяла, ей на все наплевать. Оснат уже собирается уходить, но Тали своим нежным голосом го-

ворит: „Только минутку, так что же задано?" И мы снова садимся, ведь, собственно, затем мы и пришли. Внезапно снова появляется ее мама, на этот раз с пирожными и кофе, усаживается опять в свое кресло, курит сигарету за сигаретой, мы ждем следующего удара, но она молчит. В комнате темнеет. В конце концов мы расстаемся с Тали, ее мама провожает нас молча до двери, около двери с силой хватает нас за руки и шепчет со страдальческим выражением лица:

„А что она рассказывает вам? Со мной она не разговаривает. Что говорит?"

И пока мы ищем слова, чтобы ответить ей, она крепко обнимает нас.

„Не оставляйте Тали, девочки".

И выпускает нас на улицу.

Мы поражены, не можем произнести ни звука, идем молча по улице, останавливаемся у дома Оснат, не можем ничего сказать друг другу, но не можем и расстаться так просто, словно заразились от Тали ее молчаливостью. Под конец у Оснат вырывается:

„Если бы мои родители разошлись, я бы покончила с собой".

„Я тоже," - тотчас же говорю я, но сердце мое сжимается. Она может позволить себе говорить так, потому что у них там любовь, объятия, и поцелуи, и „май дарлинг" каждый день после обеда. А у меня дома - молчание. Я поднимаю голову, она впилась в меня глазами, словно изучает.

„Чао," - бросаю я и сейчас же ухожу.

АДАМ

Может быть, расстаться? Начало лета. Страшная жара. Я просыпаюсь весь в поту около полуночи. Где Ася? Я встаю. В комнате Дафи горит свет, но Дафи спит, на ее лице книга. Я убираю книгу, гашу свет, но в доме есть еще одно освещенное место, я вхожу в рабочую комнату. Она сидит, маленькая и худенькая, за большим столом, ее волосы еще влажные после

душа, она закутана в изношенный банный халат (его уже пора выбросить), ее маленькие босые ноги болтаются в воздухе, в комнате гуляют огромные тени, свет лампы едва освещает бумагу и книгу, лежащие перед ней. Она удивлена моему внезапному появлению. Неужели она до сих пор боится меня?

Она решила во время летних каникул попробовать написать руководство по методике преподавания истории Французской революции, собрать новые источники с разъяснениями для учителей. Из разных библиотек она приносит книги и толстые тяжелые словари с толкованиями старых французских слов.

Я опускаюсь на кровать рядом с ней, улыбаюсь ей, она улыбается мне в ответ, смотрит на меня, а потом возвращается к своим книгам. Ей совсем не мешает, что я сижу сбоку и наблюдаю за ней, так уверена она в нашей связи, что не чувствует необходимости положить ручку и сказать мне что-нибудь. Интересно, найдется ли кто-нибудь, кто захочет отобрать ее у меня?

Уже давно я не прикасался к ней. Она ничего не говорит. Я исследую ее, прищурив глаза. Через растегнутый халат видны ее бледные груди. Если бы я встал и обнял ее сейчас, она не стала бы сопротивляться? Может быть, обрадовалась бы, но, возможно, и она потеряла желание.

„Ты еще видишь сны?"

Она откладывает ручку, удивленная.

„Иногда".

Молчание. Может быть, она рассказала бы мне свой сон, как в первые годы. Вот уже много лет не рассказывает она мне свои сны. Она выглядит озабоченной, серьезной, испытующе смотрит на меня, потом снова берет ручку, читает то, что написала только что, и зачеркивает.

„Ты не устала?"

„Устала, но мне хочется закончить эту страницу".

„Ну, как продвигается?"

„С трудом. Этот старофранцузский очень сложен".

„Всегда тебе надо изучать что-то".

Она краснеет, в глазах появляется какой-то странный свет.

„Ты хочешь, чтобы я перестала?“

„Нет, почему? Если это важно для тебя...“

„Нет... чтобы я теперь перестала“.

„Нет, для чего? Если ты не устала...“

Я растягиваюсь на кровати, сую под голову подушку, отяжелевший и сонный. Я не сказал, что не люблю ее, я еще не сказал это, я только уверен, что так это долго продолжаться не может.

Под скрип ее пера и шелест бумаг я засыпаю, потом я слышу, как она шепчет: „Адам, Адам“, - в комнате темно, она стоит надо мной и пытается разбудить меня. Я не двигаюсь, хочу увидеть, дотронется ли она до меня, но она не дотрагивается, ждет некоторое время и выходит из комнаты.

АСЯ

Я в одном из классов, где лежат остатки строительного камня, в углу куча песка. Большинство учеников еще не в классе, несмотря на то, что звонок уже прозвенел и в ушах продолжает звучать что-то вроде его эха. Я спрашиваю одного из учеников, где остальные, и он говорит мне: „Они на уроке физкультуры, они сейчас придут“, но они не приходят, и я нервничаю, потому что хочу начать урок, книги и конспекты лежат открытые передо мной. Тема - что-то о Второй мировой войне, в этой теме я не чувствую себя уверенно, ее всегда трудно объяснять ученикам.

Парнишка, который говорил со мной, сидит за первой партой. Это новый репатриант из Восточной Европы с болезненным лицом, у него сильный акцент, сидит, весь закутанный в тяжелое пальто, в такой смешной сибирской шапке, в шарфе, смотрит на меня хитрыми глазами, изучает меня. В сущности, в классе, кроме него, никого нет, за других учеников я приняла тени, отбрасываемые стульями.

Я сержусь, спрашиваю его: „Что, неужели тебе так холодно?“

Он отвечает: „Немного “.

„Тогда разденься, пожалуйста, невозможно сидеть так в классе“.

Он выпрямляется, начинает стягивать шапку, пальто, сворачивает шарф, снимает перчатки, снимает свитер, растегивает рубашку, снимает ее, садится и стягивает ботинки, носки, идет и останавливается в углу около маленькой кучки песка, спускает брюки, снимает майку, трусы с таким безразличием, даже не краснеет. Теперь он стоит там, в углу, совершенно голый, толстенький, с телом мраморной белизны, даже не прикрывает свой член, который болтается свободно, член взрослого юноши. А у меня прерывается дыхание, смесь отвращения и дикого желания, но я ничего не говорю, перелистываю лежащие передо мной записи. Он проходит мимо меня и выходит из комнаты. Идет медленно, плечи его опущены, бедра раскачиваются. Я хочу сказать ему: „Иди сюда“, но остаюсь в классе, который сейчас совершенно пуст в свете этих странных сумерек.

ВЕДУЧА

Но какой это зверь, неизвестно. Кролик, лягушка, старая птица? Может быть, что-то большое - корова или горилла. Еще не решили. Зверь вообще, зверь зверей, печальное чудовище лежит под одеялом, согревается в большой кровати, трется своим телом о смятую простыню, язык его двигается, все время облизывает нос, подушку, глаза бегают по сторонам. Непрерывно думает животное о еде и воде, которую оно будет есть и пить, о еде и воде, которую оно ело и пило, тонко повизгивает. Приходят, поднимают одеяло, уговаривают зверя встать, сажает его на стул, моют его кожу тряпочкой, подставляют ему горшок, приносят тарелку с кашей, берут ложку и кормят.

Ночь. Темно. Зверь нюхает мир, гнилой и сладкий запах мяса. Месяц смотрит в окно и воет зверю. Зверь воет ему в ответ - о...о...ой, хочет вспомнить что-то, чего не знает, что

лишь кажется ему, что знает, царапает стену, пробует облупившуюся известку. Приходят успокоить зверя, гладят его по голове, произносят тихо - шш...шш... Зверь замолкает, хочет плакать, но не знает как.

Вокруг яркий свет и голоса. Солнце. В коровнике, конюшне, птичнике - шум. Напротив лицо какого-то существа. Существа - не зверя. Существо говорит зверю: „Хочешь, чего хочешь? Хочешь, как хочешь? Почему?“ Существо, которое было когда-то. Слабая боль просыпается внутри. Глубоко внутри зверя что-то плывет, такой слабый ветер, дыхание без воздуха, без движения, его душа. Душа существует, не исчезла. Всегда была. Человек говорит знаком издавека. Но что он говорит - что-то неясное. Отчаивается, уходит, оставляет. Зверь начинает понимать с удивлением, что и он тоже человек.

АДАМ

В сущности, это я нашел его и привел в наш дом, к Асе. Люди иногда отдают себя в мои руки, я уже обратил на это внимание, приносят себя мне, как бы говоря: „Возьмите меня“, и я иногда беру.

Начало прошлого лета, тихие месяцы перед войной. Я все больше отхожу от повседневной работы в гараже, прихожу утром, наблюдаю за тем, как все начинает идти в нужном темпе, и через два-три часа сажусь в машину и отправляюсь в магазины запасных частей, еду в Тель-Авив, кручусь в агентствах по продаже машин, просматриваю каталоги, езжаю в другие гаражи, чтобы запастись новыми идеями, возвращаюсь в Хайфу боковыми дорогами, поднимаюсь на Кармель, кружусь по лесам, тяну время и прибываю в гараж за час до окончания работы, заставляю вернуться под навесы тех, кто думал, что можно немножко поразмяться под конец работы, велю одному из ребят распаковать купленное мною оборудование, получаю отчет от управляющего, заглядываю в один-два мотора, решаю судьбу машины, разбитой при

столкновении, и захожу в контору, чтобы посидеть с Эрлихом над счетами, подписать чеки, взять ключи от сейфа и услышать от него последние объяснения перед тем, как он уйдет из гаража.

Прежняя страсть подсчитывать деньги, поступившие за день, сменилась за последний год другой - подсчитывать с помощью карандаша и бумаги денежные суммы, подводить банковский балланс, просматривать отчеты об акциях, делать оценку предполагаемых прибылей, спокойно наблюдать за моей все увеличивающейся и растущей денежной мощью. Всем этим я занимался, когда вокруг была полная тишина, когда в гараже уже никого не было, рабочие столы прибраны, пол подметен, подъемники свободны, аккумуляторы замолкли. Немалое мое царство, в которое сейчас вошел старик - ночной сторож со своей смешной собакой, низенькой, с кривыми ногами, в его руках позвякивает большая связка ключей, он закрывает боковые ворота, оставляя открытыми лишь главные - для меня. Он берет ковш и наливает в него воду, чтобы сварить кофе, все время поглядывая в сторону конторы, желая поймать мой взгляд через окошко и подобострастно приветствовать меня, и в этот момент через главные ворота медленно въезжает маленькая машина, очень старый „морис“ светло-голубого цвета, вкатывается медленно в гараж, без шофера, без звука - фантазмагория какая-то.

Я поднялся со своего места.

И тогда, все еще через окно своей конторы, я увидел его впервые - в белой рубашке, в темных очках, на голове каскетка. Он вошел вслед за своей машиной, которую толкал сзади, как толкают детскую коляску.

Сторож, стоявший в углу около крана, не заметил машины, только собака начала хрипло лаять и вразвалку побежала в сторону человека, чтобы наброситься на него. Человек оставил машину, которая проехала еще несколько метров и остановилась. Сторож отставил ковшик и побежал за собакой, начав тут же без всякого предупреждения кричать: „Гараж закрыт, уберите отсюда свою машину!“

Я не отрывал взгляда от машины. Очень старая модель, начала пятидесятых годов, а может быть, и того раньше. Много лет я уже не видел на дорогах этот прямоугольный маленький ящик с окнами, похожими на амбразуры. „Неужели такие еще существуют?“ - подумал я, но не вышел из конторы.

Тем временем собака успокоилась, обнаружив серую странную ступеньку, идущую вдоль машины, и стала вспрыгивать на нее и соскакивать с нее, развлекаясь таким образом, и только сторож продолжал кричать на человека, хотя тот даже и не пытался возражать, а встал перед своей машиной и начал толкать ее обратно, но для этого у него не хватало силы, машина застряла в углублении посреди гаража.

А сторож все продолжал кричать, вел себя, словно он хозяин гаража; тогда я встал и вышел из конторы. Собака завиляла хвостом, а сторож пустился в объяснения.

„Что случилось?“ - обратился я прямо к человеку.

„Ничего серьезного. - начал объяснять он, - просто невозможно завести мотор, не хватает какого-то винтика“. И он подошел к машине, чтобы поднять капот.

В его лице была разлита какая-то бледность, как будто он долгое время был лишен солнечного света, что-то в произнесении слов, в стиле речи, в его вежливости было необычным. На мгновение мне показалось, что он из религиозных, ученик ешивы, может быть, но он уже стоял с непокрытой головой и мял свою каскетку в руках.

Эта маленькая машина занимала меня, она была еще в хорошем состоянии; трудно поверить, но она, вероятно, сохранила свой первоначальный цвет, кузов был чист, без ржавчины, примитивные колеса открыты, диски блестят, с нее стекали капли воды; я машинально скользил по ней рукой.

„Чего недостает в ней?“

„Только одного винтика, я думаю...“

„Одного винтика? - меня всегда смешит такая уверенность. - Какого именно?“

Он не знает, как этот винтик называется... должен быть в этой части, здесь - и он засунул свою голову внутрь, чтобы

найти это место... - всегда там выпадает один винтик...

Я посмотрел на мотор, в отличие от кузова, он был в ужасном состоянии, несмазанный и ржавый, и, что совсем странно, - на нем была паутина.

„Послушай, я не понимаю, когда ты на ней ездил в последний раз?“

„Лет двадцать тому назад“.

„Что??? И с тех пор к ней никто не прикасался?“

Он улыбнулся мягкой, тихой улыбкой, нет, на ней ездили, он думает, что на ней ездили, может быть немного... но не он... потому что его не было здесь, то есть в Израиле... он вернулся несколько дней тому назад. Она находилась на складе в одном гараже недалеко отсюда... Оттуда он приволок ее сюда, после того как помыл немного...

„Так что же ты не поискал этот винтик там?“

Они вовсе не хотят заниматься этой машиной... не умеют... у них нет запасных частей... Они послали его сюда, сказали, что это большой гараж и здесь должны быть запасные части для разных машин...

„Для марки „морис“ тысяча девятьсот пятидесятого года?“

„Сорок седьмого... мне кажется,“ - поправил он меня осторожно.

„Сорок седьмого? Еще лучше... Думаешь, у меня тут музей?“

Он смутился сначала, потом засмеялся коротким смехом, снял на секунду темные очки, чтобы лучше разглядеть меня. Глаза у него светлые, лицо тонкое, спина узкая и немного сутулая, говорит с легким акцентом, но каким, я не сумел определить.

„Так нельзя найти какой-нибудь маленький винтик, чтобы можно было завести ее?“

Что он такой наивный или просто издевается надо мной?

„Дело тут не в винтике, - начал раздражаться я, - этот мотор, не видишь что ли, совсем разрушен и сгнил. Ты хочешь продать ее?“

„Хотите купить?“

„Я?“ - удивился я его прямому вопросу. - Зачем она мне? Двадцать пять лет тому назад у меня была точно такая машина, и хотя она была совсем неплохой, я по ней не скучаю ни капли. Может быть, найдешь какого-нибудь сумасшедшего, коллекционирующего древности, который даст тебе за нее что-нибудь.

С первого момента я обратил внимание, что разговаривая с ним не так, как обычно говорю со своими клиентами теперь, а словно хочу завязать связь, удержать его. Что-то пробудилось во мне при виде этого древнего голубого ящика, точно появилось что-то из далекого сна.

„Я все равно не могу продать ее сейчас... Она пока не моя...“

„Если так, то ты хочешь, чтобы я вернул ее к жизни?“

Можно подумать, что у меня в гараже недостает работы.

Он думает, колеблется.

„Хорошо, но...“

Но я прервал его, опасаясь, что он передумает, а у меня в голове возникла уже в это мгновение идея открыть новое отделение по восстановлению старых машин. Теперь, во время экономического расцвета, найдется, конечно, много сумасшедших, у которых появится хобби наподобие этого.

„Приходи через три дня и возьми ее, ты еще будешь скакать на ней по дорогам. Оставь ключи в машине и отодвинь ее в угол, чтобы она не мешала тут, посредине. Помоги ему“, - приказал я удивленному сторожу и пошел обратно в контору, раздумывая, не стоит ли сказать что-либо о стоимости ремонта, но решил обойти этот вопрос, так как боялся, что он передумает.

Я сидел за столом, просматривая последние счета. Через окно я видел, как он и сторож толкают машину в один из углов. Он некоторое время покрутился около машины, погруженный в свои мысли, глядя в сторону конторы. Потом вышел и исчез.

Через пять минут я закончил свои дела, сунул несколько тысяч лир в бумажник, остальные закрыл в сейфе и со-

брался ехать домой. Перед тем как сесть в машину, я снова подошел к „морису“, открыл капот, чтобы посмотреть на мотор. Снова поразился я при виде густой паутины, опутавшей все части мотора. Открыл крышку бачка для масла, большущий черный паук медленно выполз из сухого ржавого мотора. „Только одного винтика недостает тут“, - усмехнулся я про себя... Я раздавил паука о стенку мотора, захлопнул капот, залез в машину, уселся около маленького руля, болтавшегося совершенно свободно, поиграл им немного, как мальчишка, посмотрел на устаревшие счетчики. Внутри машины было очень чисто, на сиденья были надеты цветастые чехлы, сшитые вручную, на заднем сидении лежала дорожная шляпа, к которой был привязан шарф - женская старомодная шляпа. Я взглянул в зеркало и увидел, что старый сторож стоит позади машины и удивленно наблюдает за мной.

Я сразу же вылез, улыбнулся ему, сел в свою машину, завел ее и быстро выехал из гаража; метров через сто я увидел, как он стоит на автобусной остановке, которая в этот час уже не действует. Весь этот промышленный район пустеет в одно мгновение. Я остановился. Он вначале не узнал меня.

„Здесь тебе придется ждать автобуса до завтра“.

Он не понял. Повернул ко мне голову, покрытую этой старой зимней каскеткой.

„Садись. Я еду в город“.

Он снял свою каскетку и сел рядом со мной, вежливо поблагодарил меня, потом попросил разрешения опустить щиток от солнца.

„Это ужасное солнце. Как вы выносите его... Я уже забл...“

„Сколько времени ты не был в стране?“

„Двенадцать лет, может быть больше, я уже перестал считать.“

„Где жил?“

„В Париже“.

„И вдруг решил вернуться?“

„Нет, что вы? Я не вернулся. Я приехал только, чтобы получить наследство после моей старушки”.

„Этот „морис”, он и есть наследство?”

Он покраснел, смутившись.

„Нет, из-за этой рухляди я бы не приехал, но есть еще дом, вернее, квартира в старом арабском доме в Нижнем городе... и немного вещей... старая мебель...”

Он говорил откровенно, мне понравилась эта его прямота, без оправдывания, без чувства вины из-за того, что он покинул страну, без объяснений - признался, что приехал, чтобы получить наследство и снова исчезнуть.

„Представь себе, но этот твой „морис” совсем не рухлядь. Это в своей основе очень прочная машина”.

Да, да... Он знает, он и старушка ездили на ней в пятидесятые годы, использовали ее на полную катушку.

Продвигаемся медленно, стоим в длинной очереди машин у въезда в город. Он сидит около меня в своих больших темных очках, все время меняет положение щитка, чтобы защититься от солнца, как будто солнечный свет может ужалить его. Мне было неясно, кто же он такой: хотя его иврит был совершенно правильным, но он употреблял всякие устаревшие выражения, вроде „моя старушка” или „финансы”. Я продолжал эту ничемную беседу:

„Твоя старушка... бабушка... ездила в старом „морисе”, кто же ухаживал за машиной все это время?”

Он не знает, говоря по правде, у него с ней не было особой связи. Он был немного болен, оторван... в течение нескольких лет находился в специальном заведении в Париже.

„Заведение?”

„Для душевнобольных... несколько лет тому назад... Но теперь все в порядке...”

Успокаивает он меня, слегка улыбаясь. Вдруг все становится мне понятным, то, как он зашел в гараж, толкая перед собой машину, поиски винтика, странность его речи, эта внезапная откровенность. Сумасшедший, который вспомнил вдруг о старом наследстве.

„Когда она умерла? Эта старушка, твоя бабушка?”

Бессмысленная беседа во время нудного, медленного движения под палящим солнцем.

„Да она не умерла...”

„Что??”

Он начал объяснять „неурядицу”, которая произошла с ним, с той же торопливой откровенностью. Две недели назад он получил сообщение, что его бабушка умерла, он все устроил, собрал деньги на билет и несколько дней тому назад приехал сюда, чтобы получить наследство, потому что он единственный наследник, единственный ее внук. Однако выяснилось, что старуха лежит в больнице в бессознательном состоянии, но пока еще жива. А он застрял здесь, ждет ее смерти. И поэтому он попытался поставить машину на колеса. В ином случае ему не пришлось бы в голову заняться ею... Он и сам знает, чего она стоит... Но если ему приходится ждать здесь несколько дней, то он хотя бы попутешествует по стране... посмотрит новые территории... Иерусалим, прежде чем он вернется во Францию...

„Что это - цинизм или наивность”? - думал я. Но было что-то милое, прямодушное и приятное в том, как он говорил. Тем временем мы пересекаем границу города, забираемся на Кармель. Он пока не собирается выходить. На вершине горы солнце врывается в окно, ослепляет даже и меня, а он совсем сжимается, съехал на своем сидении, точно в него стреляют.

„Ох уж это израильское солнце, совершенно нестерпимое... - говорит он, - как только вы выдерживаете его?”

„Привыкли, - отвечаю я серьезно, - теперь и тебе придется”.

„Ненадолго,” - улыбается он с надеждой.

Беседа о солнце.

Я быстро приближаюсь к центру Кармеля. Он все еще не собирается выходить.

„Куда тебе надо?”

„В Хайфу... то есть в Нижний город”

„Тебе давно надо было выйти.”

Он не понял, где мы.

Я остановился на углу, он очень благодарил меня, надел свою каскетку, осмотрелся по сторонам, не мог узнать места. „Все изменилось тут“, - сказал он с большой симпатией.

Назавтра я попросил Хамида разобрать мотор, чтобы посмотреть, что можно с ним сделать. Ему пришлось поработать целых пять часов, только для того, чтобы отвинтить заржавевшие винты, которые разваливались у него в руках.

„Неужели стоит вообще заниматься этой рухлядью“, - удивлялся Эрлих, который с первой минуты преисполнился какой-то странной ненавистью к этой маленькой машине - может быть, она напоминала ему дни его неудачного участия во владении гаражом. Вдобавок ко всему он не мог завести на нее даже карточку, так как я забыл спросить имя того человека и его адрес, а в машине не было никаких документов.

„Ну что ты волнуешься?“ - сказал я ему, хотя и знал, что он прав.

Стоило ли прилагать такие усилия, вытаскивать мотор, разбирать его, искать старые каталоги, чтобы восстановить сгнившие детали, сваривать и все время выискивать способ приладить неподходящие части. Только старая женщина могла привести мотор в такое состояние. Если бы она вместо того, чтобы шить цветастые чехлы, хоть бы раз смазала мотор.

Короче, три дня без перерыва мы занимались этой машиной, просто создали ее заново, Хамид и я, потому что Хамид, несмотря на весь свой талант, не мог сам справиться с ней, у него не хватало для этого воображения. Иногда я замечал, как он стоит, оцепенев, в течение получаса с двумя маленькими винтиками в руке и пытается сообразить, к чему они относятся. Эрлих крутился вокруг нас, как злой сторожевой пес, записывал, сколько часов работы затрачено и какие части заменены, выражая опасения, что хозяин машины вообще не появится больше. „Ремонт обойдется больше стоимости самой машины“, - ворчит он. Но, может быть, я втайне и хотел этого. Я хотел завладеть ею.

На третий день мы поставили мотор, и он заработал. Мы

обнаружили, что тормоза совершенно расшатались, и Хамиду пришлось разобрать их.

В полдень он появился. Я увидел его смешную каскетку, мелькающую между ревущими машинами и копошащимися рабочими. Я сделал вид, что не замечаю его. Он стоял возле своего „мориса“ и даже не мог вообразить, сколько работы в него вложено. Эрлих поймал его, записал его имя, адрес, но, по своему обычаю, даже не упомянул о счете. Он велел ему вернуться, когда работа будет закончена. Надо еще испытать машину на дороге, доделать последние исправления.

Через несколько часов он вернулся. Я сам взял его в пробную поездку. Все время прислушиваюсь к работе мотора, который стучит тихо, но равномерно, пробую тормоза, скорости, объясняю ему, что означают разные шумы. Он молча сидит рядом со мной, пленяя сердце своей необычайной мягкостью, чем-то озабоченный, бледный, небритый, время от времени закрывает глаза, до него не доходит чудо возрождения этого древнего автомобиля. На мгновение мне подумалось, что он, наверно, уже в трауре.

„Что, бабушка твоя уже умерла...“ - тихо сказал я.

Он быстро повернул ко мне голову.

„Нет, еще нет. Нет никакого изменения в ее состоянии. Она до сих пор еще без сознания.“

„Если она придет в себя, ей доставит удовольствие снова попутешествовать с тобой в этой машине“.

Он посмотрел на меня испуганно.

Мы вернулись в гараж, я отдал ему ключи, вышел из машины и остановился поговорить с одним из механиков. Эрлих, подстерегавший нас, подошел к нему со счетом и потребовал от него заплатить сейчас же и наличными. Человек казался ему ненадежным, и он не доверял, чтобы тот оплачивал счет по почте. Стоимость ремонта составляла четыре тысячи лир. Немного жестоко, но все-таки приемлемо, если учесть количество затраченной работы. Эрлих решил взять особо высокую плату за каждый час, затраченный лично мною.

Человек взял счет, взглянул на него, не понимая написанного. Эрлих стал объяснять ему, а он только покачивал головой. Потом Эрлих отстал от него. Я стоял в стороне, погруженный в беседу, но продолжал наблюдать за ним - как он приблизился к машине, обошел вокруг, поглядывая на счет, лицо его хмурилось, он искал меня, видел, что я разговариваю и не решался подойти. Вот Эрлих возвращается к нему, он отступает, что-то бормочет, приближается ко мне, я заканчиваю беседу, направляюсь в контору, он идет рядом, колеблется, ничего не говорит, лицо его очень бледно, я замечаю проседь в его волосах, хотя ему, вероятно, не больше тридцати. На пороге конторы он начинает говорить - он не понимает, ему очень жаль, но у него нет денег заплатить сейчас, он уверен, что затрачено много труда, но такая сумма? А я стою и смотрю, молча слушаю с приветливым лицом, внутренне улыбаюсь, ведь я знал, что так и будет, что нет у него денег, что я втянул его в этот ремонт, который он не в состоянии оплатить. Я был спокоен, но Эрлих, который тотчас же приблизился к нам и услышав, что тот говорит, ужасно разозлился.

„Так зачем же ты отдал ее в ремонт?“

„Я думал маленькая починка... винтик...“

„Снова „винтик“.“

Он очень бледен, смущен, но отвечает с достоинством культурного, интеллигентного человека.

„Так займи, пожалуйста, эти деньги,“ - отрезает Эрлих.

„У кого?“

„У родственников, у близких, у кого хочешь. Нет у тебя что ли родных?“

Может быть есть, но он ничего о них не знает... у него нет с ними связи.

„У друзей,“ - предлагаю я.

„Нет. Больше десяти лет не был тут. Но он готов дать расписку, и как только у него будут деньги...“

Я думаю: „Может быть согласиться?“ Но Эрлих все больше распаляется.

„Мы не сможем отдать тебе машину. Верни, пожалуйста, ключи “.

Он почти вырывает ключи из его рук, заходит в контору и кладет их на стол.

Первая моя мысль: „морис“ останется у меня. Мы вместе с ним заходим в контору.

„Если в течение месяца не заплатишь, придется продать ее,“ - добавляет Эрлих победоносно.

„Мы не сможем, Эрлих, - объясняю я ему тихо, - машина не принадлежит ему“.

„Не принадлежит ему? Как это?“

Человек снова начинает свой рассказ о бабушке, смерти которой он ждет...

Эрлиху все это кажется подозрительным, все эти разговоры об умирающей бабушке. Он стоит, выпрямившись, у своего стола в коротких штанах цвета хаки, строго, по-армейски подстриженный, смотрит на него с отвращением.

„Что же с ней, в конце концов?“ - интересуюсь я, сохраняя спокойствие. Вдруг меня тоже стала касаться смерть его бабушки.

„Она без сознания... никаких изменений... Я ничего не понимаю... Врачи не могут сказать, сколько времени это протянется...“ - он в совершенном отчаянии, бедняга.

„Но где ты, черт возьми, работаешь? - кричит Эрлих, который потерял уже всякое самообладание. - Ты не работаешь?“

„Для чего?“ - человек очень бледен теперь, покачивается, руки его дрожат. Эрлих нагнал на него страху. И вдруг, у меня даже голова закружилась, он упал у наших ног на пол, глаза его закатились.

„Комедия...“ - цедит Эрлих сквозь зубы.

Но я сразу бросился к нему, поднял его на руки, тело легкое, теплое, посадил его на стул, освободил место вокруг, растегнул рубашку. Он тотчас же очнулся.

„Это от голода, - он прикрывает глаза, - я уже, наверно, два дня не ел... у меня не осталось денег... да, я завяз, я знаю...“

ДАФИ

Мы еще, в сущности, не кончили ужинать - папа еще пьет свой кофе, а мама уже моет посуду, торопится вернуться в свою рабочую комнату, я стою у большого зеркала, держа в руке маленькое зеркальце, и пытаюсь разглядеть, как загорела моя спина и задняя часть бедер, осторожно дотрагиваясь до опаленных мест, чувствую вкус соли. Вот уже неделя, как начались летние каникулы. Летний лагерь отменили, и мы с Тали и Оснат каждое утро спускаемся к морю и валяемся там до самого вечера, хотим к началу учебного года превратиться в настоящих негров. Вдруг папа говорит маме:

„Мне надо позвонить Шварци “.

„Что случилось?“

„Хочу спросить у него, не нужен ли ему учитель французского языка “.

„Что это вдруг?“

И он начинает рассказывать странную историю, которую я слушаю одним ухом, о каком-то клиенте, потерявшем сознание у него в гараже, который не может оплатить счета за ремонт машины, который прибыл в страну без копейки денег, какой-то чужака, покинувший страну и живущий многие годы в Париже, приехавший, чтобы получить наследство, а наследства нет...

„И ты хочешь, чтобы его взяли учителем в нашу школу? - сразу же вмешиваюсь я. - Что, не хватает у нас дураков?“

„Перестань, Дафи!“

Это мама.

Очень редко папа рассказывает о том, что происходит в гараже, иногда мы забываем, что там есть не только машины, но и люди.

Но маме кажется странной идея предложить Шварци взять на работу этого „йореда“*.

„Ну, не совсем учителя... пусть работает в качестве замены... дает дополнительные уроки отстающим... надо помочь ему... у него нет работы, он упал в обморок в гараже от голода“.

* Еврей, покинувший Израиль.

„От голода? Есть еще кто-то голодный в этом государстве?“

„Представь себе, Дафи, да и что ты вообще знаешь о страхе?“

Это мама.

Она выходит с мокрыми руками, снимает передник.

„Сколько он тебе должен?“

„Больше четырех тысяч “.

„Четыре тысячи? - мы обе поражены. - Что это за починка такая, которая стоит четыре тысячи?!“

Папа улыбается, удивляясь нашему изумлению, иногда они делают ремонт, который обходится еще дороже.

„Что же ты будешь делать?“

Что можно сделать? Машину Эрлих у него забрал, но это ничему не поможет, потому что машина вовсе не принадлежит ему. Ее нельзя даже продать... „Так что же ты сделаешь?“

„Придется отказаться от денег“.

Так вот просто. Папа - в качестве благотворительного общества.

„От четырех тысяч лир?“ - я прямо расстроилась. Сколько можно накопить всего на четыре тысячи лир!

„Это не твое дело, Дафи “.

Мама.

Она стоит на пороге рабочей комнаты, не входит, и она тоже удивлена, как это папа готов отказаться от денег с такой легкостью.

„Может быть, найдешь ему работу в гараже...“

„Что он сможет там делать? Это не для него, ладно, неважно... “ и папа собирается уйти.

„Приведи его сюда“, - сказала я.

„Сюда?“

„Да, почему бы и нет. Пусть моет посуду и пол и таким образом потихоньку выплатит долг.“

Папа рассмеялся.

„Это идея“.

„Почему бы и нет? Пусть гладит, стирает, убирает комнаты, - я сейчас же увлеклась, как всегда, - выносит мусор”.

„Довольно, Дафи”.

Это мама.

Но и она улыбается. Такой странный семейный совет: я стою у зеркала полуголая, мама с мокрыми руками - у двери в рабочую комнату, папа - на пороге кухни с чашкой кофе в руке.

„Человек вдруг застрял в таком положении, - пытается объяснить папа, - это очень печально, а он очень симпатичный, тонкий, культурный, он даже немного учился в университете в Париже. Может, тебе нужен кто-нибудь, кто будет тебе переписывать, переводить... я знаю, что еще?”

„Что это вдруг?”

„Просто подумал... неважно...”

„А вот мне будет нужен такой секретарь, - снова загораюсь я, хочу рассмешить их, - кто-нибудь, кто будет переписывать, переводить, делать за меня уроки, я найду для него дело...”

Мама смеется, наконец-то, и, может быть, из-за этого смеха идея не кажется ей такой уж странной, или действительно ей было жаль потерянных денег, потому что назавтра, когда я вечером вернулась с моря, растрепанная, сгоревшая и выпачканная в мазуте, я обнаружила, что кто-то сидит в гостиной напротив мамы и папы; может быть, в первый раз в жизни им удалось удивить меня. Сначала я не сообразила, что это тот самый человек, подумала - просто гость, они тоже были несколько смущены и растеряны, сидят в темной комнате, в сумерках, смотрят на худого, бледного человека с большими светлыми глазами, выглядящего так, словно он перенес недавно тяжелую болезнь. Нет ничего удивительного, что упал в обморок, услышав цену. Он покраснел, приподнялся с места, когда я вошла, протянул мне руку. Ска-

зал: „Габриэль Ардити,” - и пожал мою руку. Что это вдруг - жать руку, что это за манера, с первого мгновения он не понравился мне, я не сказала ему своего имени, сразу же убежала в комнату, разделась, слышу, как мама расспрашивает его об учебе, папа бормочет что-то, а он рассказывает о себе мягким голосом, говорит о Париже.

Я пошла помыться под душем, оттерла пятна мазута; когда я вышла, его уже не было в гостиной, мама тоже исчезла, только папа остался на своем месте, погруженный в свои мысли.

„Он еще здесь?”

Папа кивает головой, указывает на дверь рабочей комнаты.

- „Когда будем есть?”

Он не отвечает.

Я возвращаюсь к себе в комнату, надеваю кофту, шорты, выхожу в гостиную, папа сидит на том же месте, не двигаясь, словно окаменел.

„Что слышно?”

„Чего ты хочешь?”

„Он ушел?”

„Еще нет...”

„Что тут происходит?”

„Ничего...”

„Вы действительно хотите, чтобы он работал здесь?”

„Может быть...”

Я иду на кухню, все убрано и чисто, нет никаких признаков ужина. Я беру кусок хлеба, возвращаюсь к папе, перелистываю газету, лежащую около него, подхожу к двери рабочей комнаты, прислушиваюсь, но папа замечает меня и, ничего не говоря, знаком приказывает мне отойти.

„Что он делает там? Сколько он собирается еще здесь пробыть?”

„Какое тебе дело?”

„До смерти хочу есть...”

„Так поешь...”

„Нет, я подожду...”

Он кажется мне каким-то странным - сидит в темной комнате, без газеты, ничего не делая, спиной к морю.

„Зажечь тебе свет?"

„Не надо..."

Я беру еще кусок хлеба, но это лишь усиливает чувство голода. На море мы почти ничего не едим, уже восемь вечера, я совсем с ума схожу от голода.

„Но что же все-таки происходит?"

„Что ты нервничаешь? Ты хочешь есть, так возьми и поешь, - вдруг взрывается он, - кто тебе мешает, можно подумать, что мама должна кормить тебя ".

„Ты же знаешь, что я не люблю есть одна, пойдем, посиди со мной ".

Он смотрит на меня враждебно, вздыхает, поднимается с места, сумрачный такой, заходит в кухню, садится рядом со мной, помогает мне нарезать хлеб, достает творог, маслины, салат и яйца, постепенно и он начинает жевать что-то, достает вилкой прямо из миски. А дверь в рабочую комнату все еще закрыта, она совсем с ума сошла, всерьез приняла мою идею, эксплуатирует его как следует.

Вдруг дверь открывается, мама выходит к нам, в лице ее чувствуется напряжение, она очень возбуждена.

„Ну," - подпрыгиваю я.

„Все в порядке, - она улыбается, - он сможет помогать мне по крайней мере с переводом. Он уже переводит ".

„Сейчас?"

„У него ведь есть время. Почему бы нет?"

„Иди, поешь с нами," - предлагаю я.

„Невозможно оставить его одного. Я приготовлю несколько бутербродов и кофе, продолжайте без меня".

Она быстро делает бутерброды, наливает кофе, кладет маслины в тарелочку, ставит все это на большой поднос и снова скрывается в рабочей комнате. Мы кончаем ужинать, папа требует, чтобы я вымыла посуду и убрала со стола, а сам устраивается у телевизора.

Девять, десять... Они не выходят оттуда, время от времени

слышатся их голоса. Папа идет к себе в комнату, а я не нахожу себе места, не знаю почему, это чужое внезапное вторжение выводит меня из равновесия, раздражает меня. Я медленно стягиваю с себя одежду, надеваю пижаму, чувствую, как болит мое сожженное солнцем тело, сижу в гостиной и слежу за закрытой дверью. Без четверти одиннадцать он уходит из нашего дома. Я сейчас же врываюсь в рабочую комнату. Мама сидит там на стуле, в комнате, наполненной дымом сигарет, разбурявшаяся, бумаги и книги разбросаны вокруг нее в беспорядке, напоминающем мою комнату, в воздухе легкий запах пота, в ее руках ворох длинных страниц, исписанных каким-то витиеватым, странным почерком.

АДАМ

На Эрлиха это, конечно, не произвело никакого впечатления, он не смягчился, этот упрямый „еки", стоит около меня, прямой, его огуречной формы голова немного откинута назад, враждебно смотрит на бледного человека, что-то бормочущего заплетающимся языком. Он считает, что весь этот обморок инсценирован, чтобы ускользнуть от платежа.

„Ничего, Эрлих, - сказал я, - все в порядке. Ты можешь идти домой, увидимся завтра."

Эрлих растерялся, сильно покраснел, обиделся до глубины души, никогда не слышал он от меня такого неприкрытого приказа. Он взял свою старую сумку, сунул ее подмышку и хлопнул дверью.

Тем временем гараж опустел. Всегда меня поражает эта внезапная тишина, которая наступает сразу же после ухода рабочих. Старик-сторож входит в ворота, Эрлих набрасывается на него, собака начинает лаять на Эрлиха, Эрлих пинает ее и удаляется.

Я задел Эрлиха, я знаю, но мне хотелось остаться наедине с этим бледным человеком, поддерживающим свою голову ладонями. Неужели уже тогда я догадывался о своих наме-

рениях? Как это может быть? Я знал о нем очень мало, но достаточно, чтобы почувствовать, что вот невзначай набросил я сеть, и человек запутался в ней, трепыхается в моих руках. Тепло, которое я почувствовал, помогая ему подняться с пола, наверняка не было связано с раскаянием из-за того, что я впутал его в такой дорогой ремонт, потому что уже тогда я был готов отказаться от этих денег, но...

Я улыбнулся ему, он хмуро посмотрел на меня, но потом легкая усмешка появилась на его лице. Мои тихие, медленные и уверенные движения обладают свойством распространять спокойствие вокруг меня, я это знаю. Я нагнулся, подобрал счет, который еще валялся на полу, просмотрел его, свернул и положил в карман рубашки, потом вышел, позвал сторожа и попросил его принести бутерброды и пирожки из близлежащего буфета, включил электрический чайник и налил ему и себе кофе; сторож принес большущие бутерброды.

Он начал есть, стесняясь, нерешительно, рассказывая мне о себе.

Снова рассказ о бабушке, который все больше и больше кажется мне похожим на выдумку. Древняя старуха, вырастившая его после смерти матери, несколько месяцев тому назад потеряла сознание и была отвезена в больницу, но лишь две недели назад послали ему в Париж письмо. Соседка узнала его имя и адрес и написала ему, что бабушка при смерти. Он колебался - ехать, не ехать, но поскольку он знал, что является единственным наследником, решил приехать и взять то, что есть. Богатств больших нет, на этот счет не было у него иллюзий, но все-таки есть квартира в старом арабском доме, эта машина, немного вещей, может быть драгоценности, о которых он не знал. Почему ему отказываться от этого? Большую часть своих сбережений он истратил на билет... Он не собирался оставаться здесь долго. Думал, что подпишет бумаги и уедет, но пока официально ничего нельзя сделать, а те небольшие деньги, которые он привез с собой, быстро тают... и цены очень изменились, как видно, а ба-

бушка еще не... почти... Сегодня он опять был в больнице... Она, как дикое растение... еще страшнее... безмолвный камень... но жива...

Что делал он в Париже?

Всякое... В последние годы он также преподает иврит... Частные уроки, из Сохнута прислали ему трех священников, желающих изучить иврит, очень прилежные и старательные ученики. И посещают постоянно, не то что всякие еврейские деятели... Кроме того, он преподает французский иностранцам, в том числе покинувшим страну израильтянам, арабам, неграм, в основном студентам, исправляет стиль в их курсовых работах. В последнее время он немного переводит сионистский разъяснительный материал Сохнута. В общем, в работе нет недостатка, тем более что он не предъявляет особых требований.

Он учился там?

Да, нет... немного, нерегулярно... несколько лет слушал лекции по истории и философии, но из-за болезни ему пришлось прекратить. У него начиналось головокружение, как только он попадал в набитые людьми аудитории, там не было воздуха. Но в последние годы он снова начал ходить на лекции. Нет, не с целью получить степень, для удовольствия... Если у него будут теперь деньги, он сможет посвящать учебе больше времени.

Тем временем он уничтожил бутерброды, ел культурно, подбирая крошки. Голодный человек в Израиле тысяча девятьсот семьдесят третьего года.

„Ты собираешься искать сейчас работу?“

Если не будет другого выхода... Если придется ему еще ждать смерти бабушки... Но чтобы работа была не на солнце. Он зайдет в Сохнут... Не знаю ли я там кого-нибудь?

Эта пассивность, непричастность к бурлящей вокруг жизни.

Сторож входит, убирает пустые стаканы. Человек протягивает руку к ключам, лежащим на столе, играет ими.

„Извини, но я не знаю твоего имени “.

„Габриэль Ардити “.

„Машину ты не сможешь взять “.

„Даже на несколько дней?“

„Мне очень жаль “.

Он положил ключи обратно на стол. Я взял их и сунул в карман. „Не беспокойся, - сказал я ему, - мы постережем ее, никто не коснется ее, пока ты не сможешь оплатить счет “.

Он был разочарован, но наклонил голову трогательным движением, поблагодарил за еду, надел шапку, вышел, через несколько минут вернулся, попросил одолжить ему пять лир. Я дал ему десять.

Он вышел из гаража, собака уже не лаяла на него, а шла за ним следом. Я поспешил закончить свои занятия со счетами, вышел, залез в „морис“, стоявший посреди гаража, я хотел поставить его в один из углов, но передумал и решил поехать на нем домой, посмотреть, как он поднимется по крутому склону горы. Машина поднималась медленно, но упорно, мотор работал без перебоев. Все обгонявшие меня оборачивались и смотрели на нее, кто с удивлением, кто с легкой улыбкой.

Назавтра, посреди рабочего дня, кто-то слегка прикасается ко мне. Он стоит передо мной, на лице вежливая улыбка, протягивает десять лир.

„Что, бабушка умерла...“ - улыбнулся я.

Нет, еще нет. Но в конторе путешествий у него согласились взять за полцены обратный билет. У него есть теперь тысяча лир, нельзя ли получить машину? Я погрузился в размышления, сначала подумал, не взять ли у него эти деньги, а остальное простить и отдать ему машину. Но вдруг мне стало жаль расстаться с ним.

„Нет уж, извини, тебе придется принести все деньги. Да и вообще, лучше оставь у себя эти деньги. Ты хоть начал искать работу?“

Он огорчился, но не стал настаивать. Бормочет что-то о

Иерусалиме, что поедет туда искать работу. В этом городе нет никакой возможности...

„Кто-то уже влияет на него,“ - подумал я.

Во время ужина я вдруг обнаружил, что думаю о нем, представляю себе, как он бродит по гаражу медленной своей походкой, спина немного сутулая, осторожно пробирается между машинами, стараясь не задеть рабочих-арабов. На голове французская каскетка. Этакий профессиональный одиночка. Я вспомнил, как он упал, потеряв сознание, на пол в моей конторе, растегнутую рубашку, белую тощую грудь, его прошлое в доме для душевнобольных, фантазии, связанные с умирающей бабушкой. Еще затоптут его тут, в Израиле. Надо как-то устроить его, найти ему занятие. Я спросил Асю. Думал - что-нибудь произошло в школе. Она, конечно, не понимает, чего я хочу, моет посуду, торопится снова засесть в своей рабочей комнате, удивляется тому, что я думаю о своем клиенте, беспокоюсь за него, не понимает: какое мне до него дело. Только когда я рассказываю о потерянных деньгах, она останавливается возле дверей своей рабочей комнаты, а Дафи, конечно, тоже вмешивается, прерывает меня на каждом слове; к моему удивлению, оказалось, что именно вопрос о деньгах заставил их встревожиться. Дафи, как всегда, начинает фантазировать, придумывает, какую работу он сможет делать у нас, ее воображению нет границ: пусть моет посуду, пол, помогает ей делать уроки. Я смотрю на Асю, она улыбается.

Ничего, конечно, не решили. Но назавтра я нашел номер телефона, записанный Эрлихом на счете, который все еще лежит у меня в кармане. Я позвонил ему. Мой звонок разбудил его, он был совсем сонный. Я сказал ему, чтобы он зашел ко мне после обеда. Он спросил: „Ты вернешь мне машину?“ Я сказал: „Посмотрим... может быть для тебя будет работа “,

За пять минут до того, как он должен был прийти, я сказал об этом Асе. Она сначала удивилась, потом рассмеялась. Он явился в своей непременной каскетке, уселся в гостиной и начал говорить. Он ей понравился, ведь я с самого начала

знал, что он ей понравится. Постепенно завязалась беседа, она спросила его о Париже, о его учебе там. И он, влюбленный в этот город, стал говорить о местах, которые она знала лишь по картам и по книгам, описал образ жизни, упомянул исторические события, и все очень ярко и живо.

Дафи вернулась с моря, вошла, как была, лохматая, в пятнах мазута, прямо в гостиную. Он сразу же поднялся с места, протянул ей руку, представился на иностранный манер, как-то смешно, едва заметно поклонился. Девочка покраснела и тотчас же убежала. Я шепотом сказал Асе: „Почему бы тебе не посмотреть, не может ли он быть тебе полезен, он много занимался переводами, редактированием...“

Она пригласила его в рабочую комнату, чтобы показать свои записки.

Девчонка стала беспокойно крутиться по комнате, останавливалась у двери в рабочую комнату, прислушивалась, а меня охватила какая-то слабость, не могу встать с места, даже протянуть руку, чтобы зажечь свет. Думаю, не следовало ли мне сказать ей, что он некоторое время находился в больнице в Париже, а, может быть, лучше, чтобы она сама во всем разобралась.

ДАФИ

Это началось просто так. С самого начала каникул мы с Оснат и Тали стали ходить на море, потому что, когда отметили летний молодежный лагерь, нам нечего было делать. С тех пор как я родилась, я вижу море из окна над моей кроватью, но только в эти каникулы открыла его по-настоящему. И море очаровало меня, проникло в мою душу и тело, никогда не думала, что оно может быть таким чудесным. Вначале, в первую неделю, мы еще брали с собой книги, газеты, тетради с летними заданиями, ракетки, транзистор, но постепенно мы поняли, что это совсем другой мир, и начали освобождаться от всего.

В девять утра мы встречаемся на автобусной остановке, одетые в одни купальники без полотенец, без кофт, совсем одичавшие, в кулаке зажаты смятые деньги, спускаемся к морю, устраиваемся в сторонке, подальше от будки спасателя, ложимся животом на горячий песок, ведем ленивую беседу, рассказываем друг другу сны, начинаем входить в медленный ритм моря, солнца, неба, теряем чувство времени, тело накаляется все больше, и тогда мы заходим в холодную воду, заплываем на глубину, ныряем, лежим на спине, держимся за маленький скалистый островок, раскачиваемся на волнах, выходим и лежим на самой линии воды, покрываем себя жидким песком, вымазываемся с головы до ног, раскапываем ямки, потом идем покупать фалафель или кукурузу, пьем воду из большого крана и оттуда уходим в сторону, подальше от народа, находим тихий уголок и погружаемся в дремоту. Этакая дурацкая нирвана, сознание отсутствует, тишина - как трупы на песке, а море шумит, и мы не обращаем внимания, что солнце бьет прямо в глаза. Медленно, медленно просыпаемся и начинаем бегать, бежим легкой трусцой долго-долго вдоль пустынного берега, подальше от всякого признака человека, раздеваемся догола и снова заходим в море, не глубоко, между камнями, смотрим друг на друга уже без любопытства, не стесняясь, рассматриваем места, которых не коснулось солнце, хотим, чтобы загорело все, даже соски и другие тайные места. Потом надеваем купальники и медленно возвращаемся назад, ищем ракушки, наклоняемся над желтоватым крабом, застывшим в своей норе. Время от времени кто-нибудь из нас бросается в волны, наслаждается там, пока не надоест, а остальные ждут, и все время глаза наши устремлены к голубому горизонту, скользящему навстречу солнцу, наши босые ноги ощущают движение Земли. Когда мы приближаемся к будке спасателей, последние люди уже собираются уходить со своими сумками, складными стульями и детьми, а мы, застыв напротив заходящего солнца, еще не хотим двигаться отсюда, пока не появляется спасатель, чтобы прогнать нас.

И так день за днем, и не надоедает ни капли, это просто чудесно и совсем не скучно, и нам даже все меньше и меньше хочется разговаривать друг с другом, можем лежать часами молча друг возле друга или бродить вместе, не произнося ни слова. Даже Оснат притихла, начала понимать, что не всегда она обязана высказываться по любому поводу, она даже похорошела немного, снимает иногда свои очки, кладет их в ямочку между грудями, бродит мечтательная, как Тали.

В автобусе, который везет нас обратно вечером, мы - как чужие, между вонючими, незагорелыми, истекающими потом, громкоголосыми людьми, стараемся избежать их прикосновения, садимся на последнее сидение, не обращаем внимания на любопытные взгляды, исследующие нас, словно мы голые. Оборачиваемся назад, пытаюсь увидеть удаляющееся море.

На ступеньках дома нас уже застает сумерки. Босая, пропитанная солнцем и солью, с мокрыми, спутанными волосами, я вхожу в закупоренный дом, наполненный запахом вареной пищи, человеческим смрадом. Мама в рабочей комнате при бледном электрическом свете, вокруг нее разбросаны книги и бумаги, грязные чашки из-под кофе, тарелки с остатками еды, кровать не застелена, подушки смяты, пепельница полна до краев, следы этого человека - помощника, секретаря, переводчика, черт его знает, что еще, вокруг нее.

АДАМ

Он приходил утром и уходил в середине дня. Я не встречался с ним, но знал, что он приходит почти каждый день переводить, переписывать, просматривать. Ася закабалила его всерьез, потому что времени у него было достаточно, и он очень хотел выкупить машину, которая все стояла в гараже, покрываясь пылью. Иногда приходилось передвигать ее, чтобы она не мешала работе, пока Эрлих

в конце концов не приказал отвезти ее на склад запасных частей, где ее поставили между двумя шкафами. Она поместилась там, до того была маленькая.

„Завяз ты с этой машиной, - не мог удержаться Эрлих, - от этого ненормального ни гроша не увидишь”.

Но я только улыбался.

Тяжелые летние дни. Каникулы в разгаре, Дафи каждый день ездит на море; она задалась целью загореть до предела, превратиться в „негритоску”, как она говорит, а я - в гараже, который работает не на полную мощность из-за того, что рабочие попеременно уходят в отпуск. Эрлих тоже поехал отдыхать за границу, и мне приходится заниматься счетами одному, оставаться до ночи. Когда вечером я возвращаюсь домой, я нахожу Асю в ее комнате среди нового, незнакомого беспорядка. Бумаги и книги на полу, грязные чашки из-под кофе, на тарелках косточки от фруктов, шелуха арахиса. Пепельницы переполнены. И она сидит посреди всего этого тихая, умиротворенная, думает свои думы. Молчаливая, точно отсутствующая, старается не смотреть мне в глаза.

„Работали...” - говорю я, не спрашивая, спокойным голосом.

„Да... даже из дома не выходила”.

„Ну, как он?”

На ее лице появляется улыбка.

„Странный... необычный какой-то человек... но с ним можно поладить”.

Я не задаю больше вопросов, боюсь напугать ее, пошатнуть ее уверенность, выказать свое удивление, даже когда я вижу в холодильнике кастрюлю с каким-то кушаньем красновато-зеленоватого цвета, новое блюдо, которое она раньше не делала.

„Что это?”

Она краснеет, бормочет невнятно:

„Попробовала сегодня сварить что-то новое... он подал мне идею...”

„Он?”

„Габриэль...”

Они уже готовят вместе.

Я улыбаюсь, ни слова не говорю, пробую сладковатое варенье странного вкуса, хвалю его, главное, чтобы у нее не возникло чувство вины, не раздавить надежду, не показать признаков ревности, которой я не испытываю. Придать ей смелость, дать ей время, мы уже не молоды, нам по сорок пять, а этот странный неустойчивый человек может исчезнуть каждую минуту, да и летние каникулы заканчиваются.

Я помню необычайно жаркое лето, по всему телу разлита усталость, я в полупустом гараже среди немногочисленных рабочих, работы невпроворот - с трудом справляюсь, брожу между машинами и думаю о них: как удерживать его, может, и ему подать какой-нибудь знак.

Однажды я приехал с работы пораньше, жду в машине на углу улицы, вижу, как они спускаются вместе, садятся в ее „фиат”; она отвозит его, а я еду за ними следом, сердце мое бьется от волнения. Она довозит его до дома в Нижнем городе, в самом центре рынка, он вылезает, она что-то говорит ему, высунув голову из окна, говорит серьезно, он слушает ее с легкой улыбкой, глаза бегают по сторонам. Они расстаются. Я ставлю свою машину, бегу за ним, чтобы догнать его, прежде чем он затеряется в толпе. Вижу его на пороге овощной лавки, он покупает помидоры. Я слегка прикасаюсь к нему, он краснеет, узнав меня.

„Как дела?”

„В порядке ”.

„Бабушка?”

„Без перемен. Не знаю, что и думать ”.

Итак, он пока застрял здесь.

„Где ты живешь?”

Он показывает мне на дом в конце улицы, дом его бабушки.

„Как работа, которую я нашел тебе?”

Он улыбается, снимает свои темные очки, словно хочет разглядеть меня получше.

„Нормально... что касается меня. Может, мне действительно удастся помочь ей. Она пытается сделать что-то мудреное, но...”

„А машина?” - прерываю я его, не хочу, чтобы он говорил слишком много.

„Машина... - он смутился. - что с машиной?”

Забыл он о ней, что ли?

Я рассматриваю его. На нем чистая рубашка, но одет он неряшливо, в руках мнет мешочек с помидорами.

„К сожалению, я пока не могу отдать тебе ее, мой компаньон уж очень упрям, не согласен. Но если тебе не хватает денег, я всегда могу дать тебе небольшую ссуду”.

И прежде чем ему удастся вымолвить слово, я вытаскиваю из кармана пачку денег, тысячу лир, и кладу их осторожно на помидоры.

Он смущен, дотрагивается до денег. Спрашивает, не надо ли ему расписаться на чем-нибудь.

„Не надо, ведь ты же будешь продолжать приходить к нам?”

„Да, да, конечно...”

„Между прочим, я ел это кушанье, которое ты приготовил, очень вкусно...”

Он смеется.

„Правда?”

Только не спугнуть его.

Я кладу свою руку ему на плечо.

„Ну что ж, тебе придется привыкнуть к солнцу? Ведь ты не хочешь убежать от нас?”

„Пока нет...”

Я сердечно жму его руку и быстро исчезаю в рыночной толпе.

АСЯ

Деревянная лестница, покрытые цветастой бумагой стены, прихожая сельской зубной поликлиники, старая высо-

кая женщина выходит из кабинета врача, надевая при выходе пальто. Она сияет: „Чудесный доктор, не чувствуешь боли“.

А за открытой дверью я вижу большое зубо врачебное кресло, повернутое к порогу, и доктора, кругленького, с чисто выбритым розовым лицом, галстук бабочкой на его белом халате, сидит в зубо врачебном кресле, голова откинута назад, на спинку, руки сложены на животе, и красноватый свет, сельский свет, какой бывает в других странах, освещает его спящее лицо, сияющее от удовольствия, которое доставляет ему осуществленное им безболеное лечение.

Я вхожу. В углу комнаты, около длинной раковины примитивной лаборатории, стоит он, Габриэль, в белом коротком халате, притворяется ассистентом, показывает мне на стакан, наполовину наполненный беловатой жидкостью, похожей на разбавленное водой молоко. Это обезболивующее средство. Очевидно, главное новшество, сделавшее переворот в лечении, заключается в том, что в этой довольно примитивной сельской поликлинике не делают больше обезболивающих уколов, а просто дают выпить напиток, заглушающий боль.

Я тотчас же взяла и выпила. Напиток был без вкуса, но какой-то тяжелый, точно я выпила ртуть. Он проскользнул в горле и опустился в желудок, как ощутимая и плотная масса. У меня было праздничное чувство, будто я выпила что-то очень важное. Я села в другое кресло, которое было похоже на кресло в моей рабочей комнате, только у него не доставало одной ручки, чтобы врачу удобно было подойти к больному.

Такая приятная тишина. В окне этот чудесный свет, я жду, когда обезболивующее средство подействует, мышцы лица немеют, Габриэль кладет на поднос инструменты, тонкие деревянные линейки, не угрожающие, не опасные, а врач все еще не двигается со своего места, просто спит.

„Это уже действует,“ - говорю я, хотя и не чувствую ничего, но знаю, что оно действует, хочу, чтобы оно действовало,

не может быть, что оно не подействует на меня. А он берет одну из линеек и легкой рукой открывает мой рот, лицо его напрягается от сосредоточенности, легко скользит в полость рта, словно пытается удостовериться в его существовании, убедиться в том, что у меня вообще есть рот, а я растворяюсь в блаженстве от этого легкого прикосновения.

Куда девалась боль? Правда, где же боль, почему я вообще пришла в эту поликлинику? Я должна сосредоточиться и найти боль в этом блаженстве, чтобы не разочаровать его, чтобы он не оставил меня, сказать ему что-то.

АДАМ

И вдруг в тишине на рассвете слышится ее голос, бормочет что-то; я уже начал просыпаться. Она очень взволнована, наверно, видит что-то во сне, рука ее нащупывает что-то вокруг, гладит мои плечи, я застыл, она снова произносит какие-то слова, обрывки предложений, рука ее нежна. Я улыбаюсь, но вдруг она поняла, что дотронулась до меня, отдергивает руку, начинает просыпаться, открывает глаза.

„Который час?“

„Без четверти шесть“.

„Уже так светло на улице“ - и она поворачивается на другой бок, пробует снова уснуть, свернувшись калачиком.

„Ты что-то говорила во сне“ - тихо говорю я.

Она быстро поворачивается, поднимает голову.

„Что я сказала?“

„Так глупости... какая-то ерунда, отрывочные слова... Что ты видела во сне?“

„Ничего особенного, какая-то путаница“.

Я встал с кровати, пошел в ванную, вымыл лицо, вернулся в комнату. Она не спала, опиралась о подушку, улыбалась про себя.

„Станный сон, смешной, что-то о зубном враче...“

Я молчу, медленно стягиваю пижамную рубашку, сажусь на кровать. Уже давно не рассказывала мне свои сны.

„Зубной врач, странный такой, сельский... в деревянном доме. Сельская, несовременная поликлиника. Зубоврачебное кресло похоже на кресло в моей рабочей комнате, но без одного подлокотника, его сняли намеренно. И помню такой красноватый предвечерний свет”.

Она замолкает, улыбается. И это все? Я не понимаю, почему она рассказывает мне. Она сворачивается калачиком под легким одеялом, закрывает глаза, просит меня опустить жалюзи, она постарается еще немного поспать. Хочет досмотреть сон? Я надеваю рубашку и брюки, складываю пижаму и кладу ее под подушку, опускаю жалюзи, в комнате становится темно; уже собираюсь выйти, но она вдруг сбрасывает одеяло, нет сомнения, что-то выводит ее из равновесия.

„Что я сказала? Ты не можешь вспомнить?”

„Отдельные неясные слова... не помню... только ты была очень взволнованна... Какой-нибудь кошмар?”

„Нет, наоборот, это должно было быть лечение зубов без боли, вместо укола мне дали какое-то прозрачное питье, которое должно было действовать, как снотворное, такой безвкусный напиток. Я все еще ощущаю его... В этом заключалась особенность лечения в этой поликлинике. Перед тем как я вошла в дверь, оттуда вышла женщина, которая вся сияла после этого чудесного лечения без боли. Правда, странный какой-то сон?”

И она рассмеялась. Она не договаривала чего-то, была взволнованна, что-то происходило с ней в последнее время, постоянно беспокойна, смотрит на меня испытующим взглядом. Я жду на пороге, повернув к ней голову.

„Что же я говорила? Что ты слышал?”

„Да, действительно какая-то путаница, я тоже еще не совсем проснулся”.

„Ну что, например?”

„Не помню, да и какое это имеет значение?”

Она не отвечает, медленно ложится, как будто успокоилась. Я поворачиваюсь и выхожу из комнаты, захожу к Дафи,

смотрю на нее спящую, влажный купальник еще валяется на полу около кровати, прохожу мимо рабочей комнаты и вижу царящий там беспорядок, такой похожий на Дафин беспорядок. Вхожу на кухню, ставлю на огонь воду, нарезаю хлеб, вынимаю масло, сыр, маслины, начинаю жевать стоя. Вода закипает, я делаю себе кофе, выхожу с чашкой и куском хлеба на балкон, сажусь на покрытый росой стул, медленно пью кофе и смотрю на мутное море, над которым поднимается желтоватый пар. Что делает там Дафи целыми днями? Со стороны залива слышатся звуки взрывов. Там расположен завод боеприпасов и оттуда стреляют снарядами в море, чтобы проверить качество изделий. В моих руках стакан кофе, горький, крепкий кофе, который заставляет меня быстро стряхнуть с себя сон, в голове - никаких мыслей, я просто сижу и жду, когда придет время ехать на работу, и вдруг Ася около меня, в старом домашнем халате, преследуемая своими снами, лицо вымыто, она не смогла больше уснуть, опирается о перила балкона, раздавливает пальцами тяжелые капли росы.

„Ты все еще со своим сном?”

Она краснеет: „Да, как догадался?” Вытаскивает из кармана халата смятую пачку сигарет и спички, зажигает сигарету, глубоко затягивается.

„Странно, каждый раз я вспоминаю еще какие-то подробности. Такой ясный сон. Кто-то был там, одетый в белый халат, точно нарядился в помощника врача, потому что врач уснул. Он дал мне питье и начал лечение какими-то деревянными инструментами, тонкая линейка, и, правда, никакой боли, все делал осторожно... было так приятно, просто незабываемое впечатление...”

„Кто это был?”

„Кто-то незнакомый, не узнала его, просто какой-то молодой человек...”

Я смотрю на часы. Она выходит, ставит на плиту чайник, идет мыться, воздух начинает накаляться, слышатся голоса просыпающегося города. Наверно, будет хамсин. Она прихо-

дит с чашкой кофе и печеньем, чтобы присоединиться ко мне; давно уже не сидели мы вместе в такой утренний час. Она устраивается в углу балкона в соломенном полуразвалившемся кресле, которое когда-то, во время траура, мы привезли для ее отца. В ее руке сигарета, ее лицо напоминает лицо ее старого отца, который сидел там в последние месяцы своей жизни с пледом на коленях, мрачно принимая людей, приходивших выразить ему сочувствие, попросить у него прощения.

Сидим молча. Каждый пьет свой кофе. Лицом к морю.

„Он придет сегодня?“

„Да “.

„Вы продвигаетесь?“

„Потихоньку“.

„Надо будет начать записывать часы его работы “ - улыбаюсь я, но она совершенно серьезна.

„Сколько он должен тебе?“

„Я не помню, надо посмотреть счет. Еще немного, и мы будем должны ему“.

Она не отвечает, смотрит в пол. Способна ли она еще влюбиться.

„Надо посмотреть. Может быть, я должен уже вернуть ему машину“.

„Уже?“ - тихо срывается с ее губ.

„Но если есть от него польза, можно и продолжать. Он помогает тебе?“

„Да, он помогает мне... Мы можем себе это позволить?“

Этот страх передо мной, испуганный взгляд, обращенный ко мне. Жалость к этой маленькой, охваченной страстью женщине поднимается во мне. Я улыбаюсь ей, а она все еще серьезна.

„Что еще было в твоём сне?“

„Сон? - она уже забыла его. - Это все...“

Я проглотил остатки кофе, принес ботинки, чтобы надеть их на балконе, как обычно. Она напряженно следила за мной. Я причесался, пригладил бороду, сунул в карман бу-

мажник с деньгами, ключи. Она встала, идет за мной, провожает меня до двери, как собака, не знает, что с собой делать, как будто вдруг не может со мной расстаться.

У входной двери я говорю: „Сейчас вспомнил, ты сказала что-то вроде... любимый? любимый...“

„Что? Любимый? - она рассмеялась, смутившись, - я сказала „любимый“? Не может быть“.

ДАФИ

Я просто не поняла, сначала не дошло до меня, что дверь закрыта на ключ изнутри, потому что, кроме меня, кто же закрывает двери в доме? Я с силой нажала на ручку и стала крутить ее, стараясь открыть дверь, потому что подумала, что там что-то застряло. В сущности, я не знаю, что это я так уперлась, просто была немного не в себе, этот переход от яркого солнца к полутени дома как-то перепутал все в моей голове. Потому что сегодня я ушла с моря в полдень и вернулась домой. Вдруг и мне надоела эта нирвана на морском берегу. Оснат перестала ходить с нами еще на той неделе, и только мы с Тали еще продолжали свои походы. Последние дни каникул, воздух стал каким-то странным, смесь хамсина с осенью, на небе облака, и я обнаруживаю, что Тали не хочет больше залезать в воду, даже бегать отказывается, просто растянулась на песке, о чем-то думает, выставляя на всеобщее обозрение свое темное от загара, потрясающе красиво сложенное тело, на которое со всех сторон бросают не совсем невинные взгляды. Почти ничего не говорит, лишь улыбается этой своей усталой, бессмысленной улыбкой. А берег постепенно пустеет, я смотрю на дома города, на шоссе с бегущими по нему машинами, и чувство одиночества охватывает меня, я начинаю думать, что если буду общаться только с ней, то и я стану такой же скучной. Сегодня я вскочила и сказала: „Я ухожу, надоело мне тут, ужасная скука“. Но она не захотела пойти со мной, я оставила ее, села в автобус и поехала домой, мне было необходимо поговорить с кем-

нибудь, я сразу же подошла к двери рабочей комнаты, ведь мама всегда там, и вдруг - дверь заперта.

Я пошла, вытаскила ключ из моей двери и попробовала засунуть его в отверстие замка и тогда обнаружила, что с другой стороны вставлен ключ.

„Мама? - позвала я. - Мама?“ Но ответа не было, даже шороха, и вдруг, ну и дура же я, в меня вселилась уверенность, что с ней что-то случилось, что ее убили; не знаю, с чего это вдруг возникла у меня мысль об убийстве, может быть, из-за этих многочисленных фильмов, которые я видела во время каникул, я не могла думать о чем-нибудь менее ужасном, чем убийство; я начала рыдать, царапать дверь и стучать в нее что было силы.

„Мама! Мама!“

И вдруг я услышала ее ясный тихий голос, не похожий на голос только что проснувшегося человека.

„Да, Дафи, что такое?“

„Мама? Это ты? Что случилось?“

„Ничего, я работаю“.

„Так открой мне на минутку“.

„Подожди. Я тут должна закончить кое-что, не мешай мне сейчас“.

А я все еще ничего не подозреваю, до того была растеряна, вся еще горю от солнца, пошла на кухню попить холодной воды, вернулась в гостиную, жду, не знаю, почему. Через несколько минут дверь открылась и мама вышла, закрыв за собой дверь, босая, в легком халате, волосы немного растрепаны, вошла и села рядом со мной, какая-то странная, но в чем странность, я не могла объяснить, вся - внимание.

„Что такое?“

„Ничего, я не знала, дома ли ты“.

„Была на море?“

„Да...“

„Что случилось, почему вдруг вернулась?“

„Так, надоело мне, ужасно скучно стало там“.

„Может, пойдешь отдохнуть немного. Скоро каникулы кон-

чатся, а ты совсем не отдохнула, все в бегах. Сегодня ты опять пойдешь в кино?“

„Может быть...“

„Ну пойдём, - она поднимает меня, - пойдёшь отдохни, ты выглядишь совершенно разбитой“.

Она была нежной, непонятной, глаза бегают беспокойно, а до меня все еще не доходит, я позволила ей отвести меня в мою комнату, смотрю, как она приводит в порядок кровать, не застеленную с ночи, поправляет подушку, потом она помогает мне расстегнуть пряжку купальника, раздевает меня догола, легкой рукой смахивает песок с моих плеч.

„Мне бы надо помыться под душем?“

„Помоешься попозже... ничего страшного... ты просто го-ришь...“

А я не поняла, черт возьми, не поняла ничего, забираюсь в кровать спать, она укрывает меня, опускает жалюзи, чтобы мне не мешал свет, движения у нее гибкие и быстрые.

Улыбается мне, закрывает за собой дверь, а я лежу голая, под одеялом в двенадцать часов дня, закрываю глаза, собираюсь на самом деле уснуть, как будто она загипнотизировала меня, и вдруг я подскочила, быстро оделась и босая тихонько подошла к рабочей комнате, остановилась у закрытой двери. Там стояла полная тишина, только шорох бумаг, вдруг я слышу, как она говорит тихим голосом: „Я уложила ее спать“, - смеется легким смехом, ничего не подозревает. А я задрожала, чуть не упала на пол и в чем была убежала, вышла опять под палящее солнце, бегу к Оснат, мне необходимо поговорить с кем-нибудь. Но у Оснат никого не было дома, и я побежала к Тали, может быть, она вернулась. Ее мать с сигаретой в углу рта открыла мне дверь, на ней грязный, весь в пятнах халат, в руке большой нож.

„Тали нет дома,“ - она хотела тут же закрыть дверь, но я ухватила за ручку, умоляя.

„Можно я подожду ее здесь?“

Она удивленно посмотрела на меня, нопустила.

Я зашла в комнату Тали, чтобы подождать ее там. Но я была так взволнованна, что все время ходила по комнате взад и вперед, натыкаясь на стены, и в конце концов не выдержала, вышла из комнаты, пошла на кухню. Ее мама вся сосредоточена на приготовлении еды, все конфорки горят, режет лук, мясо, овощи, полная сумятица.

„Можно побыть тут немного... только смотреть “, - попросила я дрожащим голосом.

Она удивилась, но взяла маленькую табуретку и поставила ее в сторонке. Я села на нее, сжавшись, чтобы занимать как можно меньше места. Наблюдаю за ней. Большая женщина с уверенными движениями, двигает кастрюли яростно, со злостью, агрессивно, крутится по кухне с мокрой сигаретой во рту между грудками овощей, на столе лежат несколько рыб с отрубленными головами. У меня закружилась голова от запахов и дыма. Слезы навертываются на глаза, я начинаю неслышно плакать. Сейчас она спросит о папе и маме, и я расскажу ей все, но она молчит, лихорадочно работает, торопится, время от времени бросает на меня украдкой любопытный взгляд.

„Что случилось, Дафи?“

И я, глаза полны слез, начинаю рассказывать, но звонят в дверь, и один за другим приходят люди - владельцы соседних магазинов, один портной, хозяин продуктовой лавки. Я знала, что она создала тут маленькую столовую, готовит обеды. Начались беседы на венгерском, на польском, раздаются смешки. Она усаживает их за стол, делает им замечания, бежит за первым блюдом, несколько человек идут за ней на кухню, радуются, нюхают кастрюли, подмигивают мне. Некоторые из них были мне знакомы, но я не знала, что они могут быть такими симпатичными и оживленными. Мама Тали дала мне тоже тарелку с мясом и картошкой, и я сидела там на табуретке в углу с тарелкой на коленях, глаза уже сухие, ем в этом шуме и гаме, при звоне вилок и ножей, ставлю пустую тарелку в раковину и выскальзываю за дверь, ничего не сказав.

На улице я наталкиваюсь на Тали, идет себе медленно мимо и не замечает меня, а я убегаю домой... Там никого не было, рабочая комната пуста, они исчезли.

После обеда пошла в кино, вернулась вечером, папа и мама были дома, но мама не смотрела на меня, я тоже. Говорили о технике, как будто мы в гараже. Я моюсь под душем, смотрю телевизор, залезаю в постель с книжкой, буквы начинают расплываться, я начинаю засыпать и вдруг - удар, такой явный, словно кто-то встряхнул меня изнутри, я просыпаюсь, продолжаю читать, ничего не воспринимаю, папа уже спит, мама крутится по дому, встает на пороге, не смотрит на меня: „Можно погасить свет?“ Я утвердительно качаю головой, она гасит. Я закрываю глаза в уверенности, что сплю, но я не сплю. Встаю, начинаю бродить по дому, перехожу с места на место, пью воду. Очарование умирающей летней ночи. Издали видно темное море. Еще два дня, и начнутся занятия, а у меня впервые нет никакого желания учиться, но я не хочу также, чтобы продолжались каникулы, не хочу ничего. Я возвращаюсь в кровать, пытаюсь уснуть, снова встаю. Напряжение разливается по телу как будто в моих жилах бьет электрический ток. Никогда не было со мной такого. Я тихо зову папу и маму, но они не просыпаются. Иду в ванную, думаю - может, помыться еще раз. Сажусь обессиленная на краю ванны, в одиночестве, подобного которому я никогда не испытывала. Через окно я вижу вдали открытое освещенное окно. Много лет там строили дом, и вот наконец въехали жильцы. Человек сидит в комнате без мебели, на нем майка, волосы взлохмачены, во рту трубка, лихорадочно стучит на машинке. Время от времени встает, бродит по комнате и снова садится и накидывается на свою машинку с величайшей сосредоточенностью. Я следила за ним долго, находила в этом какое-то успокоение - я не так уж одинока, как мне казалось.

АДАМ

Все завертелось со страшной быстротой. Каникулы кончились. Дом наполнился книгами и тетрадями Дафи, бумага для обертывания, письменные принадлежности, сама Дафи, грустная „негритоска“, постепенно светлеющая, рассеянно бродит по дому, переходит из комнаты в комнату, совершенно не в себе из-за огромного количества заданий. В ее комнате горит свет и тогда, когда мы уже спим. Ася начала работать и в первый же день, не спросившись меня, остригла волосы, стоит у зеркала, девочка-старушка, и безнадежно рассматривает себя. А Габриэль вроде бы исчез, но на самом деле - нет. Время от времени я нахожу следы его посещений в доме: каскетку, темные очки, отпечаток головы на подушке, французский журнал. Однажды я позвонил домой посреди рабочего дня, и он взял трубку. Я не назвал себя, только попросил ее; он сказал, что ее нет дома, что она в школе и скоро придет.

„А кто вы, если можно...“

„Я просто друг...“

Интересно - он уже любовник? Как узнать? Все погружено в тайну, никто ничего определенного не говорит, да я и не хочу, чтобы слово было произнесено, я знал, что мне лучше не выпячиваться, не высказывать излишнего любопытства. Я велел вывезти „морис“ из склада запасных частей, помыть его, поставить новый аккумулятор и наполнить бак бензином. Эрлих начал протестовать: „А что со счетом?“ „Порви его“, - сказал я. Но он не разорвал его. Я нашел счет в новой папке, красными чернилами на нем было написано: „Не оплачен“ - для финансовой инспекции.

Я привез машину домой, дал Асе ключи и сказал ей: „Отдай ему ее“, - и добавил тысячу лир в качестве оплаты за его работу. Она взяла ключи и деньги и не сказала ни слова. Машина несколько дней стояла возле дома, а потом исчезла.

Встречаются ли они все это время тайком? Пока я не знал ничего, но сама мысль об этом возбуждала во мне какую-то

сладкую боль, однако дни эти были какие-то шальные и промчались неимоверно быстро. Уже начались праздники, нет, не праздники, „страшные дни“*. Тысяча девятьсот семьдесят третий год.

ВЕДУЧА

А если это человек, который лежит в кровати, и люди приходят и смотрят на него, так почему бы ему молчать. Пусть скажет что-нибудь, надо говорить, и, правда, начал говорить без перерыва, слышит свой голос, мягкий голос, разбитый голос, бормотание старухи, которая говорит и говорит - может быть, остановится на какой-нибудь мысли. Потому что у нее глубокое горе, она многое потеряла, может быть, найдет что-нибудь. Кругом улыбаются, но не понимают, поднимают подушку, поправляют одеяло, переворачивают ее с боку на бок, говорят - так будет лучше. Еще чуть-чуть. Поспи немного. Но если надо спать, так лучше умереть, и здесь этот бродит. Дорогой, знакомый, необходимый, приходит и уходит, постоит и исчезнет. Где это? Приведите! Покажите мне, я очень хочу. „Это, это,“ - зовет из подушки рот, раздраемый криком.

И это вдруг приходит. Вдруг идет. Вдруг стоит. Вдруг исчез. Смотрит хмуро, всегда торопится, руки в карманах - и ночь.

Если бы было единственное слово, чтобы перевернуть мир, но мир в руках, которые в карманах, равнодушно крутятся, забыли обо всем, ничего не хотят.

В окне звезды. „Это“ - шепчет: выплывает слово, отбрасывает одеяло, подушку, скатывается на пол, встает, падает, ползет, встает, идет, перекачивается, толкает дверь и еще дверь, в небо, поле. сад. В ногах колючки, в голове холод, раздвигает ветви, опускается на землю, роет, ищет слово, которое откроет все.

* Дни перед еврейским Новым годом, когда начинают произносить молитвы покаяния.

**Дмитрий РАШКИН**

МОЙ МИЛЕНЬКИЙ ЧЕРНЕНЬКИЙ КОТИК

Верю, в конце жизни я закрою глаза и скажу себе тихо, чтобы никто не услышал, но все-таки вслух: „У меня была цель, и я ее достиг!“ Надо начинать с малого, ставить перед собой выполнимые цели и достигать их, потом поднимать планку и снова лезть, лезть!

Я жил в захолустье, а теперь живу в Москве, учусь в институте, у меня своя комната, хотя для этого мне пришлось стать дворником. Первое время в институте надо мной смеялись, но теперь завидуют и комнате, и деньгам. Пусть мало, но вместе со стипендией это ненамного меньше моей будущей зарплаты. Я стал шире в плечах, у меня появились мускулы, и теперь всякая паршивая сволочь побоится тронуть меня! А я не побоюсь всякой паршивой сволочи! Я жил у родителей и барахтался, как в болоте, но вот я выплыл на берег и иду твердо, по твердой земле!

В шесть утра я ухожу подметать, а соседка Трофимовна идет на кухню завтракать и принимать гостей.

Когда я поселился здесь, то, возвращаясь после утреннего подметания, слышал за закрытой кухонной дверью голоса. Странно, кто в такую рань ходит в гости? Проклятая робость мешала открыть дверь, и, чтобы не голодать, я заготавливал еду с вечера, а утром наспех поглощал ее. Как-то, забывшись на мгновение в предвкушении котлет, я толкнул дверь и вошел на кухню. Тут я вспомнил, что попал на запретную территорию, и стал осторожно, боковым зрением, осматриваться. Трофимовна сидела за столом в одиночестве, на клеенке были расставлены блюдечки, на каждом - кусочек сыра или сосиска. Со всей кухни к столу были собраны табуретки, колченогие стулья. Трофимовна обращалась к ним, как к старым знакомым, пододвигала еду и была весела как никогда.

- Садись к нам, - широким жестом пригласила она, - не побрезгуй моими гостями. Мы, конечно, старики, и вам молодым с нами скучно, но не обессудь, чем богаты, тем и рады. Э, да у тебя свое. Садись со своим, места хватит.

- Нет, нет, - задержался я, - не хочу мешать, - и выскочил из кухни. На другое утро я уже безбоязненно открыл дверь на кухню, кивком поздоровался с гостями и полез в холодильник. В этот раз за столом складывалась непростая обстановка - я прикрылся дверцей холодильника и прислушался. Разные сельскохозяйственные термины мелькали в гневной речи Трофимовны: кто-то и зачем-то сгноил все колхозное сено - как тут было не взорваться. Всплывали то „сенокос“, то „сенаж“, просто враг народа был этот агроном Сенька. „В то историческое время, когда весь народ в едином порыве, - веско и с напором говорила Трофимовна, - смыкает стройные ряды, ты, Семен!..“ Я не выдержал и затрясся от хохота, норовя не подавиться куском колбасы. Неожиданно воцарилась тишина, потом кто-то отодвинул стул и вышел, хлопнув дверью. Я подождал в недоумении и выглянул из-за дверцы: - один из стульев был отодвинут, будто кто-то выскочил из-за стола. Трофимовна хихикнула и сказала: „Видал? Сенька агрономом стал, а правду не любит!“

Каждое утро кормит Трофимовна свою компанию и отправляет на работу, потом моет посуду и начинает спешить: ей

тоже хочется иметь свое расписание, свой гудок и свое начальство. Она трудится с восьми до двадцати, перерыв с тринадцати до четырнадцати, и каждая продавщица кричит на нее. У нее есть свой коллектив - ведь какой дружный, живой организм очередь, знают все. Кроме меня. Я знаю это только по ее рассказам. Трофимовне не так уж много надо, и наши заказы, мои и моего соседа Алексея, доставляют ей трепетную радость. Прелесть новизны витает над ними.

Утром я не расположен говорить с Трофимовной. Много передумав за утренний „урок“, я чувствую себя на подъеме. Мне не хочется размениваться на ее глупости, я бы с большим удовольствием пошел сейчас к Алексею и поговорил с ним. Только он встает после десяти, а уж говорить о чем-нибудь разумном может только после семи-восьми вечера. Он тоже работает в жэке, но не как я, дворником, бери выше, он педагог-организатор, его паршивая работа гораздо паршивее моей. Он давно хочет перейти в дворники, но не может вставать в шесть утра. Я считаю, это бесхарактерность, хотя у каждого свои пределы, своя биология и ее не переступишь.

* * *

В соседнем подъезде живет один дядька. Я встречаю его, когда иду на работу. Вначале он норовил боком проскользнуть мимо меня, но потом привык и разговорился:

- Принято начинать с детства, но я не помню в нем ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. У нас была дружная семья, родители ни к чему не принуждали меня, и мы жили мирно. Это было бы прекрасным началом для чудесной истории, но... Я мог бы назвать это болезнью, и это было бы проще всего. Так считают врачи, и им, конечно, виднее, но мне видится в Этом особое состояние духа. Есть же болезни, которые считались у древних священными, есть, что считались дурными. Хотя, если оценивать наши болезни с нравственных позиций, это нас слишком далеко заведет.

Так вот, впервые я почувствовал приближение Этого в школе. Где-то в середине первого класса у меня стала поба-

ливать голова, а класса со второго она болела не переставая. Ни воскресенья, ни каникулы не помогали мне! Первое время я еще жаловался родителям, и меня как-то лечили, но не помогло. Я свыкся и перестал жаловаться.

Что делалось со мной? Это поймет всякий, кто чувствует перемену погоды. Тяжесть в голове, заторможенность... Потом я узнал, что для школьника это довольно обычное состояние, связанное, как считают ученые, с резкой переменой обстановки, нагрузкой и тому подобными неожиданностями, подстерегающими человека в начале трудового пути. Где-то к концу начальной школы человек привыкает и чувствует себя великолепно, как птичка и мышка.

И действительно, головные боли стали потихоньку стихать, но странная рассеянность, отстраненность остались. Школьные науки действовали на меня благотворно, но, как только педагог уклонялся в сторону от прямого изложения предмета, внимание мое рассеивалось, и я как бы расплывался.

Должен с горечью признать, что тогда, в юношеском возрасте, я потакал своей слабости, и склонность эта развилась всемерно. Тем не менее в школе дела мои были не так уж плохи. Я не слышал речей, произносимых педагогами, а тем более соучениками, но дома с книгой я шутя постигал школьные премудрости.

С книгой проще. Людская привычка примешивать к делам простым и естественным высокие принципы и, наоборот, решать большие дела, исходя из естественных надобностей, всегда приводила меня в замешательство.

Я заработал средней высоты аттестат и твердую репутацию идиота. К сожалению, последнее родители не удосужились зафиксировать официально, поэтому сразу после школы я попал в армию.

До сих пор помню благие мысли, приходившие мне в голову: встать в шесть утра, одеться быстро, скоро-скоро пробежать по росистой траве. Какая это здоровая и хорошая жизнь! И надо сказать, я не обманул, но люди всегда вно-

сят беспорядок в самое прекрасное дело. Бежать три километра никогда не было для меня проблемой, ходить куриным шагом тем более, но когда я слышал слова команды, что-то происходило со мной, и я рассеивался. Я застывал, подобно соляному столбу, в той позе, в которой заставляла меня команда. Потом обычно следовало высказывание о моем моральном облике, но оно не заставляло мою душу на месте. Надо мной повисала напряженная, но благотворная тишина, и мое „Я“ водворялось в меня. Тут начальствующий обычно заявлял: „Ах, ты!..“ - и я опять рассредоточивался. Мои начальники были уверены в благотворном влиянии армейской жизни, так что тренироваться в рассеивании мне приходилось ежечасно.

Не надеясь более увидеть в моем лице образцового бойца, младший командный состав оставил меня в покое. Строевые занятия, а тем более изучение уставов или еще более важных документов заставляли меня в тени раскидистого дуба. Прекрасно помню его романтически одухотворенную крону и плывущие в небе кучерявые облака. Меня укладывали спать заранее, но засыпал я не раньше, чем произносилось первое командное слово.

По ночам я страдал бессонницей и, если объявлялась неожиданная тревога, был на ногах первым. Это очень радовало нашего лейтенанта. Он поднимал нас, возвращаясь из города, и сразу же отпускал. У него едва хватало сил доползти до собственной кровати. Как-то раз он не рассчитал остаток сил и все-таки повел нас в атаку. Дойдя до клумбы с розами, он приказал окопаться, но силы изменили ему, как, впрочем, и мне, и наши тела бойцы унесли с поля боя. Я стал привыкать к своей новой жизни, похожей, скорее, на жизнь ежика, пережидającego зиму, чем на что-нибудь человеческое. Ко мне привыкли, ценя мою безвредность и беззащитность.

Но пришло время присяги. Меня поставили во второй ряд, а два соседа, как это не раз репетировалось, крепко держали меня. Все было предусмотрено, но выйти из строя и торжественно поклясться в верности народу я так и не смог.

Я спал так крепко, что даже не заметил, как оказался на гауптвахте. Потом сознание обострилось, и я отметил, что нахожусь в госпитале, а когда недоумевающие и испуганные родители положили меня на кровать, я проснулся.

Надумал я поступать в университет. Пока сдавал экзамены, страстно влюбился и даже оформил свои отношения с прекрасной студенткой. Никогда в жизни я не спал так мало. Два дня учебы повергли меня в катастрофическую спячку, а когда я проснулся, университет уже захлопнул передо мной свои дубовые двери, а жена официально разорвала наши сладостные отношения.

- Как же вы теперь? - изумился я.

- Ради бога, молчите! Мы же с вами так прекрасно беседовали. Четвертый этаж, седьмая квартира, не бросьте человека в беде.

Он стал медленно опускаться на мостовую. Я довел его до седьмой квартиры, нажал звонок, прислонил бедолагу к косяку и, стараясь сдержать зевоту, выскочил на улицу.

* * *

Хозяйство не заедает меня. Трофимовна безукоризненно творит свое доброе дело, но однажды банки и бутылки затопили все подкроватные и зашкафные пространства и я отправился сдавать их в открывшийся после ремонта овощной магазин.

Система была проста: сдаешь стеклотару, получаешь жетон, в кассе меняешь жетон на деньги. В приподнятом настроении я встал в очередь. Мелкие удаchi доставляют мне больше радости, чем крупные свершения. Сдать посуду за десять минут!.. Но три бутылки все-таки не приняли. Я поинтересовался, почему? Они были из-под пива! Для приемщицы это меняло все, для меня не значило ничего. Я давно заметил, что такая разность в оценках характерна для людей. И я отправился к директору.

Если бы не чистый пол, не белые халаты на продавщицах,

не вымытые овощи в лотках, я бы не протестовал. Такой оборот событий показался бы мне нормальным, что значат три бутылки перед естественным ходом жизни? Я открыл дверь и попал в кабинет.

В Москве у меня нет ни родственников, ни добрых знакомых. В свободное время я хожу в кино, и оно вознаградило меня. Только фильмы о технической революции могли подготовить меня к виду этого кабинета. Полированный стол, необшарпанные кресла, пульт связи, телефоны, вымытое стекло огромного окна! Смущенный и недоумевающий стоял я на пороге.

Директор оторвалась от телефонной трубки и повернулась ко мне. О, как была она хороша, как мила, как прекрасна! Я потерялся, я потянулся к ней! Бутылки предательски зазвенели, и я судорожно обхватил портфель руками, но поздно, очарование было разрушено. „Молодой человек, - сказала она, - сдача посуды на первом этаже“. В ее голосе был металл.

Я не верю в случайность и судьбу, я верю в систему. Все последующее вытекает из предыдущего, и, значит, шаги мои были верны, а дорога правильной - и вот я пришел сюда!

Строго, без лишних подробностей я изложил суть дела. Привел некоторые соображения, аргументировал и развил доводы, стараясь не столько убедить, сколько заинтересовать. Она нажала кнопку селектора:

- Ниночка, прими у молодого человека бутылки из-под пива. Да постарайся только с ним не разговаривать, а то мы сегодня план не выполним.

- Вы можете быть совершенно спокойны за Ниночку, я не стану отрывать ее от выполнения плана.

- И очень хорошо сделаете. Кстати, может быть, вы и мне разрешите заняться выполнением плана?

Она спросила меня с тем привкусом нетерпения, который опаснее любого взрыва. Надо было спасти тонкую ниточку, что, казалось, протянулась между нами.

- Вы блатные песни любите? - спросил я, чувствуя себя

как в университетском лифте, когда ноги едут на первый этаж, а голова на последний. Глаза ее наконец-то раскрылись полностью.

- Не смею вас более тревожить, - сказал я поспешно. - мы все успеем обговорить позже.

И тут я плотненько закрыл дверь и сбежал через три ступеньки в зал. У Ниночки узнал имя-отчество директора, вернулся домой и забегал по комнате, переживая и восторгаясь, а бутылки так и звенели в моем портфеле, пока я не догадался засунуть их под кровать.

Я отправился в конец коридора к Алексею. За то недолгое время, что мы прожили в одной квартире, я стал питать к нему если не уважение, то симпатию.

Алексей не был расположен к разговору, или тема была ему неприятна, но он только бурчал что-то невнятное о деловых женщинах, переходя от простого неприятия к совсем уже неприличным высказываниям. А сам-то! Знаю я его Ольгу. Да женщина ли это? Какой-то аппарат. Когда я только поселился здесь, то все было прилично: она и в магазин ходила, и в прачечную. Работает она тут же, подъезды в нашем доме моет. Правда, на нее и тогда пальцем показывали. Как к ней кто заходил, так у нее и оставался. Проходил как-то лифтер через их квартиру на черный ход и остался у нее на полгода, сантехник наш - на два месяца. Потом все короче стали эти остановки, а где-то полгода назад она сама меняться стала. Глаза полузакрытые, ни тебе прачечная, ни тебе магазин. Потом даже платье поменяла, покрой такой - мешком. Стою я как-то раз внизу на лестнице, а она сверху идет - мать моя! Да она его на голое тело носит! Дальше больше. Идет она к магазину и прямо на улице алкаша какого-нибудь берет - и к себе. Хотя бы пила, что ли! Так нет, денег не берет, ничего ей не надо, кроме этого. Кто ей из алкашей сердобольных колбаски оставит, кто хлеба. Из моего окна как раз магазин виден, как не подойдешь, всегда она там маячит. Уж привыкли к ней, и не каждый соглашается, вот она от одного к другому и ходит.

Показал я ее Алексею, он посмотрел, похмыкал, а потом как-то ведет ее к себе. Я как увидел их в коридоре, так и обалдел: забежал к себе в комнату, да еще дверь на ключ закрыл. Ведь как смотрит на него, и глаза играют, и походка легкая и лепечет что-то ласкательное. И такое началось, хорошо хоть Трофимовна на посту в магазине была. Стены у нас толстые, но как она свой визг подняла, хоть ватой уши затыкай! Я и так под подушку залез. Слышу, дверь хлопнула, и опять она у магазина вертится. На другой раз я уже умный был, увидел, что она у нас появилась - сразу на улицу, и пока она не ушла, не возвращался. Вот ведь и знаю, что дура она и недоумок, а все равно увижу ее - так всего перетрясет.

Потихоньку переселилась она к Алексею, то час у него посидит, то на ночь останется. И не только в постели, но и сидеть на стуле стала, притихла, иногда только, если Лешки нет дома, опять у магазина крутится.

Сказал я ему как-то об этом, а он рукой махнул, пусть, мол, ее. Станный он все-таки. Я ему говорю, может, она умом тронутая? Он соглашается. Так ведь ее лечить надо. А он у нее спрашивает - хочешь в больницу? Она не хочет, ей и так хорошо. Алексей говорит, мол, если она тебе мешает, скажи, а нет, так отстань от бабы. Ей хорошо, мне хорошо и мужикам хорошо; так чего же ты хочешь, если всех все устраивает? Это же идеал, а не баба. В день три слова скажет, и то ни тебе - хочу, ни тебе - дай.

Трофимовна сначала косилась на нее, а потом Алексей уговорил Ольгу не ходить голой по коридору, и Трофимовна смирилась и даже стала ее подкармливать. Этой девке удастся выжимать из всех жалость, но только не из меня! И если бы не Алексей, я бы ее в минуту высвистил из квартиры! Ни поговорить с Лешкой, ни зайти к нему, сидит голая, хоть бы прикрылась, да глазами посверкивает. Я такие глаза только в зоопарке видел.

Пришла как-то к Алексею очень приличная женщина. А у него Ольга сидит, так женщина приличная, вылетела от него как ошпаренная. Стоит у входной двери, пальто натягивает,

очки сваливаются: „Поганый, - говорит, - растленный тип! И я, - говорит, - отдала ему лучший, сладчайший кусок жизни!“ Зонтик открыла, водрузила над собой и выйти хочет. Я смотрю и немею, зонтик она закрыть не сообразит, а сказать неудобно, так я ей вторую половину двери открыл, она, как грузовик, и выплыла. Как уж из подъезда вышла, не знаю.

* * *

Давно я хотел влюбиться, и чтобы любили меня. Гуляя в одиночестве по Патриаршим прудам, я смотрел с тоской на обнимающиеся парочки, на девушек, о чем-то болтающих друг с другом, подсаживался к ним на дальний конец скамейки и с трепетанием сердца слушал их щебет. Я не торопил события, не знакомился на улице, не хватал за руку в метро. Все должно прийти само. Правда, я начинал подумывать, что не дождусь благосклонного знака, но вот случилось!

Сначала я ждал мою директрису у входа в магазин, но напрасно. Потом случайно обнаружил потайной служебный ход, но и тут мне не везло, то ли она уходила раньше, то ли позже. Наконец я не выдержал и в середине дня вломился в ее кабинет. Там кто-то был, но я не обращал внимания на недоуменные взгляды, дождался, пока она не осталась одна, и говорил, говорил, протягивая руки, только, чтобы она не прервала меня. Она не отводила от меня глаз! Я написал ей свой номер телефона и, подсовывая бумажку, чувствовал в руках сладостное изнеможение.

- Я думаю, - сказала она, потом поправилась, - я подумаю.

Пора было уходить. Ноги медленно тащили меня к выходу. Я отворил дверь, все еще чего-то ожидая, но ничего не произошло.

- Подожди, - услышал я и тут же оказался на середине кабинета, - как тебя зовут?

- Сергей, Сергей Львович, Сережа, - я примерился сесть на стул.

- Иди, Сергей Львович. Твой вопрос решается.

Я пошел домой и занял место в коридоре у телефона.

Ни в тот день, ни на следующий она не позвонила. Я стал заливать тоску разговорами и, между прочим, услышал историю одного жильца из второго подъезда. Пришел он к нам не то за мылом, не то за солью, а засиделся допоздна. Поначалу оглядывался он на нашу „ню” и помаргивал смущенно, но потом привык и даже дружески похлопывал ее по голой спине.

* * *

- Жил я раньше в доме напротив, и собирались нас не то выселять, не то ремонтировать. Сам я живу здесь с рождения и представить не мог, как жить в другом районе. Жена моя, прекрасная, кстати говоря, женщина, с трудом переносила быт общей квартиры и мечтала из нее выбраться. Она и письма какие-то подписывала, и жаловаться к кому-то ходила. Я в этом участия не принимал, ведь выше головы не прыгнешь, и если решат нас ремонтировать без выселения, то будем мы сидеть по уши в трубах и известке и ничего нам не поможет.

Сидим мы так год, два, пять, уже все дома на улице выселили, одни дворники остались, в магазинах даже очереди наполовину уменьшились - умирающий район. После семи вечера на улицу не выйдешь - никого нет, одни милиционеры пересвистываются.

Жена моя, прекрасная, между прочим, женщина, возглавила переселенческую кампанию, и обратили-таки на нас внимание. Дали двухкомнатную квартиру. Конечно, после жизни в одной комнате кажется, что в другую жизнь попал. Я даже как-то позабыл о моих привязанностях. Думал, легче быт станет, жена поспокойней будет, две комнаты да кухня, чем плохо?

Стали мы выбирать, да все никак сойтись не можем: она метраж побольше ищет да планировку получше, а я норовлю поближе к центру. Вертели, крутили - решили ближе к метро брать. В метраже чуть потеряем, да когда живешь, этот

метр и не замечен. Хлопоты потом пошли, квартиру новую ремонтировать надо: линолеум какой-то липкий, пол на балконе дыбом стоит, а уж про щели у плинтуса да обои рваные я и не говорю. Переезд тот же: машину заказать, мебель перетащить. Наконец в машину заехали, я в кузове, жена в кабине - дорогу показывает. Полость брезентовую захлопули, глянул я в окошечко и аж захрипел! Дом свой вижу, аллею, пруд, павильон покосившийся, ограду чугунную, мать моя, куда же я еду! Да не выпрыгивать же из машины.

Приехали, вещи поставили и стали жить. Первое время я был рад, что не поддался настроению, не испортил переезд. Ведь моя жена, в сущности, прекрасная женщина, но что-то все время гнуло меня, и старался я не смотреть в окно. Поставленные на бок или торец коробки домов напоминали мне стенки лабиринта в экспериментах с крысами.

Раньше мне почти не приходилось ездить на метро. До работы я доходил пешком; магазины, театры, кино - все было под боком. Теперь же я жил, как на вокзале, вся прелесть нового жилья была в том, что из него удобно было уехать. Я оставался в центре после работы и шел на Патриаршие пруды смотреть на лебедей, старушек, даже на Крылова, похожего на буддийскую ступу, и мне совсем не хотелось возвращаться домой.

Дома меня ждало всегдашнее удивление, где это я так долго задерживаюсь? Пришлось перестраиваться. Я умолил начальство разрешить приходить мне на час позже. Рассказал о своем несчастном ребенке - о врачах, больницах, и мне разрешили. Я отработывал это время в обеденный перерыв. Таким хитроумным способом мне удалось объяснить жене, что мы теперь начинаем работу на час позже и на час позже кончаем. В этих невероятных измышлениях ум мой обострился, и я изобретал невероятные причины, чтобы только попозже являться домой. В темноте, когда я возвращался, мой новый район выглядел вполне презентабельным, и даже был похож на жилое место, но окна! Окна! Окна! Они висели надо мной, а в них свисали вниз головой люстры! Люстры! Люстры!

Недолго продолжалось блаженство, один проходимец на работе взял трубку, когда жена звонила мне, и стал выражать ей всяческое сочувствие по поводу плохого здоровья дочери, и так за дурацкую ниточку вытянулись на свет мои невинные уловки.

Как серьезному человеку, мне следовало вернуться в семью, но у меня не было сил бороться на два фронта - и с женой, и с собой. Я снял комнату напротив родного дома и наслаждаюсь жизнью. Два раза в неделю я езжу к своим, хожу по магазинам, вбиваю гвозди и шпаклюю стены. Приезжает ко мне иногда жена, прекрасная женщина, она старается меня простить, но никак не может понять. Дочка подросла и стала потихоньку от матери приезжать ко мне. Жизнь налаживается, и, тыфу-тыфу, чтобы не сглазить, все бы хорошо, если бы не постоянные разговоры, что и этот дом выселяют. Вы ничего не слышали?

* * *

И зазвонил телефон! „Сергей Львович?“ - от неожиданности я чуть не положил трубку. Мы договорились, встретились, не успели насмотреться друг на друга, сходили только в какой-то бар, в гости к ее подруге, и вот я остался один. Какой-то начальник из ее главка отправился в командировку и потащил ее за собой. Я не понимал, почему она не откажется, не останется со мной? Она смотрела на меня чуть смущенно, не хотела говорить, обсуждать, не разрешила проводить, даже не сказала, куда уезжает, чтобы я не пришел на вокзал. Ее предусмотрительность удивила меня. „Зачем ты ей понадобился?“ - бурчал Алексей. Не знаю и знать не хочу, дурацкий вопрос. Что значит „понадобился“? Мы нужны друг другу!

Луна светила только мне, и я бродил по пустым, чумным улицам. Шла Олимпиада. На улице Горького уже в девять часов было безлюдно, и вольный ветер гонял окурки по тротуарам. На прудах дроздами пересвистывались милиционеры, и

я шел мимо них, провожаемый взглядами, как по цепочке. Приезжих не было, половина местного населения была рассеяна по просторам страны, пустота рвала мои мысли, воспоминания. Сном казалась мне милая директриса. Ее зеленоватые глаза смотрели на меня из пруда, а рядом, словно потерявшийся воздушный шарик, покачивалась луна. Я вспоминал ее волосы, темно-синее платье с маленьким вырезом, плащ, который она однажды надела. Иногда она шла рядом со мной, иногда отставала, и я ждал ее. Память о ней - прикосновения, обрывки слов - не становилась реальнее от того, что она была на самом деле. Как она могла бросить меня, оставить, когда я еще не обрел ее?

В телевизоре шумел спорт, как удачная телепостановка: легко, радостно мелькали спортсмены, флаги; но, похоже, это были павильонные съемки, улицы были тихи и пустынные даже днем. Мостовые с редкими машинами, тротуары с редкими прохожими - как от дурного глаза бежал я в свою конуру. Мимо окна проезжали колонны грузовиков с невероятными номерами дальних районов. У стадионов высаживались из них толпы милиционеров, которые, казалось, охраняли сами себя от своих же собственных, но так и не выплеснувшихся звериных инстинктов.

Я перестал верить в ее возвращение. Как брошенный котенок, как потерянная собачонка, я тыкался по углам, бессмысленно перебегал улицы, шарахался от людей и прижимался к ним. Вглядывался в лица, будто искал ее. Казалось, она здесь, сейчас я найду ее, но нет, все пустое...

Но она была милостива ко мне. Еще на площадке, за дверью я услышал телефонный звонок и, чуть не ломая ключ, стал врезаться в замочную скважину. Телефонистка соединила нас, и немного торопливо и потому, как мне показалось, особенно деловито любимая сказала, что приедет через три дня. Среди десятка подаренных слов я ощутил мгновенное касание, услышал „не волнуйся“ и потом долго слушал гудки, стоя на подгибающихся ногах. Я не сказал ей

ничего важного, только „жду“, только „приезжай“, но мне показалось, что она поняла меня.

Мое окно на первом этаже было открыто, и я в полусне слышал шум подъезжающего троллейбуса, открывание дверей, закрывание, и снова троллейбус устремлялся по кольцу, как всегда в это странное лето. И как продолжение чуда принял я появление в моей комнате маленького черного котенка. Он попал ко мне через открытое окно и удивленно озираясь, беззвучно плакал в тоске и предчувствии боли. Он шел в руки, не сопротивляясь, но, скорее, от бессилия, от невозможности изменить что-то в своей кошачьей жизни, чем от доверия, от надежды на лучшее. В счастливую минуту попал он ко мне и получил полное блюдце молока, теплую тряпку и миску с песком. Наевшись и все еще не веря в благие перемены, он лежал на подстилке разложив лапы, откинув хвост и блаженно мяукал.

Я не мог назвать его, к нему не подходило ни одно известное мне кошачье имя. Назвала его Ольга. Встретившись, они раскланялись, как старые знакомые, и она позвала его почему-то „цып-цып“, и он пошел к ней. Потом она позвала его: „Топ, То-оп“, - и он отозвался сытым уверенным звуком „ы-ы, у-у“. Неприступный и гордый кот расхаживал по квартире. Он навещал то преданную ему Трофимовну, то скептического Алексея. С Ольгой он всегда здоровался низким звуком, удивительным в таком маленьком существе, а она говорила ему с почтением: „Здравствуйте, Топ“. Они отправлялись в комнату Алексея, и Топ часами сидел на руках у Ольги, только иногда искоса поглядывая ей в лицо. Индейская непроницаемость Ольги импонировала ему, и он прыгивал с ее колен только по неотложным делам.

Алексей как-то увидел эту скульптурную группу, походил вокруг, примериваясь, потом включил свет, достал большую пачку фломастеров и стал раскрашивать Ольгу. Кот недовольно заерзал, но, успокоенный Ольгиной неподвижностью, затих. Алексей нарисовал ей красные круги на щеках, удлинил глаза, прочертил рот, прошелся резкими чертами по

плечам и рукам, оттенил соски, потом потушил свет, и я увидел египетскую мумию. Алексей зажег свет и поставил перед Ольгой зеркало, она и кот внимательно вгляделись в свое изображение, кот чихнул, а Ольга чуть тряхнула головой. И было непонятно - нравится им эта игра или нет. Алексей что-то почувствовал, подколот ей волосы, чуть добавил цвета на лицо и шею, и вот уже юная, прелестная египтянка сидела передо мной.

* * *

По утрам я подсаживаюсь к столу на кухне, ем и слушаю, как Трофимовна говорит с „родственниками“.

Вначале я попытался сесть на стул, уже приставленный к столу, но Трофимовна остановила меня: на нем, оказывается, сидела свояченица, рядом племянник Сенька. Еще в девках Трофимовна кормила его, брошенного безалаберной махехой, а теперь он даже не желает отвечать на ее справедливые упреки. С ним у нее были постоянные размолвки, и он уходил, хлопая дверью, но наутро опять, как ни в чем не бывало, садился на свое место. Его бесстыдство иногда даже удивляло Трофимовну.

Еще был глухой дед, который всегда с Трофимовной соглашался, за что она его уважала и первому приносила еду. Была еще языкастая Милка - доярка и развратница, с поражающей Трофимовну быстротой и без раздумий менявшая мужиков. Трофимовна относилась к ней покровительственно, с пониманием. Она слушала, повернувшись правым ухом к говорившему фантому, и, как сомнамбула, смотрела остекленевшими глазами на стену. Не отрываясь от стены, она коротко отвечала чему-то, слышному только ей. Когда разговор начинался крупный, она отрывалась от стены и бурно отвечала, сама же спрашивая. Воздушные гости постепенно заполняли ее, завладевая и дневным, и вечерним временем. Даже в очереди, на любимом посту, она иногда застывала так, что получала тычок в спину или не отвечала вечно раз-

драженным продавщицам, что в нормальном состоянии было для нее совсем уж невероятным. К моему благополучию все это до поры до времени не имело отношения, но однажды туча нависла над нашей коммунальной жизнью - из Харькова приехала неожиданно ее дочь.

Дочь не входила в число фантомов, населявших кухню, и я не знал о ее существовании. Кстати, не были уж совсем призраками и наши гости - дед, правда, давно умер, а доярка спилась и потеряла всякий интерес к мужикам, зато Сенька стал председателем колхоза. Дочка приехала забрать мать к себе и приставить к внукам, а заодно увеличить свою жилплощадь за счет материнской комнаты.

Жила она в Москве третий день и никак не могла уговорить мать поехать с ней. Трофимовна обсуждала все это по утрам с „близкими“, слушала их, иногда соглашалась, иногда отказывалась и мучилась. И тогда я подговорил дочку встать пораньше, намекая, что в ГУМе к открытию выбрасывают дефицит. В половине седьмого она вошла на кухню, как раз в разгар беседы с дояркой о моральном облике дочери и... в тот же вечер уехала, не желая связываться с матерью даже для приращения жилплощади. Она собрала свои чемоданы, сумки, свертки и баулы; хорошо, что окно у меня выходит на улицу, мы выкинули их через окно, загрузили с Лешей в такси так, что оно присело, и отправили дочку в Харьков.

* * *

День Галиного приезда приближался, и как натягивается настроенная струна, так душа моя тоньшилась и подрагивала. Насторожение мое передавалось Топу, и плавная его походка становилась неровной, все реже растягивался он на Олыиных коленях, нервно оглядывался и наконец, когда наступил день возвращения и я открыл дверь ее кабинета, первым неспешной походкой вошел Топ, а за ним с трепетом я. „Ой, - сказала Галя, - какой миленький черненький котик“, - и бросилась перед ним на пол. Я встал на колени рядом с котом и протянул к ней руки.

Ночами мы бродили с Галей, замороженные нашей близостью, легкие, как бумажные самолетики. Большие освещенные улицы пугали нас, только в темноте, в безлюдье, страшась ее чудного лика, я касался ее руки. Блаженно было то время, но я не понимал этого, я зачем-то спешил, мне казалось, что мы еще далеки друг от друга. Когда хочешь продолжить что-то, время ускользает мгновенно, а тут, когда я так стремился нарушить равновесие тел и душ, время тянулось бесконечно и мудро. Я никогда не был у нее дома, никогда не провожал в этот неизвестный и незапоминаемый район, она не разрешала звонить ей, приезжать. Я ревновал, мне казалось что в этом есть что-то опасное, недоброе, что она далека от меня, а она стояла рядом. И когда я поверил ей, мы оба закачались на легких волнах, а случайные огни, мелькавшие за окном, рисовали мне ее лицо.

Наутро я был в необычайном волнении и долго не мог отправиться на работу. Все валилось из рук, я мешал себе и прохожим. С трудом доподметав, я ушел скитаться по городу, потом вернулся домой и ходил из угла в угол. Появился Алексей, посмотрел на меня: „Да если ты из-за бабы будешь...“ - но я закрыл дверь, и он доворчал свою укоризну в коридоре. Я убрал комнату, посидел в беспамятстве, потом переставил мебель и переложил книги. Опять появился Алексей, привлеченный необычным шумом. Он с удивлением посмотрел на творимые мною безумия и стал рассуждать: „Вот что значит молодой организм. После такого дела кофе бадейками пить надо, чтобы на ногах держаться, а наш молодняк козликом скачет“. Я стал выставлять его из комнаты и увидел выходящую из кухни Ольгу, на ее груди черным фломастером было написано „2038589 Нил Кузь начЖЭКа“. Ольга вместе с этой дурацкой надписью вдруг показалась мне такой желанной, такой сладостной, что я, чтобы не искушать себя, закрыл свою комнату изнутри на ключ, а ключ забросил в шкаф. Потом достал чертежный ватман, разрезал его на полосы и развесил на стенах иероглифы с благопожеланиями. Комната сразу засветилась. Китайцы знают в

жизни толк. И только после этого я свалился на кровать и заснул. Жизнь была прекрасна, а будущее светло.

* * *

Я входил в Галин магазин и расставался с реальностью. Благоговейно оглядывал фаллические морковки, негритянские выпуклости свеклы, очаровывали меня плотные ягодицы капусты, бесстыдно блесевшие в неоновом свете. Еще больше приближали меня к Гале разговоры с девочками за прилавками. С девочками, постоянно усталыми, но ждущими чего-то романтического, королевского. Они говорили о директоре с приличествующим уважением, но не могли не покопаться в ее прошлом и не обсудить настоящее.

Вначале они обходили меня, но потом привыкли, и я узнал о Гале много неожиданного. Оказывается, не так просто иметь мытые овощи, молодых продавщиц и кабинет эпохи НТР. Есть кто-то в главке, кто поддерживает ее, выдвигает еще с института, возит с собой в командировки. Говорят, он стар, женат и имеет внуков, говорят... Я заткнул уши и ушел от них. У моей Гали нет прошлого! Они хотели измазать ее, им противно видеть ее счастливой. Я поднялся на второй этаж, чуть приоткрыл дверь и посмотрел на нее - она была прекрасна!

* * *

Пальцы фар ощупывали Галино лицо, и я пьянел, глядя на эту игру. Пробегая по комнате, блики падали то на аккуратно сложенное платье, то на спавшего, разметавшегося кота.

Утром, после подметания, я относил кота в магазин, и он, как маленький султан, принимал поклонение и восторги, а вечером Галя приносила его ко мне. Он лежал рядом с кроватью, иногда недовольно пофыркивая, когда, по его мнению, мы переходили границы приличий, но, как только Галя уходила, он вспрыгивал на кровать и разваливался поперек

моей шеи. Ничто не помогало, упорно, не обращая внимания на толчки, он забирался снова, не давал мне дышать и щеко-тал подбородок. Однажды ночью, когда мы остались с ним вдвоем, я не выдержал, посадил его на стол и сделал долгое и суровое внушение. Он смотрел в сторону, как будто не желая слушать меня, потом лег и только поглядывал кротко и разумно, взгляд его смутил меня, и я замолчал. Убедившись в победе, кот молча встал, спрыгнул со стола и презрительно улегся на тряпке под окном.

После отъезда дочки Трофимовна сдала быстро. Она перестала кормить „родственников“, потом резко сократила походы в магазин и все больше сидела на лавочке во дворе.

Рацион мой значительно уменьшился - не было ни желания, ни времени стоять в очередях. Увидев мое отягощенное положение, стала приносить продукты Галя. Это были не просто продукты, а такие деликатесы, о существовании которых я только подозревал. Лешка с большим удовольствием кормился у меня. Естественно, перепадало и Ольге, хотя она, как мне кажется, питалась только мороженым и уксусом. Но с чего это Галина должна была кормить меня, а тем более всех нас? От еды я не отказывался, но платить за нее считал себя обязанным. Вот только денег на это у меня не было. Тем более что в институте ввели прогрессивную систему экономии: стипендия не давалась тем, кто сколько-нибудь зарабатывал. Интересно, что сказали бы преподаватели, если бы им перестали платить у нас в институте, потому как они и так получают на основной работе?

Все-таки Галя не могла понять, зачем жить скудно и бедно, если можно жить богато и жирно. Деликатесы для нее ничего не стоили, они пришли к ней, как она выразилась, „по обмену“, а дать их мне для нее удовольствие. Я стал кормить себя сам: пакет молока, сто граммов колбасы, булка за 7 копеек - меня это устраивало. Галю обижало. Злился и Алексей, мы получали с ним одинаково, но я растягивал свои деньги на весь месяц, а у него они исчезали в первый же день. Еще он мыл подъезд за Ольгу, и они несколько дней существовали

на ее зарплату, потом он кормился у приятелей, несколько десятков ему обычно подбрасывали родители. Денег все равно не хватало, и, когда я лишил его возможности подкармливаться, выяснилось, что мои принципы его не интересуют. Он даже брал деньги у Трофимовны, хотя на ее пенсию и воробей бы не протянул.

Я вцепился в Лешку: коли так много тратишь, так и зарабатывай. Что же, он согласен идти дворником. Но зачем? Зачем он сидел здесь и работал по чьей-то трудовой книжке, да еще, когда устраивался, приплатил нашему начальнику, если он мог нормально работать и получать нормальные деньги? Для меня это был темный лес. Я делал по ночам курсовые и лабораторные, чтобы выбиться, чтобы жить нормально, а он, имея диплом, все мог и ничего не хотел! Хоть бы в жэке кружок организовал театральный! Ведь есть же в Москве театры, кино, радио, телевидение. Ведь мы же в столице, а не под Харьковом!

Я высказал ему все, и он стал трястись, как будто его включили в сеть на 220.

- Есть в Москве все, - кричал он, - только места нет! Что я, не тыкался, что я, не искал, когда дураком был вроде тебя! Там же люди сидят, а у них есть дети, есть свои люди. У этих детей и этих людей есть свои дети и свои люди. Это крепость! Никто никому не нужен - только свои, только своим! Что ты суешься, когда ничего не понимаешь!

Может быть, он и прав, а может быть, просто из него вышел воздух? В конце концов есть не только театр, можно что-то сделать и в самодеятельности. Есть клубы, кружки, студии.

- Я не подвижник, а режиссер. Я не хочу лезть в это болото. Там же нельзя заниматься делом, там надо устраивать отношения, собирать людей, быть классной дамой и лидером. Да зачем мне это надо?

Мы разговорились всерьез.

- Если заниматься только делом, - стал выяснять я, - и плюнуть на людей, то и люди плюнут на тебя, да и на дело. Ладно, это все разговоры, но почему ты все-таки не работаешь?

Я попытался надавить на его чувство собственного достоинства.

- Это же не работа. Ты только отбиваешь время и делаешь вид, что что-то делаешь!

- А что, это здорово заметно? - неожиданно забеспокоился Алексей.

- Мне заметно. Душа обязана трудиться!

Мы выскакивали из своих комнат, размахивая руками и громко хлопая дверьми, чтобы через секунду опять прокричать что-то обидным голосом. Алексей был взбешен:

- Почему душа должна трудиться именно на службе? У тебя мозги набекрень!

- С тобой невозможно разговаривать! У тебя нет никаких принципов! - кричал я.

Честно говоря, я не помню, что говорил ему, но говорил горячо, и так же горячо отвечал Лешка.

- Да зачем мне принципы?! - несло из его комнаты, - Чтобы отворачиваться, когда тебя кормят?! Чтобы плевать, когда тебя любят?! Ты вот мне скажи, сейчас Ольга убирает квартиру, потом будет Трофимовна, а ты вместе со своими принципами прогуливаешься по мытому полу и считаешь, что так и надо. Вопрос - а почему? Понятно, с Трофимовной я выяснять не буду, но зачем ты Ольгу эксплуатируешь?

Этого я не мог перенести.

- Я вас месяц кормил, а теперь сам буду мыть свою половину!

Он засмеялся презрительно - рад, что довел меня. Я ушел и хлопнул дверью, а этот идиот закричал мне вслед:

- И не забудь свою половину толчка вымыть!

Дергался я после скандала, а потом подумал: „Да чего с него возьмешь, с ипохондрика несчастного!“

Вот опять чего-то пыхтит, кривится. Спрашиваю:

- Что с тобой?

Молчит, хотя и так ясно, опять в театре был.

Я еще никогда не видел его в хорошем настроении после театра. Если спектакль плохой, он просто тоскует, если хо-

роший, что бывает редко, он мрачнеет оттого, что не он, а кто-то сделал это. Есть в этом постоянном стремлении идти в театр и страдать нечто положительное для моих рассуждений. Мы иногда обсуждаем это, то есть в основном говорю я, а Алексей только хмыкает. Я объяснил ему свою систему:

- В человеке есть вечное стремление, только у каждого оно направлено в свою сторону. Надо обращать внимание не на то, чего человек хочет, а чего нам от него надо.

Надо с рождения внушать каждому, что существует лестница, по которой ему идти всю жизнь. Очень немногие осознают, к чему они стремятся, и надо дать каждому цель и место приложения усилий. Если ребенок родился в семье чиновника седьмого класса, то он будет мечтать о месте чиновника шестого класса, при очень смелом воображении - пятого, но никогда - второго. Он положит свою жизнь, поднимаясь к пятому, и получит моральное удовлетворение, усевшись в желанное кресло. Цель должна быть достижима, только тогда у человека есть вера в себя. И только тогда общество целостно, когда оно может верить в себя.

Пора кончать разговоры, что каждый человек должен реализоваться! Это то же самое, что уговаривать беречь здоровье и ездить на такси, а денег не хватает и на троллейбус. Не надо призывов, не нужно обращения к лучшим человеческим качествам, не надо растить героев, надо создать систему, при которой максимум людей направит свои стремления и веру по нужному обществу руслу.

Если система законченна, выверена, то ребенок найдет в ней сказку про добрую фею, которая подарит ему счастливую жизнь, подросток - героике и романтику сражений со злыми и подлыми врагами. Взрослый - дело, которое целиком займет, даст возможность роста, продвижения, старик оценит мудрость системы, давшей ему жизнь, полную великого служения, и передаст эту мудрость внукам. Люди всегда отдают что-то - и надо направлять их дары по нужному адресу.

Раньше в такую систему могли включиться только управляющие классы, а теперь, когда информация и единство

законов сплотили нас, каждый может включиться в такую систему и каждый должен быть включен. Только вместе, только за завтрашней целью! Завтра человек получит что-то осязаемое, а потом, если не ленится, то обязательно доберется до желанного, до положенного ему куска. Тогда даже при катаклизме, когда кажется, что все переворачивается, на самом деле все просто меняются местами. Шестой класс становится первым, первый шестым, но и новый первый и новый шестой знают, чего они хотят и для чего они живут. Система эластична, и в ней есть место для неожиданностей. Она принимает их и расставляет по своим местам. И опять есть вера и есть цель.

* * *

Умер Галин покровитель, и она плакала. Она стояла далеко от могилы, все смотрели не нее исподлобья, а дочка покровителя все порывалась подойти к ней и сказать гадость. Массы разошлись, отгремели - покровителя хоронили по высшему разряду, но и тогда ей не дали подойти к могиле, родственники сгрудились, защищая усопшего от ее посягательств.

- Черт бы их побрал! - рыдала Галя, - где они были, когда он надрывался, ишачил на них. Только бы что-нибудь урвать, вытянуть! У них же никто, кроме него, не работал: жена, видите ли, больна - геморрой от дивана, а у дочери - большая жизнь впереди, ей готовиться надо. А сестры его, бездельницы, а женина родня! Он им знал цену. Шакалы! Все растащили! Он в больнице лежал, а они уже считали, что каждому достанется. Что, не веришь? По всему главку говорили. Только никому ничего не достанется - все гримза приберет, торговка геморройная!

Она посмотрела на меня сухими глазами, потом вздохнула: „Помянуть бы его“. Но мы не стали. Мне не хотелось его помянуть, а она не настаивала: и так была хороша, возвращалась в машине шофера, а он повез ее в ресторан.

- Да только без толку, не на ту напал, - зачастила она без передышки, - он решил, что я... а ведь все не так. У меня же с покойником ничего не было и быть не могло! Он же по-родственному помогал. То есть он не родственник мне, но почти. Матери моей знакомый, друг близкий. И даже не ее, а первого мужа. Но не объяснишь всем, кто, да откуда. Чего ты смотришь - тоже не веришь? Ну и не надо. Он у нас в институте преподавал, вот и узнал меня.

- Он что, тебя раньше видел? - спросил я.

- Кто видел? - удивилась Галя, - ах, он. Нет, ему мать письмо написала. Он все вспомнил и принял в нас участие. А семейка его, хабалки, я все про них знаю. Им обидно, будто он на меня деньги тратил, да кредит свой у начальства на меня растрчивал. Не на дочку свою, бездарь косорылую, а на меня. Я же с ней вместе училась. Без него она в институт и не попала бы. Только сама она - нуль, что отец сделал, то и имеет, экономистом в главке сидит. А я лучшая на курсе была, меня и выдвинули - директором сразу стала. Квартиру дали. Ну, он просил, конечно, кого надо.

Она замолчала, потом легла лицом к стене и прижала подушку к груди и так, не оборачиваясь, стала цедить сквозь зубы:

- Как же я теперь? Что же я теперь? В главке ни к кому не подойти, из торга хмырь этот вяжется, решил, что ему обломится. Говорила же я ему, обеспечить, сделай что-нибудь. Все боялся, вот и добоялся. Одна, одна... Да еще мамаша сумасшедшая, хоть домой не ходи...

Она еще что-то говорила несвязное, потом затихла, заснула. Чудны дела твои, господи! Я не хочу писать о себе, но, боже мой, как теперь жить? Как же я жил, не замечая, не видя, как она мучается? Что будет, что будет?! Нет ответа.

* * *

Что-то надорвалось в плавном течении магазинной жизни. Призрачным оказалось овощное благополучие. Исчезли мы-

тые овощи, стали разбегаться молоденькие продавщицы: что-то у них урезали в зарплате.

- Чего уж тут, - сказала мне злобно последняя уходящая девочка, - нашел молодую, вот и загнул. Сладенького захотелось. А мне теперь куда деваться? - неожиданно заключила она. За прилавками и в кассах появились какие-то издававшие виды тетки в синих застиранных халатах. Галин кабинет превратился в филиал склада, на шкафу лежали ананасы, в письменном столе - сухая колбаса. Все были чем-то озабочены: переговорить с нужным клиентом, убежать скорей домой, да мало ли у человека дел, когда ему противно?

И только кот процветал. Он сидел на холодильнике, выставив на обозрение толстые шерстяные лапы и поглядывал. Кто бы мог подумать, что из паршивого дохляка вырастет такая наглая тварюга. Мышей он переловил давно, даже крысы покинули его дворец, и теперь он питался только молоком и рыбой, а иногда и мясом.

- Мяу! - говорил он всем, следил, прищурившись за ними, потом так же обстоятельно провожал до двери взглядом и прощался. - Мяу!

Иногда ему надоедало сидеть, и он спрыгивал вниз и шел в зал. Ходил медленно между ногами, вскакивал на прилавки, заходил в кассы. Тетки смотрели на него с обожанием. Иногда под настроение он исчезал, и тогда Галя сходила с ума, магазин лихорадило, кто-то обязательно стоял у дверей на улицу, кто-то у дверей во двор. По окрестным дворам и чердакам отправлялись в рабочее время спасательные экспедиции, но он всегда возвращался сам.

Кот заходил в магазин через парадный вход и, в каком бы он ни был виде - рваное ухо, раскровененный нос, - походка его была всегда спокойна и величава. Высоко подняв голову, он проходил по залу, поглядывая на продавщиц и с каждой здороваясь, соответственно их отношениям: горловым мыром или открытым мявом. Потом он вспрыгивал на холодильник и засыпал.

- Вот это мужчина! - восторгалась кассирша, тетка лет сорока.

Лечила его после походов Галей, только ей он давался в руки и переносил лечение стоически. Если бы не блаженное безумие, появлявшееся в Галиных глазах при виде кота, я относился бы к нему с большим уважением. Но я же помню, как кот шествует по торговому залу с горящими глазами и утробным мурканьем, хлеща себя по бокам хвостом, а за ним с блюдцем сливок бежит Галей. Она не успела уговорить его перед очередным походом поесть и вот бежит за ним, не замечая покупателей. Наконец ей удается забежать перед ним и поставить на пол блюдечко. Кот оглядывается и, увидев вокруг удивленные лица, не соглашается пить сливки в центре зала. Галей тащит блюдце в угол, и кот наконец пьет и уходит.

После смерти проклятого покровителя в Гале что-то сломалось. Она будто решила, что все катится в пропасть и ничего невозможно спасти. Я был рад, что она почти совсем переехала ко мне, но что-то неуловимо изменилось. Проклятые деликатесы стояли на моем столе, и я ел их молча, не протестуя. Уголки Галиных губ опустились, походка стала тяжелее и только ночью она становилась собой. А утром она опять шла к своему коту. Бог с ним, я дал себе зарок не переступать порог магазина и держу его.

* * *

Вчера к Трофимовне пришел старик сосед. Просил вымыть у него в квартире пол. Трофимовна переадресовала его к Ольге. Старик зашел в комнату Алексея и вышел потрясенный. Видно, не так он представлял себе современную уборщицу - Ольга в своем обычном виде сидела в кресле в позе лотоса. Договорившись, старик из нанимателя превратился в гостя и сел пить чай за кухонный стол со мной и Трофимовной. Постепенно он разговорился.

- Моя жена - медицинский работник - медсестра, и это ценно. Через своих коллег она гораздо проще добывается для меня исследований, чем если бы шла по верхам. Когда я попадал в больницу, ох, с каким трудом я выцарапывал результаты исследований. Сам виноват, действовал через врачей и получил от ворот поворот - так мне и надо, наверху знают, что кому положено иметь. Пара-тройка шоколадок, и что-то несет в клюве медсестра, что-то уборщица. Да за пару колготок медсестра Зиночка вынесла бы всю канцелярию вместе с печатью.

И вот возвращаюсь, а жены нет! Подарочек! Сволочь баба! Нашла время исчезать.

Сколько не пытаюсь объяснить дочери, что можно спастись от смерти, она мне не верит. Люди не склонны верить в спасение, пока им не становится так плохо, что спасения нет. И тогда они начинают суетиться, кричать, ах, у меня смертельная болезнь, ах, спасите меня! А где ты был раньше, голубчик? Знал же, что к этому придешь, почему не готовился? А я готовлюсь. Хотел к дочери обратиться насчет какой-нибудь кибернетики. Говорят, электронные машины чудеса делают? Обработала бы мои анализы...

Тут дочь моя порадовала, смотрю, она платье себе мешком шьет, да и есть для чего. Ни одного мужика я около нее не видел, и звонили все по работе да по работе, а гляди ж ты! И все молчком, молчком. Конечно, пора и ей ребенком обзавестись, да сейчас и принято без мужей рожать. Так сказать, под деда. Ей муж не нужен, ребенку отец не нужен.

Получился у дочери мальчик, захотела назвать его в честь матери и начала имя ее - Серафима - превращать и перегонять и получилось три варианта - Сергей, Ефим и Федор. Долго она мучилась, даже ко мне сунулась обсуждать, а потом, видно, указание получила, и появился у нас Федор. Хотя меньше всего Серафима похожа на Федора.

Думал, не выдержит моя жена, придет на внука посмотреть, не пришла. Может, ей дочь Федора на улице показывает или еще где? Задумался я, не знак ли это, появление младенца?

Давно уж мне известно, земля лишних не держит, если ребенок появляется, это неспроста, он на чье-то место приходит. Когда я родился - прадед мой умер, дочь моя появилась - мамы моей не стало. Думаю, не ко мне ли косая подбирается, надо здоровье проверить. Побежал я, вот уж действительно нервы, к участковой врачихе, но она как была балаболкой, так и осталась. Ничего-то она не видит, ничего-то не замечает. К ней с трупными пятнами приди, так она спросит: где это вы так очаровательно загорели?

Время проходит, все нормально, перестал я на Федю с подозрением смотреть и понравился он мне. Поговорил с дочерью, помекала она, побекала и согласилась. Усыновил я Федю, на себя то есть записал, и стал он Федор Михайлович, прямо Достоевский.

Читаю как-то на столе записку - дочь написала, она теперь со мной записками общается, как Дубровский с Машей. „Сегодня три года. Хоть цветы отнеси.“ Не выйдет это у нее - ушла от меня жена, и точка! Где-то по-другому, а у меня в семье все живы, и так всегда будет. Это только начни, только разреши, и пошло, поехало, не остановишь. Так и до меня дело дойдет. А я не хочу, не желаю!

Прочел я, что появится когда-нибудь у науки возможность - по маленькому кусочку смогут целое восстанавливать. Человека! Сначала хотел собрать я анализы, но какие, к черту, анализы, когда даже японским телевизором прямую кишку обследовать не могу, не то что изотопный анализ или там биопсия. Один выход - пока я еще в силах, отрезать от себя кусочек и спрятать в банку. Закрывать ее герметически и запечатать. Пусть восстанавливают меня по пальцу. Уж обо всем договорился, и чтоб банку простерилизовали и запечатали на заводе.

Горько мне на Федечку смотреть - исчезнет, уничтожится безвозвратно. И решил я его спасти, все подготовил, чтобы кровь остановить, банку еще одну достал... Да явилась его мать проклятая, выгнала меня, не дала Федечку спасти. Собралась и уехала от меня, забрала солнышко мое. Но ничего,

я ноготочки его собрал, волосики, сложил с пальцем своим в банку, запечатали мне ее, да и похоронил я все это до лучших времен .

* * *

Развлекает меня Алексей. Опившись на ночь кофе, он зовет меня смотреть представление „Орлеанской девы“. На столе большой лист картона с клееными лестницами, тронным залом, полем битвы, и картонные фигурки разыгрывают идеальное, по его словам, действие. Он говорит реплики и, как в шахматах, переставляет королей и святых на картонной сцене. Все это интересно, но какой тоской и пустотой веет от этих крашенных куколок. По его совету, я опускаюсь к самой сцене, чтобы герои были на уровне глаз, чуть прищуриваюсь. И правда, улыбается король, плачет его любовница Агнесса, злобствуют англичане и под тяжестью невыносимого груза, что возложил на нее Господь, умирает святая Иоанна. На какое-то мгновение магия театра, даже в таком обрезанном виде, настигает меня, но тем тяжелее отрезвление и злость на хозяина кукольного театра. Алексей веселится, а я с трудом удерживаюсь, чтобы не смахнуть картонки!

Но вот Ольга поднимается из кресла, снимает с окна плюшевую скатерть, которую Алексей уволок со стола президиума в красном уголке, заворачивается в нее и встает как бы в условленное место, опираясь на спинку кресла. Я оседлал стул, что еще за представление? Алексей подает реплики, Ольга говорит слова Орлеанской девы. Я сыт по горло этой патологией. Как маразматический старичок, Алексей развлекается, вымучивая из полубезумной бабы ему одному видное вдохновение. Я прикрыл глаза руками и скорчился на дрожащем стуле.

Иоанна. Отдай мне шлем.

Бертранд. На что? Такой наряд.

Иоанна. Отдай, он мой и мне принадлежит!

Я открыл глаза, удивленный точностью ее интонации и за-

смотрелся на Ольгу, забыв свое неверие и раздражение. То строго, то льстиво, то гневно говорил Леша, и изгибала вместе с ним свое умное тело Ольга. Шел какой-то замедленный, тянущий душу танец. Вот Иоанна уговаривает короля, вот влюбляется в англичанина, идет в бой, прощается с домом, горюет...

Иоанна. Пречистая предстала мне; в руках
Ее был меч и знамя, и одета
Она была, как я, пастушкой и сказала:
„Узнай меня, восстань; иди от стада;
Господь тебя к иному призывает.

И еще.

- Удел жены - тяжелое терпенье;
Возьми свой крест, покорствуй небесам;
В страдании земное очищенье;
Смиранный здесь - возвышен будет там.
И медленно на светлых облаках
К обители блаженства полетела...

Алексей подскочил, с довольным видом потирая руки, закружился по комнате. Он поглядывал на мое изумленное лицо, похикикивал так откровенно радостно, что мне стало неприятно. Я посмотрел на Ольгу, она, скорчившись и уже сбросив скатерть, забила в кресло и сидела, застывшая, с чуть запрокинутым лицом. Как будто святая Иоанна на миг оживила ее и ушла, оставив пустое тело и пустую голову. Алексей тоже притих, зажег свет, и я увидел мокрые щеки нашей бесчувственной красавицы.

* * *

Что-то сгущалось в воздухе, я чувствовал это, тревожился. Однажды, когда я вернулся с утреннего подметания, то не обнаружил Трофимовны на кухне. Уже убегая, я постучал в ее дверь, она не ответила. Тогда я вышиб дверь, сорвав крючок, - Трофимовна лежала неподвижно, глядя в потолок.

- Сереженька, - сказала она ровным, сильным голосом, - гони их. Ни жить они мне не давали, ни умереть не дают.

- Кто? - спросил я, остолбенев.

- Голоса, - с усилием шевеля губами, произнесла она.

Я живехонько замахал руками, стал шикать, гнать кого-то, посвистал даже в два пальца, и, когда полез под кровать, она удовлетворилась, остановила меня, лицо ее просветлело.

- До свидания тебе, - умиротворенно сказала она, - спасибо за все. И Алешеньке спасибо, поклон ему и Оленьке. - Потом помолчала и добавила: - Оленьку не мучайте, она блаженная.

Днем, когда никого не было, она умерла...

Вещи ее ждали наследников, из жэка хотели прийти опечатать комнату, но как-то не собрались, и мы вошли к ней, открыли окна, вымыли пол, убрали пыль. На полках, столе, в буфете я увидел какие-то свертки, стал разворачивать и чуть не заплакал: сто граммов масла, сыра, вареная колбаса, плавленые сырки, коробка с сухарями; она уже не могла остановиться и покупала, покупала. Что заставляло ее?

Я собрал весь этот сгнивший мусор и выбросил на помойку. Пришел Алексей и закрыл зеркало черной тряпкой, откопал где-то в вещах ее фотографию, поставил на стол, потом достал рюмку и налил в нее водки.

Утром два дюжих молодца вынесли ее в лохани и увезли, а мы никуда не пошли - ни учиться, ни работать, купили вина, водки и сели за стол вспоминать и пить. Закуски было мало, питья много, еще должна была подойти Галя и какой-то знакомый Трофимовны. Мы вспоминали втроем, правда, Ольга, как всегда, молчала. Пили все вместе, и после четвертой, не найдя, чем закусить, я заговорил о китайцах, объясняя Алексею, откуда взял свою систему:

- Смотри, как у китайцев в литературе: гангстер, бандит, но и он не выпадает из общей системы, он только хочет перескочить через несколько ступенек и приблизиться к вершине лестницы.

Никто из них не говорит, что хочет чего-то для себя, только для народа! Три императора грызут друг друга, но для чего?

Чтобы объединить Поднебесную и восстановить единую мерку. Какой негодяй ни придет к власти, дело не в его личных качествах, а в том, что он сделал благое дело - объединил Поднебесную.

Алексей обычно пьянел медленно, но отсутствие еды сказалось, видно, и на нем. Он отвлекся от своей обычной меланхолии и черных мыслей и ответил мне:

- Читал я твое „Троецарствие“. Есть в нем удивительный тип - Чжугэ Лян...

Я был рад, что он заметил Чжугэ Ляна. Когда в начале нашей эры Китай разделился на три царства, император самого слабого окраинного царства нашел себе помощника - гениального Чжугэ Ляна. Тот заставил подчиниться пограничных варваров, семь раз беря в плен и отпуская их вожда. Вождь был доведен до изнеможения и покорился Чжугэ Ляну. Враги боялись гениального министра, но он не смог объединить Поднебесную и умер в тоске, став духом - хранителем Южных гор.

- Так вот, - сказал Алексей, - пока он побеждал варваров, что шло на пользу всей Поднебесной, ему везло, но когда он занялся самими китайцами, он ничего не добился и не мог понять, почему. А потому зверел, чувствуя, что годы уходят, а дело не делается. Стал он с людьми подписки брать, что они подвиг совершат, стал головы своим рубить, не понимая наиглавнейшего - веления времени. Это китайцы здорово сформулировали - веление времени! А веление времени было - не окраинное царство объединит всех, а центральное. То есть они со своей системой дошли до такого ма-разма, что любое историческое событие подгоняли под нее.

С другой стороны, Чжугэ Лян хоть и не объединил Поднебесную, а все равно стал святым и играет с богами в шашки. Противник же его Сыма И, хоть и сделал все согласно велению времени и объединил все, что надо, и даже династию свою смастерил, а все равно, как был сволочь и подонок, так им и запомнился.

Ольга, как всегда, молчала и пила понемногу, но щеки ее

порозовели, и я подумал, что привыкнуть к обществу голой женщины все-таки невозможно. Мне не хотелось изменять Гале и портить отношения с Алексеем, хотя это его не волновало, и я решил встать и уйти от греха подальше. Но Лешка, шатаясь, встал первым и увел Ольгу.

Я отправился к Гале, дождался ее у магазина, и мы пошли допивать.

Галя почти не встречалась с Трофимовной, но это не имело значения: помянуть ее она могла хотя бы ради меня. Она и не сопротивлялась.

Мы подошли к дому, и я онемел. Два милиционера держали Ольгу, но она и не вырывалась, только вытягивалась на носках, оглядывалась, будто искала кого-то. Вокруг стояла толпа. Я не слышал слов, но шум, резкий и похабный, доносился до меня. Неожиданно она вырвалась из их рук и вскочила на парапет подземного перехода, продолжая высматривать кого-то. Смущенные мальчики в форме стаскивали ее, но она не поддавалась. Я рванул к ней, но Галя удержала меня.

Подъехала милицейская машина, и Ольга вдруг напряглась, протянула к толпе руку, и я узнал интонацию:

- Итак, опять с народом я моим;

И не кланут меня; и я любима...

Ее схватили, чтобы засунуть в машину, и, когда черная тень от закрывающейся двери легла на ее нежное тело, она вдруг увидела меня и отчаянно взмахнула руками:

- Сереженька!

Я рванул к ней, но дверь закрылась, и машина уехала. Я постоял среди толпы в горестном недоумении, но что-то дернулось во мне, и я побежал домой, предчувствуя недоброе.

Квартира горела. Коридор потерял очертания. Дым, смрад. Задыхаясь, я добежал до комнаты Алексея, рванул дверь, с разбега проскочил по горевшей на полу плюшевой скатерти. Сквозь дым ничего не было видно, глаза слезились. Потом я стукнулся обо что-то ногой, наклонился и увидел лежащего на кушетке Алексея. Разбив окно, я вытащил его на двор, но поздно - он задохнулся.

Теперь даже по ночам я не узнавал Галю! Все ушло, и только проклятый кот торжествовал. Еще пышней стала его шерсть, утробнее, требовательнее голос, и не его кормили, а он позволял себя кормить и чесать.

Все разлаживалось, не проходило дня, чтобы мы с Галиной не повздорили. Рацион кота, поворот его головы, стали единственным предметом, занимавшим ее. Пора было нам разойтись, но я не мог с этим смириться, не мог оторваться от нее. Кот - вот кто стоял на нашем пути. Чья-то злая душа, видно, вселилась в него и преследовала меня. С его появлением все пошло под уклон. Он дал мне минуту счастья, поманил, соединил с Галей и погубил.

Всю ночь я проворачивал эту мысль, и все естественнее и вернее казалась она. Днем я смеялся над ночными выдумками, но приходила ночь, и я все больше верил в этот страшный, все объясняющий поворот.

И вот пришел день, когда не осталось сомнений. Сначала я решил хоть немного завоевать благосклонность добрых духов. Достал из газовой плиты противень, нарисовал жертвенные деньги, взял немного от своей пищи, клочок кошачьей шерсти, локон Галиных волос, что-то еще - все, что могло напомнить духам обо мне. Жертва не хотела зажигаться, тогда я взял картонного человечка из стоявшего теперь на моем столе Лешкиного театра, поджег его, сунул в жертвенный костер, и зацадил, затрещал огонь, дым стал уноситься через форточку к небесам. Потом засунул бумагу с иероглифами, изгоняющими злых духов, в вареную рыбу, и дал коту. Он аккуратно съел рыбу, но от иероглифов отказался. Я разорвал бумажку и попытался заставить его силой, но есть он не стал, а только царапался и чихал, и мне пришлось идти до конца.

Кот сбежал на шкаф и сидел там, искоса поглядывая на меня. Из часов, висевших рядом со шкафом, выглянула кукушка, доброжелательно посмотрела на нас и сказала: „Ку-ку“. Кот, увидев ее, напряжился, подпрыгнул и лапой своротил на бок. Этого я не мог перенести. Я так любил эту будто из детства прилетевшую кукушку.

Я взял кота на руки и понес к Патриаршим, выпустил его на траву, и он стал метаться в лунном свете, гоняясь за собственным хвостом. Я попытался уничтожить в своей душе гнев и ненависть и с чистым сердцем посмотреть на мир и на себя. Ведь я спасал не только Галю и себя, но и всех живых, и всех ушедших, и даже этого паршивого кота от муки злобы. Но злость заползла в меня и не уходила.

Я подождал, когда кот повернулся ко мне хвостом, схватил, засунул в рюкзак, завязал и подошел, не слушая его возмущенные вопли, к берегу. У меня не было сил размахнуться, и я только заставил пальцы разжаться. Рюкзак покатился по склону, плюхнулся в воду и исчез в глубине.

Я не представлял, что так тяжела будет свобода, что миг воли так будет давить на меня. Как будто что-то внутри меня рванулось к горлу, и я перестал дышать от ужаса и тоски. И еще не успела вода загладить круги над котом, как я бросился за ним вниз по склону. Вода была теплой, но, как кипяток, обожгла меня.

Мешок лежал неглубоко. Путаясь, дрожащими руками я вытащил его, разорвал веревку и нащупал кота. Он не шевелился. Я надавил на брюшко, стал растирать и полилась вода. Кот зашевелился, бессильно зафыркал, застонал. Он лежал у меня на коленях, маленький, жалкий, со слипшейся шерстью, и я стал гладить его и приговаривать:

- Прости, прости... Мой миленький черненький котик... Миленький черненький котик!



Женя КИПЕРМАН

БРУКЛИНСКАЯ ОСЕНЬ

РИВЕРСАЙД ПАРК

Большие бега: собака бежит за белкой,
белка быстро бежит по березе вверх,
ветер быстрее белки бежит по веткам,
листья, срываясь с веток, бегут от ветра,

люди, как лани, от лени бегут по листьям,
солнечный луч бежит по волнам и лодкам.
Слезы бегут по самым прекрасным лицам:
от осени. Счастья. Тоски. От ресниц к подбородкам.

5 октября 1990

ПЕРЕВОДЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ „АГРОПРОМА” В ВЕРМОНТЕ

Беседа разгоралась, гасла,
как „Marlboro” в зубах водителя.

БРУКЛИНСКАЯ ОСЕНЬ

133

Пронаблюдав подачу масла.
пересчитав отдачу дизеля.

вновь отшлифованные трассы
на мускулистые колеса
наматывали. Славься. Раса,
не породившая колхоза!

июль, ноябрь 1990

It is time to explain myself - let us stand up.
Walt Whitman „Song of Myself”

Вокруг луны - нежная синяя опухоль.
Вкруг головы - красная сука-бессонница.
Ощущение - будто огрели обухом
по лбу те, с кем совсем не стоило ссориться.

То ли роман феминистки взять, то ли снотворное,
то ли себя самого рифмовать-рассказывать,
то есть творить эту опухоль нерукотворную,
покуда рассвет не станет ее рассасывать.

31 октября 1990

Ты страстно желаешь узнать русский язык.
Ужасно сложно: нужно губы, зубы, язык
комбинировать заново. Ты пишешь: „Собачка лизает...”,
сосешь карандаш, усомнившись, и залезаешь
в словарь, внутри какого со знанием пишут,
что действие это собачье зовется: „Лижет”.
Ты трешь и вставляешь „ж” вместо „з” и „а”.
Ты пишешь букву „ш” без последнего завитка:
получается как бы маленькая пятая точка.
Дальше - больше. Поэтому - ставлю точку.

8 ноября 1990

Когда в комнате, с виду пустой,
под фальшивую скрипку-дверь,
музу пустив на постой,
он кончает с нею шедевр

и орет: „Сукин сын!“ - и поет,
как ребенок пускаясь вскачь,
муза - зло, одеваясь: "What?" -
и в окно улетает - to lunch.

8 ноября 1990

Вы там все так меняетесь!
(из письма)

В холодильник ставить мед отучил себя.
Научился любить себя.
Научился писать про себя
так, что можно читать про себя.

Псам говорю "sit down",
вместо - „сидеть!"
Жизненное кредо - „всегда!"
сменил на „успеть".

Сменил материк. Матерясь,
узрел, что писал туфту.
Но с кириллицей связь
пока не утратил (тьфу-тьфу).

По-прежнему, суеверен
и часто впадаю в нервность.
Короче, себе я верен,
коль верно толкую верность.

Испробовав местный злак,
почувствовал: все относительно.

Разлюбил восклицательный знак.
Полюбил вопросительный.

Испробовал местный язык,
произнес на нем
извечные те азы,
которые на своем

не говорил, не пел,
хоть было немало лиц:
к счастью, давно узрел
разницу слов и птиц.

Энергию слов и дел -
в легенду-судьбу.
Энергию душ и тел -
в строку и ходьбу.

Только идти и петь.
Знаю, про что и куда.
Чтоб когда-то „успеть"
вновь сменить на „всегда".

13 ноября 1990, Нью-Йорк



Аркадий КАЙДАНОВ

ОБЖИТОЙ ДУРДОМ

О чем есть дозволение размышлять
проснувшись в шесть в чужой постели?
О том ли, что с надеждой - пролетели,
или о том, на кой мне эта... Глядь,
уже не шесть, а без чего-то нечто
существенное. Впрочем, как кому.
Оттяг с времен гороховых извечно
дает отключку телу и уму.
Пошарить выключатель. Не найти.
Но вычислить расположение ванной.
Гори, гори, моя звезда! Свети
над всею этой лажей разливанной!
Горячей нет. Вонючий „Поморин”.
Могучий пафос „Пионерской зорьки”.
Велели: говорите! Говорим.
Тоска, тоска... И только привкус горький.
Любимая, меня вы не любили!

Башляешь стольник - вот и вся любовь:
вчерашний договор наутро в силе.
Подайте рифму, кроме „кровь” и „вновь”!
Подайте демократии обноски
на нашу бедность с вражьего плеча!
Кузнецк-привет, товарищ Маяковский! -
пошла вода, грязна, но горяча!
Ошпариться, вспомнив о горячем:
Ош, Фергана, Узень, Степанакерт...
Мы наш, мы новый мир переиначим
согласно пункту пятому анкет!
Согласно договору чашку кофе
Законно претендую поиметь.
Нет кофе? Что ж ты, милая, за профи?
Придется статус твой пересмотреть.
Пересмотреть, потом пересажать,
перестрелять...
И быть всегда при деле!
...Проснувшись в шесть в чужой постели
нисходит горних мыслей благодать.

1989

На новостях, отягощенных кровью,
как ворожее - на кофейной гуще,
легко гадать любому мудозвону -
и прогрессисту, и консервативно
настроенному мастеру надоев,
и „памятнику”, и жидомасону.

День завтрашний лишен покрова тайны -
бери на выбор из ассортимента
несчастий, человечеству известных -
все сбудется, произойдет, случится.
Храни в прихожей гроб, суму и посох,
а под кроватью спрячь гранатомет.

Страна-кентавр, страна - партийный айсберг,
 страна-телега с ядерной поклажей,
 страна-насилием распятая баба
 с бесстыдно заголившимся подолом,
 страна-Иван, родство свое поправший,
 танцующий ламбаду на костях.

Нет недостатка в апокалипсичных
 видениях, когда после поддачи
 или отдачи голоса законной
 на выборах в районные Советы,
 сидишь, опустошенно глядя в стену,
 как в полный спецэффектами экран.

Чего-чего, а спецэффектов вдоволь,
 все „спец“ до государственной границы:
 спецназ, спецсредства, спецраспределитель
 спецлозунгов спецконтингенту в помощь,
 спецобработка специальной прессой
 промытых спецрастворами мозгов.

Покуда широка страна родная,
 хоть есть весьма весомые резоны
 сравнить ее с шагреновою кожей,
 послав с ОМОНОм поцелуй прощальный
 Литве, грузинам (далее - дополнить),
 но все-таки - пока есть широка,

Пока она хранит свое название,
 свистя, как кобра, аббревиатурой,
 где три богатыря - три „С“ распухших
 подперты роком, раком, рыком, ромбом
 идущих танков, революционным
 бескомпромиссным пролетариатом -

Нам не скучать при информационных
 программах теле-радиокомпаний,

при новостях, отягощенных кровью,
 нам не избыть провидческого дара
 предвосхищать грядущие несчастья,
 каким-то чудом не сходя с ума.

* * *

Что в воздухе? Припадочный июль -
 распределитель тепловых ударов,
 да мухи, да премьер-министр Павлов,
 да пенье птиц, Малежика и пуль,
 да комары, да запах анаши,
 рассольника, общественных сортиров,
 где резко прогрессирует активность
 остаточного принципа лапши.

Свалить в туман - тумана не найти
 и днем с огнем на юге в эту пору.
 Пойти в распыл, по бабам или в гору,
 иль в „патриоты“, Господи, прости?
 Пойти, куда свободный ум влечет?
 Но ум свободный топчется на месте,
 причем - чужом, причем - с женою вместе,
 излишне принимаемой в расчет.

Что в воздухе? Движение стрекоз
 и мирный стрекот бронетранспортеров,
 с которыми сроднился, без которых
 мне, словно Крыму - без плантаций роз.
 Что в воздухе? Очередной кумир
 с очередной спасительной программой
 и лозунг, среди прочих главный самый,
 что миру неизменно - только мир.

* * *

Во время безоглядного вранья
 жила обманом легкая погода,

голубоглазым лужам февраля
 чужих забот определив по горло -
 ловить в аплодисменты ток толпы,
 быть контрапунктом первой редкой пыли,
 и омывать, как грешница стопы
 Христа, колеса всех автомобилей.

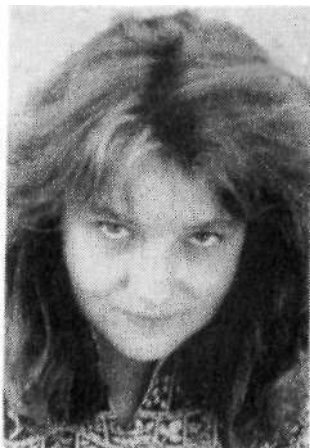
Во время безоглядного вранья
 на перекрестках сплошь часы спешили,
 и, забежав ненадолго, друзья
 глаза при разговорах отводили.
 Скворцом придуривался попугай
 в пустой витрине зоомагазина,
 а содержимое пакетов „Чай“
 турецкой радиацией грозило.

В котел всеобщий свой весомый пай
 вносили службы радио и теле,
 и заступив безумия за край,
 здоровым дух прикидывался в теле,
 в котором свили прочное гнездо
 диагнозом не названные хвори
 под ложною рубиновой звездой,
 при неопровержимом приговоре.

* * *

Окрест происходил какой-то вздор.
 Пример: приемным пунктом стеклотары
 от соглядатаев сокрытый двор
 из-под полы преподносил товары
 по ценам, заставляющим зрачки,
 расширившись, ползти на лоб поспешно,
 как выползает смысл из строки
 под цензора карандашом небрежным.
 Чуть-чуть поодаль речь произносил
 пенсионер в плаще из габардина

о том, что Сталин - человеком был,
 и что, когда бы не производила
 мужей могучих отчая земля,
 заглохла б нива жизни непременно,
 а нынешних, тех, кто за перемены,
 обозначал он кратким словом - тля.
 Газетами заваленный киоск,
 как Измаил, подвержен был осаде
 всего-то новостей вчерашних ради...
 Умри вторично, Иероним Босх!
 А мне привычен обжитой дурдом,
 и вид его, голодный и спесивый,
 когда бы только не иссякли силы,
 чтоб жить и умереть достойно в нем.



Кира ЧЕКМАРЕВА

ЗА ЛИШНИЙ ЧАС В ЦЕЙТНОТЕ

За то, что веришь ты в счастливые концы,
Тебе пытаться несчастья полной мерой.
Но да спасет тебя святая вера
За то, что веришь ты в счастливые концы.

За то, что ты не запираешь дверь,
Тебе воздастся ложью и наветом.
Дай Бог тебе поменьше знать об этом
За то, что ты не запираешь дверь.

За силуэт на диске золотом
Ты продаешь жемчужные ворота.
Счастливый путь! И не твоя забота
Все то, что скажут о тебе потом.

За первые секунды бытия
И за его последние мгновенья,

ЗА ЛИШНИЙ ЧАС В ЦЕЙТНОТЕ

143

За глупости, за позднее прозренье.
За возвращенье на круги своя.

За то, что далеко еще до тьмы,
До неподвижности, до власти снега.
За счастье задышаться, глядя в небо,
За право слепнуть от голубизны,

За воду через выжженный песок,
За мост над бездной, дно в водовороте.
За смелый ход, за лишний час в цейтноте,
За силы на еще один бросок,

За страх полета и за сам полет,
За пепелящий смерч преодоления,
За правильность внезапного решения.
За каждый новый предстоящий год,

За все, что ночь отнимет у тебя,
Не обвинишь судьбу в максимализме...
Но, Боже мой, как мало этой жизни
За все, что ночь отнимет у тебя...

21 -22 октября 1989 г.

До неба далеко - до счастья звонко
Упасть.
За что, о Боже, на ребенка
Напасть?

Верни блаженного - Вселенной.
Слепого - тьме,
Верни покой благословенный
Себе и мне.

Не путай правды и напраслин -
Я несильна.

Существование не праздник

И не вина.

Так изменилась суть блаженства
За суетой.

Ты тщетно ищешь совершенства,
Усталый мой.

Пока хоть что-то остается

В календарях,

Ты дай мне жить, пока поется,

Пока заря...

И из всего, что мне зачтется

У царских врат,

Когда дорога пресечется

Назад,

Как дорого ни обойдется -

Ничто не зря!

Ты дай мне петь, пока поется,

Пока заря.

Зачем тебе мои обеты?

Ты видишь сам -

Свой мир, затихший перед Светом,

Я не предаю.

И не приду в твои часовни

И в тишину.

Твой голос, неизменно ровный,

Я не приму.

Я не нарушу твой порядок.

Но голос мой

Предстанет в мир твоих загадок -

Еще одной...

Лето-осень 1990 г.

Когда-нибудь родятся те,

Кому не будет страшно слово.

Его напишут и споют

Не нам и не о нас.

Когда-нибудь вернутся те,

Кому отпущено немного.

Их Млечный невозвратный путь

Свернет на этот раз.

Тем, кто ушел, недосказав,

Пребудет музыка нетленна.

Свиданье кончено - рассвет

Без трех минут.

Из наших мимолетных прав

Одно лишь неприкосновенно -

О памяти не говорят,

Ее поют...

12 июля 1989 г.

Когда дано не будет слову

Стать оправданием всему,

Ни от кого я не приму

В алмазном ином подкову.

Ни на одном из трех углов

В июльском пыльном переулке

Я не роняла сверток гулкий

В хитросплетение дворов.

Не мне вернут, не мне протянут

Стальную шпагу в глушь болот,

И черный плащ в толпе обманет -

Не мне мелькнет!

Не мне лететь, в крови умытой

Над запрокинутой Москвой.

Ах, Маргарита, Маргарита,

Закат какой!

11 декабря 1988 г.

Лети, душа, ночным пожаром.
Тебе горит уже маяк.
Забудь, что был в преданье старом
Заклятья знак.

О, как же весело и жутко
Идти по звездам, зная твердь,
У пропасти помедлить чутко -
И замереть...

Итак, полет! И это небо -
Насмешкой тонкий звон в стекле,
И тихий вздох того, кто не дал
Полета мне.

8 февраля 1989 г.

Жизнь ради жизни есть игра в слова
Без ставок, если ставка - Время.
Исходит суть из естества -
Душа из тела - через темя.

А был ли снисходителен пророк,
Тебя не призывавший в стадо?
И только ты читаешь между строк
Теперь свою уверенность - так надо.

И чувствуешь, зачем весь этот свет,
Ночной, дневной ли - суть игры не в этом,
Когда возможна тьма - сомнений нет,
Но есть вопрос - и время для ответа.

* * *

Единомыслия поток
Прервется там, где не согласны.
Но для пророка не опасны
Читающие между строк.

Им только слышен мир таким,
Каким его представить сложно.
Любая вера станет ложной,
Пока идешь к своим святым.

Не будь же с ними слишком строг.
Они грешны лишь тем, что зрячи.
Но каждый шаг сполна оплачен
Читающими между строк.



Арон КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ

*Раздумья о современном положении России**

Я бы даже не рискнул назвать эти заметки гипотезами: последние все-таки предполагают определенную меру научности. А это не более чем мысли вслух. О том, что происходило в последнее время в СССР и что можно ждать в обозримом будущем после его распада и образования Содружества Независимых Государств.

Как читатель увидит, в центре моего эссе будут стоять известные августовские события 1991 г., но для их осмысления мне придется, с одной стороны, отступить назад и высказать общие соображения о проблемах, с которыми тогда столкнулся Горбачев, а с другой - коснуться дня завтрашнего и пофантазировать о том, какие в обозримом будущем могут ожидать перемены внутри самой России. При этом я не буду не-

посредственно касаться ее отношений с внешним миром, и в частности, с бывшими советскими республиками. Однако надеюсь, что читатель, поразмыслив вместе со мной о внутреннем строе России, во многом сам определит эти отношения.

Возможно, и Горбачев - человек самых добрых намерений, но пойти на далеко идущий эксперимент стратегического характера - превратить милитаризованную советскую экономику в рыночную - ему было не под силу.

О НЕ ОЧЕНЬ ОТДАЛЕННОМ ПРОШЛОМ

Горбачев принял власть в период, когда стало довольно ясно, что советский режим не может продолжать курс, наметенный Сталиным после войны. Этот курс предполагал, во-первых, что Советский Союз как империя выступает с политикой экспансии один на один против всего цивилизованного мира (а после 1953 г. еще и против Китая) и, во-вторых, что советская военная мощь достигается в условиях централизованного механизма управления обществом.

К концу брежневского правления и сформированного им режима, который был ни то ни се - и не жестким, и не демократическим, - стало очевидным, что бремя военных расходов оказалось стране уже не под силу.

Если взять историю России хотя бы до второй мировой войны, то она, как правило, осуществляла экспансию в условиях, когда цивилизованный мир был расколот на враждующие группы. И вступая в коалиции то с одними, то с другими державами против остальных, могла она достигать своих целей меньшими силами.

Другое положение сложилось после второй мировой войны, когда мир оказался разбитым на два лагеря. Вспомним, как в этих условиях советская дипломатия делала попытки расколоть западный мир. В особенности много стараний предпринималось, чтобы отколоть от Запада Францию во времена Де Голля, используя его авторитарные националистические устремления. Правда, это всякий раз кончалось неудачами. Именно поэтому особый интерес лидеры СССР

*Я весьма благодарен профессору В.Э.Шляпентоху за стимулирующие беседы по проблемам, затрагиваемым в данной статье.

придавали объединению Германии. Возможно, они считали, что сильная и амбициозная Германия постарается в конечном счете объединить Европу против Соединенных Штатов и начнет конкурировать с ними в борьбе за сферы влияния в мире. Известно, что советские руководители, по крайней мере трижды, делали попытки объединить Германию. Первая была предпринята весной 1953 г., сразу после смерти Сталина, и известна как „меморандум Берии“ (выдержки из него пару лет назад были опубликованы в журнале „Огонек“). Эта попытка провалилась вместе с провалом Берии. Второй раз это же пытался сделать Хрущев осенью 1964 г., как раз накануне своей политической кончины, послав в ФРГ в качестве эмиссара своего зятя Аджубея. Лишь третья попытка оказалась удачной: ее осуществил в 1989 г. Горбачев.

И вместе с тем советские лидеры не могли не чувствовать, что если и произойдет раскол цивилизованного мира, то будет это в отдаленной перспективе. Все острее ставился вопрос: „Может ли Советский Союз (даже если он сохранит Восточную Европу) в одиночку противостоять резко возрастающему по своей мощи свободному миру, куда, кроме США, входят такие гиганты, как Япония и Германия, и вдобавок еще Китай, который мертвой хваткой висит над Россией в ожидании своего звездного часа?“

Между тем стране уже стало неважно выдержать бремя растущей военной экономики, т. е. экономики, где все подчинено войне. В такой экономике не только и даже не столько затрачиваются огромные ресурсы непосредственно на содержание армии (включая сюда и научно-исследовательские изыскания), но и мирная продукция (сельскохозяйственные машины, гражданские самолеты и т. п.) является „отходами“ военно-ориентированных предприятий, и, главное, производятся неумные вложения в развитие бастиона военной мощи - в тяжелую промышленность как таковую (к примеру, увеличение производства стали ради увеличения производства стали).

Адекватный военно-ориентированному обществу действующий

щий централизованный политический и экономический-механизм явно не справлялся с продолжением экспансионистского курса.

Централизованная экономика могла развивать тяжелую промышленность преимущественно *экстенсивным* путем, т. е. за счет все большего вовлечения в нее трудовых ресурсов и капитала, принося в жертву сельское хозяйство, легкую промышленность и сферу услуг.

Уже в начале 70-х годов работы ныне покойного академика-экономиста А.И.Анчишкина со всей очевидностью показали, что продолжение экстенсивного пути развития приведет к тому, что к концу 70-х - началу 80-х годов темпы развития экономики начнут резко падать и может даже начаться процесс деградации. Так оно и случилось: развитие советской тяжелой промышленности забуксовало. Тогда-то у некоторых советских лидеров и ученых и возникла иллюзия, что растущие трудности можно преодолеть, изменив механизм управления обществом и его экономикой. Следует лишь заменить централизованную административно-хозяйственную систему гибким политическим и экономическим механизмом, но при обязательном условии, что у Кремля сохранится авторитарная политическая власть над империей.

Горбачевская перестройка и гласность и были направлены на то, чтобы, с одной стороны, смягчить внешнюю политику и уменьшить бремя имперских расходов, в частности вывести из сферы советского влияния восточноевропейские страны, страны Карибского моря и Африки. С другой стороны, усилия нового лидера были направлены на то, чтобы за счет пробуждения активности населения и перестройки экономического механизма существенно модернизировать режим управления страной. Он стремился заменить его более гибким, но по-прежнему авторитарным имперским режимом.

Однако политика эта так и не дала результатов, а, наоборот, все больше вовлекала страну в пучину анархии и экономических тягот. Если и была у Горбачева какая-то возможность вывести страну из кризиса, то он ее явно упустил. Речь,

разумеется, не о добрых намерениях президента и его советников. Можно допустить, что они вполне искренне хотели преобразовать систему, хотя я не уверен, что они готовы были замахнуться на вековую российскую традицию авторитарного имперского режима. Но допустим даже крайность. что они решили изменить традицию. Осознавали ли они пути осуществления этого беспрецедентного в истории эксперимента? Ведь речь шла ни больше ни меньше, как о переводе могучей индустриальной державы с жестко централизованного на гибкий режим. Были ли они подготовлены к этому?

Начнем прежде всего с Горбачева, который оказался лидером без программы, центристом, склонявшимся то к одному, то к другому крылу политиков. Существует, кстати, разница между государственным деятелем и политиком. Политик по преимуществу занимается *тактикой*, т. е. день за днем регулирует политический механизм. Государственного деятеля отличает прежде всего *стратегический* подход к политике и экономике. История XX в. знает не так уж много государственных деятелей, способных смотреть далеко вперед и нести благополучие своему народу. Такими, например, были Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

Вспомним, в каком небывалом экономическом кризисе была Америка в начале тридцатых годов, когда Рузвельт стал президентом страны. Первое, что сделал новый президент, - это создал штаб талантливых экономистов, которые разработали новые принципы экономического развития страны.

Как нашел он таких талантливых экономистов? Известно, что в то время доминировали два подхода к экономике. Специалисты-либералы полагали, что рынок работает сам по себе - ни помогать, ни мешать ему не следует. А фашистская доктрина в Германии и коммунистическая в СССР ориентировались на государственное управление экономикой.

Была вместе с тем еще и кембриджская школа. Ее сторонники считали, что возможно улучшить рыночную капиталистическую систему, допустив в определенных пределах вмешательство государства. В огромной мере заслуга разра-

ботки этой доктрины принадлежит выдающемуся английскому экономисту лорду Кейнсу, который выработал даже ряд практических рекомендаций.

Среди тогдашних ученых-экономистов идеи кембриджской школы порой вызвали поток издевательских шуточек. Идеи государственного вмешательства при сохранении рыночной экономики называли мечтаниями девушки стать лишь немножко беременной.

Проект, разработанный в мозговом центре Рузвельта профессиональными экономистами, владеющими новейшими знаниями, и был основан на идеях кембриджской школы. Он-то и не замедлил принести результаты - страна постепенно стала оправляться от тяжелейшего кризиса.

Так что когда я говорю об успехе Рузвельта, я прежде всего имею в виду не его личный талант, но ту интеллектуальную атмосферу, в рамках которой могли возникнуть и развиваться блестящие идеи, подсказанные этому государственному деятелю.

Возможно, и Горбачев - человек самых добрых намерений, но пойти на далеко идущий эксперимент стратегического характера - превратить милитаризованную советскую экономику в рыночную, видимо, ему просто не по силам. Дело тут не в отсутствии гениальности у правителя, а в отсутствии необходимой интеллектуальной атмосферы. Окружающие Горбачева экономисты (некоторых из них я знаю лично) в большинстве своем люди порядочные и талантливые. Но многие из них просто не на том уровне, который требуется, чтобы решать столь сложную задачу (не случайно про иных из них в шутку говорили, что они плохо отличают рынок от базара). Для того чтобы получить необходимое образование, нужны годы и годы. Тут недостаточен опыт, необходимо знание парадигм современной экономической науки, переоткрывать которые практически невозможно. И опять же это не вина горбачевских советников, что они оказались неподготовленными к современным методам управления. Это трагедия страны, которая методично уничтожала интеллект, осо-

бенно в гуманитарных и социально-экономических дисциплинах. О каком уровне экономической культуры можно говорить, если в экономических вузах марксизм оставался до последнего времени основополагающей дисциплиной. Я высоко ценю марксизм как веру, вижу Маркса в ряду таких фигур, как Христос, Магомет, Будда. Но к современной науке он имеет весьма косвенное отношение. И хотя в стране родилось свежее направление в экономической науке - оптимальное планирование (автор которого академик Леонид Витальевич Канторович получил Ленинскую и Нобелевскую премии), даже оно не смогло стать частью новой экономической теории, столь нужной для перевода страны на рельсы рыночной экономики.

ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ПУТЧУ

Итак, к осени 1990 г. политика Горбачева привела страну к политическому хаосу, связанному прежде всего с развалом империи: республики желали обрести независимость и освободиться от России. Между тем экономическое положение продолжало ухудшаться, падало производство как потребительских благ и услуг, так и средств производства. К этому времени Горбачев уже прошел свой пятилетний период правления и было уже невозможно валить вину за развал в стране на предшественников. В создавшейся ситуации перед ним открылись по крайней мере две альтернативы. Одна - продолжать начатый курс на перестройку и гласность, что означало заключение союзного договора, объявление программы 500 дней перехода к рыночной экономике, усиление контактов с Западом. Другая альтернатива - вернуться к жесткой централизованной системе управления и на ее основе сохранить империю, попытаться поднять экономику и усилить мировое положение СССР как великой державы.

Несколько слов об этих альтернативах. Прежде всего о союзном договоре. В 1990 г., особенно после успешных выборов Ельцина президентом России, стало очевидным, что со-

перничество Горбачева и Ельцина зашло слишком далеко. По существу, столкнулись два разных пути сохранения власти над страной. Горбачев, используя свое положение, хотел удержать власть через *федерацию* при предоставлении республикам больших свобод, т. е. общесоюзные законы должны были доминировать над республиканскими - ни одна республика не могла принять своего закона, противоречащего федеральному.

Что касается Ельцина, то он готов был идти на *конфедерацию*, т. е. на систему, когда законы каждой республики доминируют над общими законами страны. Более того, он даже готов был предоставить некоторым республикам (по крайней мере Прибалтийским) статус независимых государств. Разумеется, при этом положение центрального правительства должно было резко измениться и лидер страны мог бы только „царствовать, но не править“.

Чтобы пояснить сказанное, я привел бы такую аналогию. Представим себе планетарную систему, где есть одно солнце и множество планет. Вместе с тем над этой системой есть еще небесное тело, которое направляет движение данной планетарной системы (к тому же это тело облегчает свое господство тем, что еще отнимает от Солнца часть его мощи).

Но возможно и другое построение планетарной системы, оно обходится без направляющего ее небесного тела. Солнце, которое по своей мощи мажорирует любую планету, оказывает непосредственное влияние на движение каждой из них. Что касается взаимодействий между планетами, то хоть они имеют место, но при отмеченной роли солнца второстепенны в определении общего хода движения планетарной системы.

Думаю, что эта аналогия достаточно прозрачна и не требует пояснения. Напомню только в этой связи, чем заканчивается интервью, которое Ельцин дал на рубеже 90-91 годов известной американской журналистке, Барбаре Уолтерс. Высказываясь о путях развития политической структуры страны, Ельцин жестом руки показал, какие два ре-

шения здесь возможны: одно вертикальное, через центральное правительство - и он поднял руку вверх, а другое горизонтальное, через взаимодействие республик, - и он повернул руку в сторону.

Теперь по поводу программы 500 дней. Была она слишком опасным мероприятием. Можно было за эти самые 500 дней в лучшем случае перевести на рынок торговлю предметами потребления и услугами, но вряд ли внедрить рынок в обращение всей огромной массы материалов, машин и т.п. Перевод советской экономики на рыночный механизм требовал глубочайшего пересмотра направления развития всего советского общества, отказа от его полной милитаризации и превращения СССР в мировую державу с мирной ориентацией.

При этом отказ от экспансионистского курса был необходимым, но недостаточным условием. Мне представляется, что *глубокая перестройка военной экономики страны куда успешнее могла осуществиться с помощью централизованных механизмов, способных координировать эту реконструкцию*. Именно здесь планирование могло оказаться весьма полезным. Разумеется, речь идет о планировании широких сдвигов в направлении различных отраслей, а не об установлении сверху конкретных видов продуктов, которые каждое предприятие должно производить. Когда такая реконструкция осуществлена, уже возможно интенсивно включать рыночный механизм с участием в нем государства, принятый во всех развитых странах. Более того, переход на рынок с применением „шоковой терапии“, когда до этого цены устанавливались государством, да еще на ложных марксоидных принципах, может стать крайне болезненным. Как известно из экономической теории, если формируется эффективный план, то ему соответствуют и цены, которые способствуют развитию отдельных предприятий в направлении, заложенном в плане. Более того, при достаточно реалистических условиях эти цены соответствуют ценам равновесия на рынке; если рынок будет „отрабатывать“ стратегию, намечен-

ную „сверху“, то он скорректирует выбранные планом решения и тем самым соответствующие ему цены.

Целесообразность сказанного станет еще очевиднее, если принять во внимание, что глубокая реконструкция советской военной экономики может сопровождаться очень большой безработицей. (Ниже я еще вернусь к этому социально-экономическому феномену в российских условиях.)

Конечно, сохранение планирования даже на переходный период чревато немалыми политическими последствиями. Прежде всего необходимо будет хотя бы временно сохранить дискредитированный и очень большой бюрократический аппарат.

В свете этого идея „шоковой терапии“ выглядит куда более привлекательной. Но в любом случае обе альтернативы должны были серьезно дискутироваться. И мне лично представляется, что предложенная правительством Рыжкова - Абалкина программа более осторожного перехода к рынку прежде всего интуитивно отражала понимание опасности „шоковой терапии“ для советского военного хозяйства.

По-видимому, Горбачев осознавал угрозу потери или по крайней мере ограничения своей личной власти при заключении союзного договора. Он понимал и опасность экономического шока в условиях быстрого развала страны и потери ею мирового престижа. И, возможно, пришел к выводу, что настало время резко поменять свой курс: вместо создания гибкого механизма функционирования общества вернуться к более жесткому централизованному управлению.

В октябре 1990 г. он рывком качнулся вправо, резко усилил реакционное крыло в руководстве (прежде всего в верхах КГБ и армии) новыми назначениями - Павлова, Пуго, Бессмертных и *отстранив от всех ключевых постов на первом уровне иерархии либералов* - Яковлева, Шеварднадзе, Шаталина, Петракова и др. В начале 1991 г. последовали кровавые события в Литве. Президент выразил сожаление по их поводу, но осудил литовцев как виновников случившегося. Начиная примерно с апреля 1991 г., по-видимому, испугавшись силь-

ных атак со стороны правых (письмо 32 секретарей обкомов РСФСР), Горбачев свой крен вправо сопровождал кокетничанием с либералами: это был все тот же центризм с резким акцентом на жесткий курс.

Затем в июне 1991 г. он удивительно легко прошел через взрыв недовольства правых, сопровождая, впрочем, этот очередной крен недостаточно решительным поворотом в их сторону. Ему удалось сразу же отклонить *острое* требование премьер-министра Павлова предоставить ему чрезвычайные полномочия. (На второй день оно было поддержано на закрытой сессии Верховного Совета СССР председателем КГБ, министром обороны и министром внутренних дел.) Так Горбачев дошел довольно успешно до известных августовских дней.

Вот почему все сказанное позволяет присоединиться к тем, кто считает, что августовский путч в значительной степени был оркестрован Горбачевым. Но, будучи центристом, он в последний момент все же испугался (существует непроверенная информация, что Горбачев потребовал от путчистов, чтобы новый курс был одобрен Верховным Советом СССР, что представляется как свидетельство его нерешительности). Такого рода „испуг“ можно считать, по существу, предательством правых сторонников, т. е. на самом деле не они предали президента, а он их продал.

Когда Горбачев обвиняет теперь своего старого друга Лукьянова в измене, то это выглядит кощунством: предан был Лукьянов. Легко, например, представить разговоры между ними в середине августа. Лукьянов мог сказать примерно следующее: „Послушай, Михаил Сергеевич. Все подготовлено к смене курса. Ты видишь, что либерализм вверг страну в анархию. В мире мы выглядим нищими, а сам ты выступаешь в глазах света жалкой попрошайкой. Решайся!“ Но как центрист Михаил Сергеевич опять не решился.

Такого рода предательство своих сторонников не внове для Горбачева. Точно так же он предал Шаталина буквально накануне принятия его проекта рыночной реформы, которую

Горбачев сам же торопил и всячески поддерживал. Тот же почерк был, по-видимому, и в августовские дни. Но при этом он предал своих правых сторонников еще в большей мере, чем либералов, поскольку обрек их на арест и после суда даже на угрозу физического уничтожения.

Но в чем же была ошибка правых и почему их переворот не состоялся? Многие считают, что путчисты были слабыми людьми, неподготовившими программу действий и т.п. Что же, такая точка зрения допустима. Но в моих глазах предпочтительны объяснения, основанные на аксиоматике, широко используемой в теории игр. Согласно этой аксиоматике принято считать, что противник силен и в принципе не делает элементарных ошибок.

Мне представляется, что причина поражения путчистов связана с довольно частым эффектом *переоценки собственных сил*, стоящих у кормила власти. Вспомним, к примеру, захват власти Хрущевым в 1957 г. Именно то, что так называемая антипартийная группа в Политбюро, обеспечив голосование 7:4 в свою пользу, решила, что Хрущев лишен власти, не побудило ее принять меры к тому, чтобы нейтрализовать казавшийся бездействующим Пленум ЦК КПСС, формально стоявший над Политбюро. Если же мы вернемся к августовским событиям, то увидим, что **весь высший уровень власти** - вице-президент, премьер-министр, Председатель Верховного Совета, Политбюро КПСС, председатель КГБ, министры обороны и внутренних дел - **были единодушно настроены на немедленный поворот вправо**. Вначале они также решили, что дело сделано и что, располагая такой неимоверной силой, они вполне могут избежать пролития крови, избежать лишнего шума от арестов лиц, популярных среди народа. Что касается Ельцина, то путчисты могли рассматривать его либо как клоуна, либо как деятеля, который в любом случае пойдет на компромисс. Как мы знаем, путч действительно обошелся практически без крови (за исключением трех случайно погибших юношей) и почти без арестов.

Между тем на вторых и третьих уровнях власти, и особенно

в таких *силовых структурах*, как армия, КГБ и внутренние войска (и даже в окружающих столицу Кантемировской и Таманской дивизиях), ощущался раскол, т.е. там были представители и либералов, и правых.

В авторитарных режимах лидер назначает своих подчиненных, включая по крайней мере вторые и третьи эшелоны власти. А если он при этом центрист, то может сознательно расставлять силы в нижних эшелонах таким образом, чтобы там были представители разных политических направлений. Поэтому можно допустить, что раскол в нижних эшелонах власти мог быть результатом сознательной кадровой политики Горбачева. Допустим, что этот раскол не был сознательно им организован. Предположим, что он сложился стихийно, хотя бы уже потому, что гласность и плюрализм сильно расшатывали политическую систему и привели к повсеместному появлению людей с различными политическими взглядами. Впрочем, для моих последующих рассуждений не столь уж важен генезис случившегося: важен сам факт раскола в нижних эшелонах власти.

Например, создается впечатление, что Ельцин был не только осведомлен о различных политических взглядах „низших“, но и поддерживал по крайней мере с некоторыми из их представителей тесные связи (прямо или через свое ближайшее окружение).

В этих условиях легко представить, что Ельцин в первые же часы путча сумел сформировать коалицию с либерально настроенной частью силовых структур. По-видимому, уже чуть ли не в первой половине дня (а может быть, к вечеру) 19 августа он поставил власть имущих перед альтернативой гражданской войны. К этому путчисты оказались совершенно неподготовленными. Не случайно они замечались уже 19 августа.

Заметная часть интеллигенции Москвы, и прежде всего студенты, а также кооператоры подключились к Ельцину позже, где-то к вечеру 19 августа. То, что эти группы населения поддержали Ельцина, на мой взгляд, вряд ли определило

ход событий. Просто заметно усугубилось его влияние в рядах либералов. Однако решающую роль сыграло то, что Ельцину удалось использовать свою свободу и подключить к борьбе с заговорщиками известную часть силовых структур. Что же касается масс населения, то и в Москве, и по стране в целом они сохраняли либо нейтралитет, либо даже сочувствовали путчистам. Призыв Ельцина ко всеобщей забастовке фактически не был поддержан.

О ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПУТЧА

По-видимому, на этом витке истории с точки зрения развития страны в либеральном направлении пока все обошлось благополучно. Произошел глубочайший раскол империи. Полностью отделилась Прибалтика. Достаточно независимыми стали все остальные республики. Похоже, что августовские события отвели на время угрозу правого переворота, во всяком случае *сверху*. Следует помнить и то, что переворот был совершен относительно *умеренными националистическими* кругами, а не крайне русскими шовинистами.

Однако я пессимист и предвижу неприятные витки в обозримом будущем страны, именуемой теперь в узком смысле слова Россией. Она вполне может вернуться к более жестким методам удержания бывших частей империи, нежели, скажем, экономическое содружество. Стимулироваться это может необходимостью защищать проживающее в этих районах русское население, а оно составляет около 26 миллионов человек.

Ужесточение режима в России может быть вызвано и внутренними процессами, связанными с формированием деклассированных групп населения. Ими могут быть не нашедшие себе пристанища демобилизованные воины, русские беженцы из окраинных частей бывшей империи. Более того, если принять во внимание, что руководство страны начнет форсировать реформы в сторону рынка, то это, естественно, может вызвать массовую безработицу (даже по оптимисти-

ческим оценкам 8-10 млн.). При нынешних ценах и даже улучшенной системе снабжения - пособие безработным даже в размере средней зарплаты окажется весьма низким. Но допустим, что оно даже будет сносным, особенно благодаря помощи с Запада. Между тем массы безработных в основном будут состоять из „работяг-алкашей“, от которых в первую очередь постараются освободиться директора предприятий. Словом, можно вполне представить, что начнет быстро формироваться армия люмпенов. Они-то и могут явиться великолепной питательной средой для русских шовинистов, организованных в полувоенные отряды и в глазах люмпенов имеющих весьма привлекательную идеологию.

В относительно спокойное время эти группы не представляют реальной угрозы и мало поддерживаются массами. Это показал и опыт большевиков до февральской революции в России, и фашистов Германии до конца 20-х годов, и события в СССР в последние годы, когда за крайне правых мало кто голосовал. Но в период острых кризисов эти силы становятся весьма страшны. И это опять же показал как опыт большевиков в семнадцатом, так и фашистов Германии в начале 30-х годов. Именно шовинистические группы в период острых кризисов способны организовать переворот снизу. И при том, как следует из определения этих групп, на фашистской, националистической основе. Среди населения, вероятно, найдутся широкие слои, которые их поддержат, в равной мере за ними может пойти и часть симпатизирующих национализму руководящих кругов (подобно тому, как это было с Гитлером).

С другой стороны, могут найтись иные силы, которые окажутся способными перехватить инициативу.

Кто же эти другие силы?

История показывает, что успешно могут развиваться те общества, в которых власть устанавливается стратой, компетентной и ответственной за самый дефицитный ресурс на данном историческом этапе. Именно буржуазия, которая во времена промышленной революции владела самым дефи-

цитным ресурсом - капиталом - могла установить политическую систему, обеспечивающую развитие общества в целом. Что касается других слоев, то им в таком обществе также создаются условия для развития, но они допускаются правящей стратой к власти лишь по мере того, как удовлетворяют соответствующим условиям компетентности и ответственности, т. е. через систему цензов. Таким образом, *демократизация общества* (в самом широком смысле слова) есть не *состояние*, а *процесс*, развитие которого связано с соответствующим ростом ответственности и компетентности граждан.

Не случайно охлократические системы возникали в истории тогда, когда побеждала страта безответственных и некомпетентных людей. Именно такими были последствия победоносных восстаний рабов в Риме, успешных крестьянских бунтов в Китае, пролетарской революции в России - всякий раз в этих условиях взамен старых авторитарных режимов устанавливались в лучшем случае не худшая разновидность таких режимов, а подчас еще и хуже.

Похоже, что стратой, которая в современных условиях научно-технического прогресса владеет наиболее дефицитным ресурсом и при этом компетентна и ответственна, является *творческая интеллигенция*. Ее интересы, как мне представляется, в наибольшей мере выражают интересы развития страны. Разумеется, в ее рядах есть совершенно разные типы людей. Но именно в среде творческой интеллигенции, судя по опросам общественного мнения, возможно, есть та *критическая масса*, которая способна вывести страну на путь формирования свободного общества. Что касается так называемой служилой интеллигенции (врачи, учителя, инженеры) и далее такого страта, как рабочие и крестьяне, то в их среде соответственно меньший процент людей, которые достаточно компетентны и ответственны за дела общества.

Конечно, творческая интеллигенция, чтобы одержать победу должна выработать соответствующие программы раз-

вития. Первую блестящую победу эта страта одержала еще в 60-70-е годы, выделив из своей среды инакомыслящих и развив диссидентское движение, пользующееся сильной поддержкой прежде всего со стороны мыслящей интеллигенции. Идеологи диссидентства очень глубоко поняли, что перед тем, как формировать конкретные *программы* переустройства общества, необходимо создать *потенциал* для его развития. Создание этого потенциала было сконцентрировано вокруг борьбы за права человека. Да и в целом диссидентское движение было по преимуществу делом творческой интеллигенции, отграниченное от других слоев общества, для которых требования диссидентов были во многом чужды. Именно они, диссиденты, выдвинули многих из тех, кого мы видим сегодня в рядах страстных борцов за демократизацию.

Беда, однако, в том, что творческая интеллигенция оказалась, на мой взгляд, неподготовленной к *реализации* потенциала на путях демократизации. Она не сумела выработать для этого конкретные *программы* развития общества, в которых следовало бы утвердить решающую роль творческой интеллигенции и создание адекватной политической системы. На деле более успешными выглядят те слои интеллигенции, которые ратуют за традиционные авторитарные пути развития общества.

Вот это-то в период имперского и экономического кризиса может обернуться наступлением жестокого режима, сцементированного крайним шовинизмом.

Но если даже правые силы победят, все равно за творческой интеллигенцией остается будущее. Основываясь на опыте прошлого, она может вновь и вновь выходить на арену русской истории, покуда не закрепит свое господствующее положение.

Сколько раз Франция проходила через авторитарные режимы прежде чем стать демократической страной! Не внушает ли ее путь надежды для России?



Лев НАВОЗОВ

ДЕМОКРАТИЯ, КУЛЬТУРА И ОПТИМУМ СЧАСТЬЯ

Гений в некоторой области часто близок к идиотизму вне ее. Как гений-математик Лейбниц говорил, что кривая может стремиться (то есть двигаться) к минимуму или максимуму. „А к чему стремится Вселенная?“ - спросил себя Лейбниц, решив однажды на досуге поразмыслить вне своей области. И ответил: „К оптимуму!“ Так называемые самонастраивающиеся машины стремятся к оптимуму. Будучи лучшим из всех возможных миров, наш мир тоже стремится к оптимуму как самонастраивающаяся машина. История - движение этой машины к оптимуму. Ее „поступательное движение“, или „движение вперед“, называется прогрессом (по-латыни „прогрессус“ значит „продвижение“). Это продвижение может быть в виде революции или эволюции. Ее временное „движение назад“ называется регрессом или реакцией. А временная остановка - застоєм или стагнацией. Но в общем и целом машина-история неминуемо движется к оптимуму. Отсюда фразы вроде „Ход истории остановить нельзя“ или „Никакие силы не остановят прогресс человечества“.

Вольтер высмеял Лейбница и его Оптимизм в своей сатире „Кандид, или Оптимизм“. Под словом „Оптимизм“ Вольтер, разумеется, имел в виду не слово „оптимизм“ в современном смысле (он и сам редко унывал), а новое вероучение, и я пишу его с заглавной буквы, как пишут вероучения в западных языках: Марксизм, Социализм, Баптизм.

Кстати, о Марксизме. Марксизм - разновидность Оптимизма в том смысле, как, например, Пуританизм был разновидностью Христианства. Чем отличается оптимум Оптимизма Уолл-Стрита от оптимума Оптимизма Маркса? Уолл-Стрит: изобилие в результате свободы, а отсюда - всеобщее счастье. Маркс: свобода в результате изобилия, а отсюда - всеобщее счастье.

Вольтеру Оптимизм казался идиотством, достойным осмеяния. Но это высмеянное Вольтером идиотство и стало верой Запада XX века. Она сменила веру в то, что загробная жизнь - смысл и цель человеческого существования. Согласно Христианству, пребывание на земле - это лишь временный искуc для страждущих, которым на небе уготовано в награду вечное райское блаженство, в то время как плотски наслаждающихся временной земной жизнью грешников ждут вечные муки, напоминающие, если верить Данте, пытки и казни средневековья.

Современная вера Запада Оптимизм - противоположность более ранней веры Запада, Христианства. Но она является столь же всеобщей. Правда, вероотступников в XX веке не сжигают на костре, как это было в Европе, начиная с XIII века (последнее аутодафе имело место в Испании в 1826 году). Но в этом нет никакой надобности. Вероучитель в средневековой Европе учил изустно. Вероотступник отвечал ему изустно же. Вспомним средневековые диспуты. Получалось один на одного или один против одного. Попробуй переспорь в таких условиях вероотступника. Ты ему слово, а он тебе десять. Какая же тут может быть всеобщая вера?

То ли дело в XX веке. Вероучителя Оптимизма и истинно в него верующие и не знающие сомнений проповедуют веру с

помощью машин, которые усиливают их слово в миллионы и миллиарды раз. Да что там слово! К их услугам машины наглядного изображения жизни, а как говорят в странах английского языка: „Увидеть - значит поверить“. Тут - тысячи или миллионы веропослушных чиновников, располагающих техникой конца XX века, на одного или против одного инакомыслящего, у которого только собственный голос, слышный разве что за десять шагов, ручка и бумага (я, например, и печатать на машинке не умею). Да они заглушат его голос своими машинами, как громкоговоритель на 1000 киловатт комариный писк. В таких условиях сжигать вероотступника на костре - это бить из пушки по воробьям или, как говорят опять же в странах английского языка, колесовать муху.

Приведу пример из моего личного опыта инакомыслия в США. Я взял номер главного нью-йоркского журнала литературных рецензий „Нью-Йорк Ревью“, который также печатает стихи и небольшие литературные отрывки, и написал статью, которая называлась „Рецензия на журнал рецензий“. Согласно моей статье, литературный истеблишмент Нью-Йорка не знает, что такое литература, а нынешние „лучшие американские романы“ - это макулатура в еще большей степени, чем были „лучшие советские романы“ к концу жизни Сталина.

Разумеется, моя статья была вероотступничеством - глумлением над Оптимизмом. Вы только подумайте. Даже под гнетом царского самодержавия (рассуждал член американского литературного истеблишмента) в нищей, реакционной, отсталой и почти сплошь неграмотной России выходили в свет неплохие, для того времени, романы и рассказы. А лучшие романы в прогрессивнейшей, свободнейшей, богатейшей, культурнейшей Америке конца XX века, когда уж недалеко и до оптимума, регрессировали до макулатуры?

Итак, еретическая статья на английском языке была написана. Но кто же ее напечатает и доведет до сведения англоязычных читателей, если все „средства массовой информации“ в руках у веропослушных Оптимистов.

К счастью, мой сын купил у Йельского университета старейший американский литературный журнал „Йел Литерари Магазин“. Разумеется, он купил лишь его название и создал литературно-художественное издание, а заодно и чудо полиграфии, достойное великого прошлого журнала. В этом журнале я и напечатал свою статью. Подписка на журнал подскочила, и вместе с подпиской журнал получил 1000 „писем ненависти“.

Я предвидел три реакции на статью: 1) „О вкусах не спорят“; 2) „Ха-ха-ха! Русский дикарь, чьи литературные вкусы складывались в варварской, дикой сталинской деспотии, будет учить нас, утонченных, изысканных, изощренных, что такое литература и что такое культура!“; 3) „Мне хотелось бы оспорить Ваше утверждение, что...“

Но эти 1000 писем от американских профессоров литературы, литературных критиков, литераторов и прочих не содержали ни одной из этих реакций. Их отклики напоминали письма советских патриотов 60-х годов инакомыслящему.

Разница состояла в том, что советские патриоты 60-х годов считали всякое инакомыслие опасным, а патриоты американской литературы считали мое инакомыслие опасным для той американской литературы, при которой они кормились. Многие члены американского политико-культурного истеблишмента обожают инакомыслие, если оно выставляет инакомыслящего в виде болвана, невежды или безобидного чудака. Но если инакомыслящий - человек мыслящий, и они чувствуют, на что он способен, они превращаются в советских патриотов 60-х годов или средневековых европейских блюстителей всеобщего вероучения.

Что же было дальше? Некогда инакомыслящему вырывали язык. Это называлось: „Удаление языка“. Ведь инакомыслие распространялось в основном изустно, а если лишенный языка инакомыслящий был еще и неграмотен, то он вообще никак не мог распространять свое инакомыслие.

Однако современные обыватели стали „культурными“ в новосоветском смысле этого слова („Ведите себя культур-

но!“). Благодаря канализации, водопроводу, дезодорантам, они не выносят ничего физически неприятного, тошнотворного, зловонного.

Йельский университет вырвал у меня язык культурно, и я бы даже сказал культурненько. Он отобрал у моего сына его собственность - журнал, как Троекуров в повести Пушкина отобрал у Дубровского его поместье. Суд-то в США часто ничем не отличается от суда в Российской империи начала прошлого века: у кого больше денег, тот и выигрывает. Ведь у Йельского университета - миллиарды долларов.

Йельский литературный журнал был моим языком, как и языком других, печатавшихся в нем. Конечно, я не мог говорить на равных с газетой-миллиардером „Нью-Йорк Таймс“. Но все же голос мой был слышен. Лишенный журнала, я онемел, хотя удаление моего „языка“ было осуществлено культурненько, как в XX веке все делается на Западе - культурненько и с учетом глобально-космической мощи „средств массовой информации“.

Конечно, многие советские эмигранты, как, например, один из профессоров русской литературы Йельского университета, ощущают всеми порами, что в стране их проживания - свобода. Но дело в том, что советские литераторы, как, например, Самуил Маршак, встречаясь со мной, ощущали всеми порами то же самое в сталинской Москве, а меня считали чудовищем.

В каждом обществе существует свобода говорить то, что говорят все. А эмигранты, подобные этому профессору Йельского университета, и говорят в США то, что говорят все (почитайте эмигрантские издания).

Дело в том, что большинство американцев, европейцев или русскоязычных убеждено: правда - это то, что говорят все. А инакомыслие - это заблуждение по определению. Бесполезно ссылаться на Джона Стюарта Милля, сказавшего 130 лет назад, что заблуждение инакомыслящего мыслителя полезнее для выяснения истины, чем простое повторение всеми того, что свободно повторяют все.

Когда упомянутого выше эмигранта-профессора русских кислых щей Йельского университета недавно спросили, что он думает об „удалении“ йельского литературного журнала вообще и о Лье Наврозове в частности, он ответил, что Наврозов - чудовище, и его не следовало близко подпускать к этому журналу. Свобода печати для всех, кроме чудовищ.

К чему же приводит это культурненькое лишение чудовищ свободы печати ради всеобщего Оптимизма? На моей даче под Москвой и ныне в моей нью-йоркской квартире на полках - четырнадцатое издание „Энциклопедия Британника“ (1929-1973 гг.) - самая авторитетная публикация стран английского языка. Возьмем хотя бы то же аутодафе, которое я упомянул выше. Российские и советские энциклопедии, включая энциклопедии времен Сталина, объясняют, что аутодафе - это, в частности, публичное сожжение. В статье „Аутодафе“ авторитетнейшей „Британники“ нет и намек на публичное сожжение. Почему? Потому что это противоречит Оптимизму. Конечно, Оптимизм обращен в будущее: самонастраивающаяся машина-человечество еще не самонастроилась - прогресс еще не достиг оптимума. Разновидность Оптимизма, известная как Коммунизм, делила историю на проклятое прошлое и светлое будущее. Западный Оптимизм видит даже прошлое в розовом свете, настоящее же в свете еще более розовом, а будущее уж в таком розовом свете, что, как бы сказал Гоголь, может даже стошнить.

Я читал английские и советские энциклопедии параллельно много лет. „Британника“ и БСЭ времен Сталина одинаково тенденциозны (и часто скрывают данные, известные предыдущему поколению). Обе эти энциклопедии - проповеди господствующего вероучения. Конечно, искренний западный Оптимизм и показной сталинский Оптимизм (сам Сталин отнюдь не был оптимистом) расходятся, как некогда, скажем, расходились Лютеранство и Католичество, считавшиеся заклятыми врагами-противоположностями. Но многие фантазии „Британники“ и БСЭ - те же самые. Та же модель самонастраивающейся истории-машины, которая движется от рабства к более прогрессивному феодализму, затем к еще более прогрессивному капитализму, а затем к самому опти-

муму. Та же вера в то, что научно-технический прогресс - это Прогресс вообще, то есть всеобщее продвижение, поступательный ход, революция-эволюция, „марш“, как теперь снова говорят в Китае, добавляя, что это „Марш по дороге знамени товарища Мао“.

Или возьмите упомянутое мной выше высмеивание Вольтером Оптимизма. Многие в Москве, а некоторые и в Нью-Йорке читали Вольтера. Это часть образования, а образование - основа Оптимизма. Но Оптимисты опустили половину названия сатиры Вольтера. Мало кто понимает или желает понимать, что хотел сказать Вольтер. А зачем? В условиях Оптимизма никаких Вольтеров нет и быть не может. Каждый сам себе Вольтер, а если он еще к тому же чиновник университета (профессор каких-нибудь гуманитарных кислых щей) или чиновник „средств массовой информации“, то он заткнет любому рот, будь он трижды Вольтер.

У меня была в Москве знакомая, которая защитила при Сталине докторскую диссертацию по сатире Вольтера „Кандид“, настоящее название которой „Кандид, или Оптимизм“. У диссертации - длинное ученое название, и в ней бездна учености. Она могла бы быть защищена в Гарварде или Сорбонне. Ни в Гарварде, ни в Сорбонне, ни в МГУ при Сталине или ныне никто не замечал и не замечает, что Вольтер смеется над ними самими - над их всеобщим идиотизмом.

Сталинский Оптимизм ассимилировал всякую всячину: того же Вольтера, Толстого, Пушкина, Кропоткина, „Баядерку“, Ивана Грозного, „Взвейтесь, соколы, орлами“, Православие... Западный Оптимизм тоже ассимилирует все на свете. Например, Христианство западного толка. Но, позвольте, ведь получение прибыли - это лихоимство. Христианин должен проклясть капитализм как лихоимство, а всему Западу заявить, что ад по нему давно скучает. Коммунизм Кампанеллы (кстати, католического монаха) куда ближе вероучению Христа. Но западное Христианство вписано в Оптимизм Уолл-Стрита, как российское искусство было вписано в Оптимизм Сталина.

СЧАСТЬЕ ПРИ ОПТИМИЗМЕ

Оптимизм принимает на веру (ибо это вероучение), что счастье - производное социальных условий. В Оптимизме Маркса главное социальное условие - такое всеобщее изобилие, что все „материальные ценности" будут как соль в столовой в Москве в эпоху застоя: стоит на столах, а никто не стремится съесть всю солонку или отсыпать себе соли в карман.

В западном Оптимизме главное социальное условие то же изобилие, но оптимум изобилия скромнее. Всеобщего счастья пока нет, ибо миллионы американцев в 1991 году беднее, чем москвичи в сталинской военной Москве полвека назад, а десятки миллионов лишены медицинской помощи. Оптимум изобилия будет достигнут, когда у каждой американской семьи из трех человек будет три машины, три ванных комнаты и семь телевизоров (по числу комнат, включая ванные). И, конечно, медицинская помощь. Однако выводы можно сделать и сейчас, ибо я знаю американскую семью, достигшую оптимума.

Но вот что недавно случилось. Сын-подросток в семье должен был подкатить к ней (к клубушке своей) на машине. Не пешком же прийти. Однако дело в том, что это родители считали все три машины самыми наимоднейшими. А подросток и его сверстники считали их „просто неприличными". Поэтому она его отвергла, и он пытался покончить с собой - еле спасли. Помните у Маяковского: „Маруся отравилась, везут в прием-покой". Тогда в Москве она из-за бельца и лакированных тупфелек, а теперь в Нью-Йорке она из-за машины.

Я не вижу, чтобы я и мой школьный класс в сталинской военной Москве были менее счастливы, чем подростки в Нью-Йорке начала 90-х годов. Голод? Да, был голод*.

* В то время как в 1990 году было произведено 217 миллионов тонн советского хлеба, причем за границей закупалось ежегодно еще 30-40 миллионов тонн, в 1946 году было произведено менее 40 миллионов тонн хлеба, да еще его и вывозили за границу.

„Как вы, наверно, страдали от голода!" - говорят мне нью-йоркцы этим летом. „А вы страдаете от нью-йоркской жары, - отвечаю я им. - Больные и пожилые от нее умирают. Особенно те, у кого нет кондиционеров. Молодым же от жары весело. А нам от голода было лишь весело".

Да, я это помню потому, что я рассказывал сверстникам о том, как величественная дама увязалась за мной у булочной, когда я нес домой отоваренный хлеб, и величественно спросила: „Скажи-те, вы не могли бы мне помочь хотя бы материально?"

„Понимаете? - рассказывал я. - Я должен ей помочь духовно. Но она согласилась на то, чтобы я помог ей х о т я б ы материально.

Все хохотали. А главное, смеялась она. Я видел косым зрением.

Мысль о том, что школьник может сам разъезжать на машине, показалась бы нам смехотворной. Я ходил к ней пешком. Не была ли моя молодость столь счастливой потому, что она прошла в сталинской военной Москве, а не в Нью-Йорке августа 1991 года, где, видите ли, мало иметь три машины, чтобы подкатить к ней, а надо иметь для этого еще и машину приличной марки? Нынешнее западное общество существует для обывателя. Не для Вольтера же! Но оказывается, что даже куцее обывательское счастье (ему понравиться ей) часто достичь труднее в Нью-Йорке летом 1991 года, чем это было в сталинской военной Москве.

ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК УРОДЦЫ ИСТОРИИ

Помнят ли еще в Москве выражения вроде „социальное неравенство"? Нет, уважаемые господа из „Московских новостей" или „Огонька", социальное неравенство это не только русско-советская зависть, отсталое коммунистическое мышление и происки недобитых врагов-коммунистов. Вы лишь повторяете избитые истины. Так же, как при Сталине вы повторяли то, что повторяли все. Помнят ли в Москве все плохое, что сказали о Западе Диккенс, Хаксли, Маркс и Кафка? А все это, увы, правда. Как правда и то, что сказали Замятин, Сергей Мельгунов, Иван Солоневич и Оруэлл об

обществе на территории бывшей Российской империи. Разные цивилизации - будь то сталинский рай на земле, современный Запад, Китай до и после 1989 года, мусульманская империя прошлого и, возможно, будущего - это не оптимумы, а случайные уродцы истории.

Например, пуритане уехали из Англии и основали Америку потому, что в Англии, мол, забыли вероучение Христа и предались плотским наслаждениям вроде театра. Недаром еще в 20-х годах спиртные напитки были в США запрещены, а экранизировать „Анну Каренину" было нельзя, ибо если Толстой и решился описать измену жены мужу (грех и уголовное преступление), то он обязан был описать эту измену в таком отталкивающем виде, что любая американская жена думала бы об этом грехе-преступлении с отвращением. Слава Набокова возникла потому, что он опубликовал в 1955 году жалкое и безвкусное подражание Мопассану и Буданцеву под слащавым названием „Лолита". Но так как в США мало кто читает Мопассана даже теперь (а о Буданцеве никто вообще никогда не слышал), то возник страшный скандал: залог славы в пошлейшей масс-культуре. То есть Пуританизм был еще силен в США даже в 50-х годах.

Но около 200 лет назад Томас Джефферсон заявил в официальном документе в духе Просвещения, что цель общества не исполнение вероучения Христа, для чего пуритане покинули Англию и основали Америку, а счастье. Официальный документ не определяет счастья. Каждый волен считать счастьем то, что представляется ему или ей счастьем. Так вот: кокаин представляется счастьем миллионам американцев. И тут оказывается, что кара за счастье - кокаин часто превышает кару за убийство.

А ведь кокаин - это пустяк по сравнению с препаратами, которые разрабатывает современная биохимия, обеспечивающими такое счастье, что для достижения его не надо ни взаимности в любви, ни изобилия, ни тем более свободы. Не надо даже жизни, ибо если посадить на препарат „Счастье" п миллиардов человеко-единиц, то можно к препарату доба-

вить, по их просьбе, и биохимикат, который обеспечит заодно и их смерть („от счастья"). Никакой разницы между счастьем и смертью от „Счастья" тогда не будет.

Пуритане бежали от театра как от разврата, а ныне Америка постепенно превращается во всеобщий публичный дом, с продажей в нем „биохимикатов счастья" и телевизионными передачами, рекламирующими женских и мужских проституток для гетеро- и гомосексуализма.

Что же касается продолжения рода, то разве Хаксли не предсказал еще в 30-х годах зарождение детей в пробирках, а Сталин не проторил человечеству дорожку коллективного выращивания детей в яслях и детских садах? Слово „ясли" - из области животноводства, а слово „садок" - из области разведения рыбы из икры. Но безликие коллективы, где опасное для них личное инакомыслие уничтожается, действуют в США вовсю: школы, университеты, средства массовой информации, гигантские издательства... Все это - массовое, безликое, единообразное, как лягушачья икра. От чего же не добавить фабрики зарождения детей, ясли и сады-садки? Почему же женщинам не принимать тоже участия во всеобщем публичном доме наравне с мужчинами? Довольно их шестьдесят веков угнетали. Почему же каждой американке не стать проституткой-клиенткой? Она будет и продавать секс, и покупать его, как и любой мужчина. Купля-продажа, частное предпринимательство, деловая активность. Тут и самоубийства будут происходить не от отсутствия взаимности (это допотопное понятие исчезнет), а просто от нежелания жить, причем число самоубийств составит величину, которая вообще никогда даже не считалась воображимой. Недавно вышла книга „Как кончать самоубийством". Так сказать, учебное пособие. Самоубийство будет вроде того, что сегодня является усталостью, депрессией, плохим настроением. Принял биохимикат счастья-смерти и был таков. А тело можно заранее запродать.

Но социальное неравенство не исчезнет. Наоборот, оно обострится до ныне не представляемой степени. На 1991 год

у американца может ничего не быть, кроме жены, но он может сказать ей: „Ты мне дороже всех сокровищ мира“ (не буду цитировать все сказанное по этому поводу творцами-мыслителями прошлого). А во всеобщем публичном доме этому американцу будет лишь ясно, что он может купить самый дешевый секс-товар, в то время как к услугам миллиардера всегда „тысячи самых роскошных женщин всех стран“. Возможно, бедняки будут кончать жизнь самоубийством миллионами, освободив, наконец, богачей от заботы о них.

Свобода личности? Но не ясно, какая же может быть свобода личности, если исчезнет (и уже исчезает) понятие личности в этой человеческой икре? Около 130 лет назад Милль с ужасом употреблял слова: „масса“, „массы“ и „массовый“. Вот именно: человеческая масса. А возможность производить в пробирках п миллиардов частиц этой массы, разве не создаст уверенности, что можно так же и пускать столько же в утиль-сырье, в отходы, в переработку? Разве с точки зрения науки смерть - это не превращение белка в иное состояние?

Возможно, будут два рода человеко-массы. Хаотическая человеко-масса на Западе и направленная человеко-масса в Китае и будущей вероятной мусульманской империи. Направленная человеко-масса пожрет хаотическую, которая в целом поймет это не более, чем лягушачья икра понимает, что ее пожирает хищник.

На территории бывшей Российской империи Сталин заложил основы для мирового господства с помощью глобального оружия и направленной человеко-массы. Его воспреемники, а особенно Горбачев, успешно продолжали им начатое. Если же они сделают неверный ход в шахматной глобальной стратегии и советская империя превратится в хаотическую человеко-массу, то направленная китайская человеко-масса, возможно, займет ее территорию к востоку от Урала (на что она уже и притязала), а мусульманская человеко-масса займет ее территорию к западу от Урала. Русский язык сохранится лишь в крошечных анклавах (как, например, Брайтон Бич Нью-Йорка), пока направленная человеко-масса не пожрет и Запад, от которого, возможно, также не останется и воспоминаний, ибо направленная человеко-масса, возможно, уничтожит все до последней литеры на европейских языках и иврите.

ФУГА РЕ МИНОР

После вышесказанного как-то смешно и грустно (ре-минорно) говорить о культуре.

Культура - это, например, музыка, написанная 17 композиторами XVIII и XIX столетий. Список этот составлен знатоками в Англии. Эти 17 композиторов - неповторимы, ибо каждый из них создал неповторимую духовную ценность.

Как это ни было горько для англичан, составлявших список, в него не входит ни один композитор, говоривший на английском языке. Может быть, после этого русскоязычные и многие другие нации легче проглотят такую же горькую пилюлю: из 17 композиторов, 14 - немцы, два - итальянцы, а один - поляк, проживавший во Франции.

Чтобы тут же утешить русскоязычных, скажу, забегаю вперед, что в составленном англичанами списке композиторов XX века в начале списка - Прокофьев и Шостакович.

„Но почему же такие крошечные цифры? - спросили оптимисты. - На сотни наций за два века - 17 композиторов. Восемь с половиной за столетие на все человечество!“

„А потому, - ответили они себе, - что были неблагоприятные социальные условия: бедность огромного большинства населения, тирания и образование только для немногих избранных“.

В самом деле: аристократия Вены собиралась послушать Бетховена. А вне ее, кто же его слушал? Как же можно стать композитором, никогда не слышав подобной музыки?

На Западе созданы самые благоприятные социальные условия. Никакого гнета австрийской монархии, царского самодержавия или сталинской диктатуры. Большинство населения живет не хуже дворянства XVIII и XIX веков. Большинство может получить музыкальное образование. А главное есть проигрыватели: за две недели любой может услышать больше музыки по своему выбору, чем граф Вальдштейн слышал за год в Вене, будучи поклонником Бетховена.

Но тут вдруг оказывается, что Германия и Австрия, давшие миру 14 из 17 неповторимых композиторов XVIII и XIX веков, не дали в условиях демократии последних 45 лет ни одного. И только два композитора XX века исполняются на Западе в конце этого века так же ревностно, как Моцарт или Бетховен, причем эти два - советские композиторы, один из которых жил при Сталине до последнего своего вздоха (умер в один с ним день).

Выясняется также, что Прокофьев покинул родину в 1918 году, приехал в США и, как это ясно, „очень хотел остаться“. А что? ЧК нет, быт подходящий, если деньжата есть, рояли превосходные, за нотной бумагой дело тоже не стало. Но все музыкальные критики США встретили его музыку улюлюканьем потому, что наступило время на Западе, когда и музыкальные критики стали тоже бездарны. Вопрос к Оптимистам: „Как же может появиться композитор в стране, где музыкальные критики бездарны?“

В конце концов, Прокофьеву пришлось вернуться в сталинскую империю. И вот что я сказал известной пианистке, знатоку Прокофьева и Шостаковича:

„Культура - это не развязность, расхристанность и развинченность, а, наоборот, страшная самодисциплина гения. Такой самодисциплиной обладал Пастернак. Рифма в поэзии начала исчезать в начале XX века. Зачем рифма? Авангард, модерн, долой классиков! А Пастернак ни разу в жизни не написал трех стихотворных строк без рифмы. Прокофьев же и Шостакович „в условиях западной свободы“ распустились бы, разлезлись, превратились бы в безличнейший, безликий миллионноголовой авангард, то есть в одну из разновидностей современной западной всеобщей пошлости. Дело в том, что в Российской империи расцвет культуры произошел на века позже, чем в Европе, и всеобщее обмещивание, уничтожившее культуру, начало происходить позже тоже. Тиран Сталин законсервировал позднюю российскую культуру, включая МХАТ, Чехова, „Дни Турбиных“, толстые журналы, „Тихий Дон“. И он заставил этих двух российских гениев музыки, так сказать, продолжать писать в рифму - запретил им отбрасывать страшную самодисциплину гения российской культуры. Мнение, что он их заставил писать музыку, понятную народу, нелепо, ибо Бах для „народа“ непонятен более, чем шарлатан, катающий бильярдные

шарики в рояле. Кстати говоря, тиран Сталин понимал Баха, православную церковную литургию, игру Юдиной, чего нельзя сказать о значительной части самой что ни на есть прогрессивной советско-западной интеллигенции.

Для моей собеседницы это был шок. Ведь тиран Сталин ограничивал, калечил, губил гений Прокофьева и Шостаковича, а вот на Западе - ух, как бы они расцвели. Я сказал: „Подумайте“. Она позвонила мне на другой день: „Я перебрала все, что Прокофьев и Шостакович написали. Это чудовищно, но вы правы“.

На Западе возникла социальная проблема. Разговор идет о двух композиторах на миллиарды жителей Земли. Но ведь в США хотят быть творцами музыки не двое и даже не 17 человек, а миллионы.

Но им везет. Как большинство населения Запада не понимало Бетховена в XVIII и XIX веках, так оно не понимает его и к концу XX века, несмотря на всю веру Оптимизма в благоприятные социальные условия. А денег у этого большинства побольше, чем у слушающего Бетховена меньшинства. Неминуемо, „масс-культура“, которая имеет такое же отношение к Бетховену и вообще культуре, какое имеет к нему публичный дом, стала главной культурой Запада, а в настоящее время становится также главной культурой на территории бывшей Российской империи.

Таким образом, миллионы американцев оказались трудоустроенными. Создавай музыку для народа! Например, бей по металлическим предметам и вопи благим матом. Вот и будет музыка для народа: нармуз. А если кому не нравится нармуз, то ведь демократия! Заткни уши! Обей стены звукопроницаемыми материалами!

Таким образом, эта социальная проблема уже решена. Бить по металлическим предметам и вопить благим матом могут не два человека из пяти миллиардов, а все пять миллиардов, исключая лежащих больных и младенцев.

Но как насчет тех американцев, которые, скажем, научились дома играть Бетховена и которые желают не бить по металлическим предметам для увеселения имеющего денежки народа (создавать нармуз), а стать Бетховенами и прочими

гениями? И этих американцев может быть миллионы. Они оказались неспособными к бизнесу, к науке и технике, которые необходимы бизнесу, а также к медицине, которая необходима всем. А у родителей этих миллионов американцев есть по 50 тысяч долларов для образования их детей. Так неужели этим миллиардам долларов пропадать?

Принять их в университеты, то есть каждому за 50 тысяч долларов продать диплом, удостоверяющий, что он или она - композитор, или поэт, или прозаик, или советолог, или чего он или она там еще желает. Как пели в Одессе: „Много у нас диговин, каждый из нас БИТховИН". Но кто будет его слушать? Не надо никому его слушать! Он будет профессором музыки, то есть чиновником на жаловании при том же университете, чтобы выдавать новым бездарностям дипломы о том, что каждый из них БИТховИН. А творить он будет новую музыку, то есть, например, бросать миллиардные шары в открытый рояль, и это будут слушать другие чиновники по долгу службы в счет жалованья.

В настоящее время на Западе нет ни одного поэта. То есть поэта, который бы мог жить за счет продажи своих стихов своим поклонникам. Есть только чиновники от поэзии на жаловании.

Много писалось о том, как враждебны были бездарные поэты Союза писателей СССР (например, Алексей Сурков) к Пастернаку. Еще бы! Они защищали свою бездарность, доходы и вообще место под солнцем. Но ведь Союз писателей СССР - это крошечное и нищее заведение по сравнению с истеблишментом американских сурковых, бездарных чиновников от поэзии и других „разделов культуры" в США. Помните, как они перепугались и лишили меня языка?

То есть никогда в истории не было еще создано столь могучей антикультурной тирании, которая уничтожает на корню любой опасный для себя проблеск таланта и инакомыслия куда более надежно, чем Сталин. Впрочем, разве не писал об этом Милль еще 130 лет назад, говоря, что тирания населения может быть несравнимо тираничней тирании тирана?

Возможно, что современный Запад, вне бизнеса и науки, техники и медицины - это самая антикультурная, бесплодная и бездарная территория, которая когда-либо существовала в истории.

Ну, а что будет на территории бывшей Российской империи? Сталин законсервировал российскую культуру, и эта консервация продолжалась до середины 80-х годов. У каждого советского человека со школьным образованием были те же культурные координаты, что и у российской интеллигенции начала века. Задохаясь от ужаса, врач из Москвы сообщил мне, что в его нью-йоркской клинике ни один американский врач никогда не слышал о Чехове, Марке Твене, Стейнбеке, Бальзаке или Гете. Они рвут деньги (250 долларов за пятиминутный осмотр больного в приемное), вкладывают их с наибольшей выгодой, покупают собственность, торгуют, а их медицина - это лишь один из многих источников дохода, купли-продажи, деловой активности. Они ничего не читают, кроме финансовых бюллетеней: у них нет времени даже для чтения по своей медицинской специальности, хотя можно назвать ее бывшей, ибо их нынешняя специальность - деньги, торговля, бизнес, движимое и недвижимое имущество.

В том или другом случае территория бывшей Российской империи, или ее русскоязычная часть, станет нищим, провинциальным, беспорядочным филиалом всеобщего публичного дома. А СП СССР, Солженицын, Евтушенко или „толстые журналы" окажутся такими же нерентабельными „пережитками эпохи сталинизма и застоя", какими окажутся МХАТ, писатель Чехов и бесплатное лечение больных доктором Чеховым. Да, многообразная организованная преступность и неорганизованная уголовщина, возможно, превзойдут худшие времена в Чикаго или в Сицилии. Но все это, может быть, не имеет значения, ибо счастье и смерть, в конце концов, возможно, будут равнозначны в безличностной человеческой икре, а наш лучший из миров достигнет оптимума всеобщего счастья-смерти.



И почему Ельцина все чаще называют не иначе как Борисом Николаевичем и интонируют так, что невольно вспоминается один старый анекдот: Брежнев снимает трубку: „Дорогой Леонид Ильич слушает...“?

ЖИЗНЬ В СОСТРАДАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ

Хосе Ортега-и-Гассет писал: „Что понимать под господством мнения? У большинства людей мнения нет, мнение надо дать им, влить, как смазочное масло в машину“.

Сознание советского, а теперь российского человека существует в страдательном залоге. И это, несмотря на то, что отныне оно считается вполне самостоятельным. Ведь что получается: раньше бытие определяло сознание, а определенное, в свою очередь, сознанием бытие оказалось чистой воды вымыслом, обманом ангажированных государством интеллектуалов.

Сознание пробудилось - и старые мифы исчезли. И пробудил его Борис Николаевич Ельцин. Что еще надо для свободы мозгов?

Вбив осиновый кол в труп старой мифологии, мы не заметили, что промахнулись. Нам подсунили муляж, мы расправились с двойником, в то время как идеологический „оригинал“ счастливо избежал расправы и благоденствует, по сути дела, в тех же руководящих креслах. Неузнанный, неразоблаченный. Делает он то же самое, что и делал, говорит те же неискренние слова, только содержание его речей стало немного иным.

Мы сражаемся с призраком КПСС, по ошибке считая единственную госструктуру эпохи деспотии партией, каковой она перестала быть еще в 17-м году. Мы клянем тоталитаризм, не понимая, что термин этот имеет достаточно узкий смысл - речь идет о феномене „нулевого лидера“, представляющего собой пустое место: тоталитарная система была у нас скорее при кукольном Брежневле, нежели при активно действующем восточном деспоте Сталине...

Андрей КОЛЕСНИКОВ

ЕЛЬЦИН КАК МИФ

Несколько удивительных фактов.

Министерство образования Удмуртии учредило в средних школах „Урок Ельцина“. Причем если „Ленинские уроки“ эпохи безвременщины приветствовались учащимися, потому что к ним не нужно было особо готовиться, то нынче детей обязали заучивать речи Бориса Николаевича.

Факт второй. Ни одна демократического толка газета не заметила того, что дружно одобренное предоставление Борису Ельцину дополнительных полномочий и узурпация им обязанностей премьер-министра грубо попирают систему сдержек и противовесов, принцип разделения властей и прочие фундаментальные достижения нарождающейся российской демократии.

Многие другие факты, полагаю, хорошо известны читателю.

Что это, переход к рынку через диктатуру? Рождение нового Владимира Ильича со всеми „вытекающими“ отсюда „ельценятами“ и пионерами нового призыва?

Мало того, что мы не способны расправиться со старой идеологией, мы сочинили новую идеологию вместо того, чтобы избавиться от всех и всяческих идеологий.

Сознание бывшего (?) гомо советикуса так и не стало активным. Привыкшее к разжеванным мыслям, к их удобоваримым полуфабрикатам и неспособное существовать без чтения на ночь сказок, наше сознание охотно пустило в свои опустевшие на время пространства новых богов с фиктивной биографией, которую им сочинила новая популяция верноподанных интеллектуалов. Так за что мы ругаем сочинителей „Малой Земли"? Они столь же талантливы и искушенны в журналистском ремесле, что и подлинные авторы (автор?) „Исповеди на заданную тему”.

Жизнь снова, в который раз в истории России, по словам Набокова, подло подражает художественному вымыслу.

Надо ли напоминать, что и правая, и левая версии популизма основаны на демагогии, вызываемой к жизни во всякую эпоху чрезвычайных экономико-политических трудностей.

В одном из своих последних романов лауреат Нобелевской премии Сол Беллоу скорбно-иронически заметил, что слово „харизма” похоже на название какой-то болезни. Все мы, граждане с активным избирательным правом и пассивным сознанием, - „харизматики”. Для всех нас многосложные политические реалии спрессованы до степени сжатия идеологии, а для иных - и просто политических символов. Для одних слезоточивый символ - красная звезда, для других - российский торговый флаг.

Что было раньше? Сталин с девочкой-пионеркой, ослезливенной улыбкой вождя. Брежнев на охоте, Брежнев с внучкой на руках. Что теперь? Патерналистические картинки заменены динамично-европеизированными изображениями: Ельцин в плавках, Ельцин в теннисных шортах и с хошой ракеткой в руках...

Свобода и демократия на фоне потемкинских деревень. Мозги по-прежнему представляют собой матрицы газет, а

мнения остаются заемными: кто почти дословно цитирует газету „День”, кому ближе в качестве „собственного мнения” пассажи из „Курантов”. Еще в „Бегстве от свободы” Эрих Фромм постулировал: свобода мнений лишь тогда что-либо значит, если эти мнения - наши собственные. Откуда же им взяться в условиях, когда то, что мы понимаем под свободой, рождается из столкновения мифологических систем.

Образ мифологического героя очищен от неблагоприятных примесей. То, что он говорил раньше, сегодня предпочитают не вспоминать, а расхождение слов и дел почему-то приобретает статус подвига (так было с Ельциным, ставшим, по примеру кое-кого из персонажей истории советского истеблишмента, премьер-министром, так случилось и в те дни, когда российское руководство пыталось совершить нечто совершенно бессмысленное - ввести чрезвычайное положение на территории Чечено-Ингушетии). А поди сейчас напони об историческом выпадании Б.Н.Ельцина с моста в речку - не было этого и все тут!

Ельцин эволюционировал от „должности” лидера оппозиции к должности главы государства, подавляющего оппозицию. Этот путь он проделал, замечу, уже в постперестроечное время. В годы перестройки, когда, как во время войны, все мы или почти все были по одну сторону баррикад, а врагами нашими были лишь „родимые пятна” сталинизма, Ельцин попросту избегал этого зыбкого понятия „оппозиция”. В 1989 году, во время одного из предвыборных собраний в Кунцевском районе г. Москвы, где „под сенью Ельцина в цвету” баллотировался заместитель главного редактора „Московской правды” Логунов, кто-то из выступавших доброжелательно помянул Бориса Николаевича как лидера „нашей” оппозиции. Сидевший рядом со мной человек из „команды Ельцина” мирно дремал и продолжал бы спать дальше, если бы не его приятель, более внимательно слушавший выступавшего. „Послушай, - зашептал он, - Борю обижают: его называли лидером оппозиции”. Проснувшийся политический боец, растолкав смиренную очередь на право пользования

микрофоном, разразился короткой репликой, в которой, пытаясь сохранить тогда еще модные элементы парламентской этики, отвел от Ельцина подозрения в оппозиционности. Это был искренний человек - вернувшись на место, он стал кушать валидол. Что бы он сказал на подобном собрании хотя бы год спустя?

Образ „харизматика“ вылепила сама наша демократическая интеллигенция. Немного истории. В первом выпуске альманаха „Апрель“ вниманию читателей была предложена литературная запись выступления Б.Н.Ельцина в ЦДЛ (7 марта 1989 г.). Атмосфера вечера полна таинственности и, так сказать, нелегальности: в „фойе писательского клуба *поползло* (курсив мой - А.К.) известие - будет выступать Ельцин“. Вот он, „высокий, статный, полуполигальный“, за что ему, несомненно, влетит (мотив юродивого мальчика для битья возникает по ходу встречи не один раз) - „ну, а притворяться - это ни к чему!“.

Ельцин не сходил с трибуны более четырех часов. Его уговаривали сесть, но он отказался: „пусть видят: здоровье восстановилось“. Такие фразы в лучшие свои годы любила замачивать газета „Правда“ в сообщениях о встречах высшего руководства с рабочими какого-нибудь завода. Символ демократии покалечен и обижен, но всякий раз восстает из пепла (воды). Символ по несколько раз репрезентирует себя - власть есть зрелище, театральное пиршество: „может, тем обеспокоены, что у меня нет личной охраны?“. Зал реагирует в тональности разыгрываемого действия, как в лучших фильмах эпохи реконструкции раздаются „понимающие смешки“: публика оказалась достаточно просвещенной и уловила тонкую иронию.

„Не можем подать другим странам пример богатым прилавком наших магазинов, - говорит будущий президент, - так хоть станем для них образцом демократизма“.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: ОБ „ЭДИПОВОМ КОМПЛЕКСЕ“

Странным образом „история любви“ Ельцина и Горбачева в каких-то своих моментах напоминает миф об Эдипе. Напомним читателю, что фиванскому царю Лаю была напрогнозирована смерть от руки собственного сына, и потому он велел своей жене бросить новорожденного Эдипа на горе Киферон, проколов ему булавкой сухожилия. Однако жалостливый пастух отнес ребенка бездетному царю Полибу. Прошли годы, и в дорожной ссоре уже взрослый Эдип убивает случайно встретившегося ему отца.

Ельцин в каком-то смысле был порожден Горбачевым: он был приглашен Генсеком из глубинки на весьма высокий пост и ответственную работу. При известных обстоятельствах в прошлом обласканный провинциал превратился в крайне неудобного человека, попытка устранения которого с политического горизонта обернулась началом подлинной политической карьеры Ельцина. Как только вслед за Тарасом Бульбой Горбачев подумал о том, что „породив“ Б.Н., он сам же его и „убьет“, Ельцин превратился в подлинного лидера оппозиции и демократического движения. По отношению к Горбачеву у него развился, при допущении, что читатель не станет совсем уж всерьез воспринимать предложенную аналогию, своего рода „эдипов комплекс“. Противостояние набирало силу и два политических гиганта уже должны были пойти на прямую конфронтацию. Однако действие классического мифа повернуло в совершенно иную сторону. Неожиданно, а может быть, и не столь уж и неожиданно для двух лидеров, разразился правопопулистский путч. Главным героем стал Ельцин, но и его политический оппонент превратился в жертву, а значит - в союзника. Жертва всегда стоит ниже героя на иерархической лестнице политиков, поэтому для сохранения видимости паритета Президенту будущего ССГ пришлось, грубо говоря, дорого заплатить своему как бы Эдипу. Дорожной ссоры на пути из Дельф в Коринф не состоя-

лось: на алтарь победы были принесены собственное царственное величие, ближайший сподвижник и советник, „родная партия“...

Однако и Ельцин просчитался. Слова, сказанные в период пребывания им в оппозиции, оказывается, многие запомнили. Автономии действительно взяли столько суверенитета, сколько смогли унести. Когда опальный Эдип превратился в руководящего Мессию, он отнесся к этому совершенно иначе. Его ближайший сподвижник Р.И.Хасбулатов в интервью „Известиям Татарстана“ заявил, что давние посулы Ельцина, касаемые автономий, были ошибкой. Добро бы еще это говорил действительно контролирующий исполнительную власть глава российского парламента. Но ведь вопреки принципам демократии сам Ельцин протасил Руслана Имрановича на пост председателя ВС России, тем самым отменив всякие сдержки и противовесы: исполнительная власть - президент - приобрела ручную власть законодательную и контролирующую - приближенного к особе императора Хасбулатова. Так что ж теперь пенять на автономии!

После всех этих событий в глазах многих Ельцин превратился из „левого“ политического деятеля в „правого“. Однако и „левизна“ и „правизна“ в наших смутных обстоятельствах тоже не более чем очередной миф: согласитесь, что почти все политические силы, за редким исключением, борются за право называться „левыми“.

Послеоктябрьская история России - это история размыwania и подмены понятий „правое“ и „левое“. Еще в тридцатые годы Семен Франк писал, что эти категории совершенно устарели и превратились в беспредметные абстракции.

В нашем представлении всякий, находящийся в оппозиции - „левый“, любой представитель истеблишмента - „правый“. Но так ли это? Ведь Ельцину-президенту в августе 91-го, несмотря на постепенное перерастание революции в карнавал и „речи с броневика“, справедливо достались лавры Ельцина-оппозиционера. Но нынешняя его политика авторитарного либерализма распространяется только на сферу

экономики,* да и то как-то коряво. Либерализм не стал „нормой жизни“ в политике и политических отношениях. Кроме того, уж слишком много плясок на костях давно поверженного гиганта со сталинскими усами и в шинели Дзержинского. И слишком много слов.

Кстати, о Слове. Наряду с символами, фабулами, типическими персонажами в типических обстоятельствах - это один из главных элементов мифа. Слово поставлено на службу мифу, и потому оно сочетается с другими словами в строго определенной, фиксированной последовательности. Поэтому и бесконечные слова „говорящих голов“ в телевизоре кажутся нам одинаковыми и совершенно обесцененными.

Язык, речь, текст в Новое время стали орудием власти, способом замораживания сознания, средством „семантической войны“ с „врагами“, реальными и вымышленными, действующими или давно почившими...

ОБРАЗЕЦ ДЕМОКРАТИЗМА, ИЛИ МИФ О МЕССИИ

Мифологические приключения Бориса Ельцина стандартны. Миф о Мессии-избавителе путешествует из эпохи в эпоху, кочует из государства в государство. Отсылаю любопытствующих к „Политике“, сочинение Аристотеля, эсквайра. Эра - дохристовая. И еще один источник: 1-я Книга Царств, глава восьмая. Старейшины Израиля приходят к Самуилу и говорят: „Поставь над нами царя“. Господь предлагает Самуилу послушаться голоса народа, но предупредить людей насчет чрезвычайных и дополнительных полномочий нового царя, очень напоминающих, если отвлечься от конкретно-исторических обстоятельств, полномочия всех последующих тиранов и диктаторов. „Но народ не согласился послушать голоса Самуила и сказал: Нет, пусть царь будет над нами“.

* Во всяком случае ельцинские отступления от демократии можно оправдать - и это многие делают - как „диктатуру развития“: либеральную модернизацию средствами авторитаризма.

Структурно любой миф обладает, если пользоваться терминологией Леви-Стросса, „базовым значением“. Единая, стабильная структура воспроизводится тысячи раз и остается неподвластной времени. Однако конкретные события, разумеется, всякий раз иные. Так художники в разные века одевают персонажей одного и того же библейского сюжета в костюмы современной им эпохи *

Политический лидер, обещающий в максимально короткое время наполнить пустующую общественную кормушку, пусть и за счет временного „подтягивания поясов“, неизменно пользовался сногшибательным успехом. При одном условии - он должен был иметь прочную демократическую репутацию. „Восьмерка“ ГКЧП тоже обещала народу разные социально-экономические блага, но все эти люди имели биографию, не оскверненную любовью к демократии. Тирания не может перерасти в тиранию. Тирания рождается в лоне несовершенной или крайней демократии. Для начала лидеру, желающему завоевать популярность олимпийского бога, нужно пообещать демократические преобразования, а затем *вынужденно и временно*, под аккомпанемент рассуждений высоколобых интеллектуалов о переходе к демократии через диктатуру отступить от формальных демократических принципов - ради... Светлого Будущего. Так и поступил Ельцин.

Разумеется, любой миф есть отражение потребности в разрешении какой-то проблемы, он представляет собой своего рода вариант ее решения. В стране, где нищие бродят среди руин, всегда находится добрая фея (бывшая злая, но

*Не могу удержаться от искушения привести очень изящное высказывание классика французского структурализма Ролана Барта, который всю свою жизнь занимался „выпариванием реальности“ из стандартных - на все времена - мифов: „Миф лишает предмет, о котором он повествует, всякой историчности. История в мифе испаряется, играя роль некоей идеальной прислуги: она все заранее prepares, приносит, раскладывает и тихо исчезает, когда приходит хозяин, которому остается лишь наслаждаться, не спрашивая, откуда взялась эта красота“. Должно быть, как опытный политик, Ельцин интуитивно догадывался об этом свойстве истории...

порвавшая с силами зла на склоне лет), сказочно быстро выстраивающая город-сад.

Лев Наврозов справедливо заметил, что коммунистический и, грубо говоря, любой оптимистический идеал (тот же американский, например) - примерно одно и то же. Коммунизм (Град Божий, Царствие Божие, „рынок“, „цивилизованные страны“) - это вариант идеалистического оптимизма.

Помните Вольтера? „Кандид, или Оптимизм“ - что дальше - „Ленин, или Оптимизм“, „Ельцин, или Оптимизм“?

Конечно, миф о Мессии возникает от тоски безысходной, от ощущения собственного бессилия и осознания собственной ничтожности. Выдуманной жизни говорят „да“ лишь потому, что говорят „нет“ не удовлетворяющей нас действительной жизни. Это замечание Я.Голосовкера представляется справедливым и по отношению к политическому мифу.

Другое дело, что это вовсе не оправдание пассивности человеческого сознания. Мышление наших „ельцеголовых“, равно как и талмудистов от коммунизма, - выученная наизусть политическая таблица умножения, которую можно увидеть почти в каждой утренней газете. Здесь самое место вспомнить об одном персонаже Ионеско, девушке, неспособной к элементарным арифметическим операциям, то есть самостоятельному мышлению, но вызубрившей результаты всех возможных вариантов умножения.

„Человек не в силах вынести, что он должен сам придать смысл своей жизни, - писал Эрих Фромм, - а не получить его от какой-то высшей силы, поэтому людям нужны символы и мифы“. Потому и наши интеллигенты, противостоящие глупости, стандарту, ходульным символам старой идеологии, размазывая по лицу слезы восторга, приветствуют новую идеологию. Что бы ни говорил Ельцин раньше, как бы он ни нарушал свои обещания сегодня, ему прощается все. Начнется террор, и наш интеллигент будет оправдывать его тем, что ОНИ до того 70 лет занимались этим террором. А потому се-

годня мы можем кое-где попробовать ввести чрезвычайное положение, где-то поправить впопыхах принятый чересчур демократический закон.

Демократия заканчивается там, где начинается тирания, пусть и провозглашенная во имя будущих побед. А признаки тирании, еще раз подчеркиваю, вне зависимости от персоналий, известны: попрание *формальных* демократических норм и Закона. Как только Закон подменяется Добрым Царем - конец демократии!

Надо ли об этом в сотый раз напоминать после Аристотеля, Монтескье, Руссо, Пушкина, наконец (см. оду „Вольность“)?! Оказывается, надо.

Не стоит между Борисом Николаевичем и истиной ставить знак равенства. Человек не может быть истиной, будь даже Ельцин одновременно херувимом и серафимом с грудой разноцветных крыльев за плечами. Быть может, самым первым, к тому же выдержавшим проверку временем принципом демократии, были слова иудея: „не сотвори кумира“.

Итак, мифологическое сознание дождалось своего очередного Мессию, своего невидимого Годо. Печально сознавать, что начался еще один порочный цикл русской истории, и народ еще долго будет спать и видеть сны со Сталиными, брежневыми и ельциными в этом многострадальном, почти шекспировском королевстве, „Дании-тюрьме“.



Елена ГЕССЕН

РУССКИЙ ЕВРЕЙ НА РАНДЕВУ

Что и говорить, удивительные времена настали на нашей родине! Над Москвой загорается ханукальная менора, и Елена Георгиевна Боннэр едет из Америки выступать перед российским Белым домом в честь еврейского праздника, и выходит в свет „Еврейская газета“, и зарегистрирован журнал „Русский еврей“. Кто мог бы представить себе такое еще лет пять тому назад? Похоже, евреи в России перестали быть полуподпольным народом, прошли, кажется, те долгие годы, когда само слово „еврей“ воспринималось едва ли не как оскорбление, а книги на еврейскую тему можно было пересчитать по пальцам одной руки. Теперь совсем наоборот. Из ящиков стола вытаскиваются и публикуются вещи, которые писались без всякой надежды на выход в свет. Для читающей публики открытием стал роман Юрия Карабчиевского „Жизнь Александра Зильбера“ („Дружба народов“), там же опубликована эпопея Аркадия Львова „Двор“, написанная в традициях одесской школы. Более того, если раньше перед героем-евреем автоматически опускался за-

градительный шлагбаум и безопаснее всего было это еврейство как-нибудь завуалировать, рассчитывая на читателя, умеющего читать между строк, то теперь, кажется, стало едва ли не модно подпустить на страницы своего произведения этакое чего-нибудь еврейского. Так, в повести Ольги Кучкиной „Философ и девка" второстепенный персонаж, ровно никакого участия в действии не принимающий, ни с того ни с сего наделяется древнееврейским именем (может, тут и есть какая-то символика, но докопаться до нее трудно). Впрочем, процесс появления русского еврея в современной прозе далеко не так однозначен, как это может показаться из беглого перечисления.

ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ

Начался этот процесс с мемуаров и документальной прозы, словно бы для того, чтобы поставить фигуру современного русского еврея в некий исторический контекст, показать, откуда он взялся. Журнал „Театр" в нескольких номерах опубликовал мемуары театроведа Константина Рудницкого, а также писателя и критика Александра Борщаговского о космополитической кампании конца 40-х годов. Им предшествовала публикация в журнале „Знамя,, (1988, № 9) рассказа Владимира Тендрякова „Охота".

Рассказ Тендрякова, пожалуй, тоже можно причислить к жанру мемуаров: в нем точно обозначено время - осень 1948 года - и место действия - Москва, а точнее, Москва литературная, от Дома Герцена, где расположен Литературный институт, до дома Ростовых, где находится ЦДЛ. Некоторые персонажи действуют в рассказе под своими собственными именами, а об именах других можно, при желании, догадаться.

Автор, в то время студент Литературного института, повествует о том, как разворачивалась на его глазах космополитическая кампания, как после директивного тоста Сталина за русский народ начался период „возвышенно болезненной гордости за все русское", как „газеты подымали русский приоритет и бичевали безродных космополитов", как в „Москве

да и по всей стране на газетных полосах шла повальная охота. Ловили тех, кто носил псевдонимы, загоняли в тупик и безжалостно раскрывали скобки". „Охота пуще неволи" - эта пословица, выбранная автором в качестве эпиграфа, как нельзя лучше передает атмосферу того страшного смещения всех понятий морали и нравственности, которое и определяло жизнь тех лет. Взять хотя бы эпитет „безродный". Ведь если подходить с мерками того времени, то и Сталин безроден: грузин, ставший во главе русского народа и возлюбивший его больше собственного - не парадокс ли? А когда друг выручает попавшего в беду товарища, ссужая его деньгами, и этот благородный поступок начинает фигурировать в доносах как антисоветская акция, деяние некоего подпольного центра - это уже и не парадокс, но чистая логика того времени, извращенная и противная всякому нравственному чувству, логика, вывернутая наизнанку и преподносимая народу как истина в последней инстанции. И что может быть слаще, чем ощущать себя „этой силы частицей", и до исступления верить, что и вправду „весь советский народ как один человек"... Разрушает эту идиллию единомыслия и согласия с самим собой случайный прохожий, привязавшийся к студентам на Тверском бульваре и заявивший им: „О вас проявляют отеческую заботу. Думай, как все, шагай по струнке... Вас учат ненавидеть". Урок, полученный от странного прохожего (в образе которого явно чувствуется влияние Достоевского: это что-то вроде двойника, некий непроявленный персонаж, несущий чисто идеологическую нагрузку - раскрыть глаза герою), становится уроком не инакомыслия даже, но просто - мысли. И тогда возникают странные и удивительные вопросы, которые в любом случае приводят к крамоле: какая разница между интернационализмом и космополитизмом? Почему можно - нужно - любить далеких негров и китайцев, но ненавидеть евреев, которые гораздо ближе, рядом, на соседней койке в общежитии, на соседнем кресле в зале ЦДЛ? И уж совсем крамольный - первым делом для вопрошателя - вопрос: если такая охота пуще неволи, то каков же

этот народ? Чем отличается от немцев, допустивших газовые печи и лагеря смерти? Но разве народ может быть в чем-то неправ? Двадцатилетний герой гонит от себя эти мысли, прогоняет прохожего, внушающего им ему, и тот уходит, задыхнувшись сдавленным стоном: „С кем?.. Кто?.. Кто живой?.. Пустыня!..” „Судьба отомстила мне за тебя, незнакомец, - горестно замечает Тендряков через много лет. - Время заставило меня поумнеть. Теперь я сам пытаюсь сказать то, о чем, мне кажется, другие не догадываются... И часто - ох, как часто! - меня не понимают даже самые близкие. И хочется скулить на фонари: „С кем?.. Кто живой?.. Пустыня вокруг!”

Пройдут еще годы - и в философской повести „Люди или нелюди”, написанной в 1975-1976 годах, а напечатанной в 1989, Тендряков окончательно сформулирует свои сомнения в собственном, самом лучшем, самом непогрешимом народе, давшем миру „великих человеколюбцев” Герцена и Льва Толстого, Достоевского и Чехова, народе, перед которым так истово преклоняется „безродный космополит” Юлий Искин из „Охоты”, и задаст беспощадный вопрос: „Мой народ, частицей которого я являюсь, - люди или нелюди?”.

Задача автобиографических записок „погорельцев 1949 года” Рудницкого и Борщаговского, пожалуй, более скромна и менее философична, чем у Тендрякова: он был снаружи, наблюдал все это со стороны, с позиции, пригодной для сопоставлений и выводов. Рудницкий и Борщаговский оказались в самом пекле, им было не до размышлений. Заметки Рудницкого называются непритязательно „Сорок девятый”, и пишет он для того, чтобы хоть на одном примере показать, как „нас коверкало время. 1949 год в этом смысле вполне выразителен. На изломе 49-го многое, дотоле мутное, двусмысленное, проступило неправдоподобно отчетливо, с арифметической простотой”. Почти сорок лет спустя рассматривает автор посеревшую вырезку из „Правды” от 28 января 1949 года - статья „Об одной антипатриотической группе театральных критиков”, где впервые появилась формулировка

„безродные космополиты”, которая „пришлась в самый раз, показалась меткой и оказалась ходкой. Она сразу пошла скакать по газетным страницам”.

Почему кампания началась с театральных критиков? Они, как верно замечает Рудницкий, были „избраны только для затравки широчайшей кампании по искоренению „космополитов”, охватившей, подобно эпидемии, всю страну”. Борщаговский пишет о том, что, начавшись „на театральном плацдарме”, борьба против „космополитов” становилась составной частью „наступления лженауки и лжекультуры на все здоровое, сохранившее верность истине и здравому смыслу. Родовой же чертой грязной возни в литературе и искусстве был антисемитизм. Говоря о людях „без рода и племени”, прибавляя затасканные эпитеты „дельцы” и „торгаши”, устроители шабаша понимали, чьим темным инстинктам они потрафляют, какие „эмоции” они могут разжечь в читающей публике”. Теперь, после воспоминаний Константина Симонова, мы точно знаем, что главным „устроителем шабаша” был не кто иной, как сам Сталин.

Рудницкий называет себя „космополитом” второго сорта и второго ряда, подчеркивая, что критикам, угодившим в первый ряд, выпала куда более тяжкая участь. Таким критиком первого ряда был Александр Борщаговский, по которому пушки борьбы с космополитизмом вели куда более прямой и убийный огонь. Парадоксальным образом заметки Борщаговского называются „Записки баловня судьбы”. Человек, с позором изгнанный отовсюду, заклеянный своими вчерашними товарищами (лишь у двух поднялись руки против решения собрания), лишенный возможности работать, печататься, добывать хлеб насущный для своей семьи да к тому же, наконец, просто выгнанный из квартиры с двумя малыми детьми, - и это он „баловень судьбы”? Да, в этом тоже - парадокс советской жизни, из тех, что так трудно объяснять иностранцам. „Счастливчик, баловень судьбы” - потому, что беда вышвырнула его из официального водоворота и он не был „поставлен перед необходимостью встать под ружье”, то

есть писать злобные, пасквильные статьи про своих же товарищей. Потому, что удалось отсидеться, отмолчаться, не высываться. Через много лет, спрашивая себя - хватило бы сил отказаться, если бы тогда ситуация переигралась и пришлось бы выступать с трибун, клеймить других, - автор честно признается, что скорее всего, политические соображения пересилили бы требования нравственности. „И все могло горько кончиться“. Вот и получается, что и вправду - Бог миловал. Ибо те, кто вступал в мутный поток кампании, даже с самыми нейтральными, чуть ли не с благородными (как в случае с Симоновым) намерениями - другой, мол, делает это грубее, подлее, противнее, - потом все равно уже не сумели отмыться. Да и „попытка цивилизовать кампанию“ не удалась: „Симонов попытался привнести подобие мысли в ругательский гул голосов, поискать истину в современности и истории. Окончилось это ужесточением надуманных вин „безродных космополитов“.

Заметки Борщаговского, насыщенные фактографическим, документальным материалом, примечательны еще и тем, что в них с полной ясностью показано, как безумие овладевает страной, как то, что никак не может считаться нормальным, становится обыденностью и жизнью. „Делалось все, - пишет он, - чтобы придать гонениям на „безродных космополитов“ видимость государственной нормы, исторической „справедливости“, естественного климата жизни страны социализма... Жизнь во лжи продолжалась. Ложь размашисто, невозбранно шагала по стране, продолжая коверкать судьбы“.

А ЧТО У ВАС?

В рассказе „Ассимилянты“ Бориса Косвина русский парень спрашивает еврейскую девушку, бросившую ради него мужа: „Что ты знаешь по-еврейски, кроме детских ругательств и сакраментального „азохн-вэй“?.. Держала ли ты когда-нибудь в руках талмуд? А если держала, что смогла в нем прочесть, какую мудрость?.. Когда отмечается праздник „пурим“? Кто

такие фарисеи? Между кем, собственно, велась иудейская война?“ Излишне говорить, что ни на один из этих вопросов Инна, выросшая в семье полностью ассимилированных евреев, ответить не может.

Похожий разговор был когда-то и у меня. В шестнадцать, когда получала паспорт, учительница немецкого, умнейшая женщина, еврейка, бежавшая от Гитлера, спросила: „А что ты там написала, какую национальность?“ Я не поняла: „Как это - какую? Я еврейка“. „Да? - усмехнулась моя собеседница. - Ты что, говоришь по-еврейски, читаешь, в синагогу ходишь? Какая же ты еврейка?“ Я потупилась. В самом деле, это выглядело как-то непонятно - ничего еврейского во мне, кроме записи в метрике, не было, отец мой погиб на фронте Великой Отечественной, не успев повидать меня, я даже алфавита еврейского не знала, в семье была огромная русская библиотека, и говорили по-русски, только дедушка с бабушкой иногда обменивались впечатлениями на идиш, надеясь что-то от меня скрыть. Уловка была прозрачна, но не срабатывала: меня с детства учили немецкому, и я их прекрасно понимала. А вместе с тем - как это, во мне ничего еврейского, когда с шести моих лет, стоило показаться во дворе, раздавалось это ненавистное шипение: „У, жидовка!“ Когда я уже в шестнадцать твердо знала, что в университет мне лучше не соваться - все равно не примут. Когда я постоянно чувствовала, что я чужая здесь. Ну, не то чтобы чужая, но и не своя. Вот ведь даже лучшая подруга в приступе задушевной откровенности сказала мне, вероятно, считая, что говорит нечто очень приятное: „Ты совсем на них не похожа“. И тогда - и на всю жизнь - я поняла, что ощущение еврейства в нашей стране приходит с ощущением изгойства: одно неотделимо от другого, одно порождается другим.

Героини повести Мариам Юзефовской „Ришельевская, 12“ могли бы, верно, повторить вслед за Ахматовой: „Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был“. Та же бедность, та же послевоенная нужда и скудность, что и у соседей, тот же тяжкий, непролазный быт, перешивание

платьев - от старшей сестры к младшей. А вместе с тем - все другое, и народ не их. И вот уже сосед в коридоре кричит, вспоминая, как забавлялся в гетто: „Юден, раус!“ - и затравленная тетка, так и не сумевшая выбраться из-под обвала воспоминаний о гетто, о том, как приходилось собственным телом платить за спасение семьи - не немцам, но „нашим“, - откликается на этот возглас всеми нервами, всеми фибрами своей замученной души и сходит с ума. В психиатрической лечебнице она постоянно молчит, вглядываясь куда-то вдаль и только изредка повторяя: „Их бин юде“.

„Какие мы евреи? - рассуждает двадцатитрехлетняя героиня рассказа „Ассимилянты“. - Куда подевалась вековая ироничная еврейская мудрость? Где мягкость, лукавство, понимание, терпимость? Во что мы превратились? Озлобленные, мелочные, изворотливые, деспотичные, но, главное, испуганные, на всю жизнь испуганные“. В рассказе Косвина показан один день еврейской семьи, три поколения которой живут в одной квартире. Старшее поколение - партийный дедушка, бывший ответственный работник, истоково собирающийся на собрание в ЖЭК и до смерти перепуганный мнимой пропажей партбилета, и типичная еврейская бабушка, проводящая весь день на кухне, готовая всех накормить, во всем разобраться, всем дать руководящий совет, среднее поколение - дочь, сын и зять и, наконец, молодежь, внуки. В центре рассказа - несколько взаимно переплетенных семейных трагедий более или менее крупного масштаба. Самая крупная - разрыв внучки с мужем всего лишь через полгода после свадьбы и появление нового поклонника, русского. Однако контрапункт рассказа составляет обнаружение на лестничной клетке надписи: „Бей жи-дов, спасай Россию!“ - которая и становится поводом к рассуждениям об антисемитизме и позиции семьи Бронштейнов. А позиция эта сводится к закрыванию глаз на происходящее вокруг, к нежеланию и неумению возразить, встать на собственную защиту. И потому смешно и напыщенно звучат вполне справедливые слова Бронштейна-среднего: „Они

должны чувствовать, что за каждое оскорбление, за каждое унижение они получают от нас отпор“. К отпору герои Косвина не готовы: старшие - принципиально, потому что не верят в возможность погромов: средние - из благоприобретенного конформизма и трусости: младшие - потому что решают эту проблему другим путем, вступая в браки с русскими и доводя ассимиляцию до логического завершения. Грустный рассказ написал Борис Косвин. И очень правдивый по достоверности и точности интонации, по узнаваемости характеров.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Возникают евреи и на страницах произведений писателей-патриотов, как они сами себя называют. Хищные, жадные, бездарные, несимпатичные, они появляются среди хороших русских людей, чтобы навредить им, испортить жизнь. Камертон такому изображению был задан пять лет назад Василием Беловым в его программном „Все впереди“, где еврей Миша Бриш обвинялся в том, что все и всех хочет захватить, присвоить. Мотивы присвоения евреями чужого добра - материального и духовного - назойливой нотой звучат в „патриотических“ произведениях.

В повести Юрия Козлова „Разменная монета“ еврей Филя Ратник возвращается из Америки через пятнадцать лет после отъезда для того только, чтобы отобрать жену у главного героя и увезти ее с дочкой в Америку. Филя изображен едва ли не как полный идиот, бывший бездарный студент, по три раза сдававший самые нелепые зачеты, сутулый, одышливый, жалкий и смешной. Ни время, ни эмиграция не пошли ему на пользу: „Почти лысый, с псевдоукраинскими обвисшими усами, с глупыми грустными глазами навывкате, в помятом пиджаке, с бесформенной фигурой махнувшего на себя человека“. И тем не менее красотка Татьяна готова бросить своего мужа и махнуть с Филей в сказочную Америку. Делает она это, по ее собственному объяснению, ради дочери: „Жить здесь бессмысленно и преступно. Здесь не будет ничего, мо-

жет быть только хуже". И бедный муж понимает, что жена уезжает не от него, но от государства, чугунной гирей повисшего на жизни его граждан. История „похищения" Татьяны неприятным евреем Филей равнозначна в его сознании и восприятию разграблению России иностранцами. Другой „иностраный" персонаж Козлова, бельгиец Дирек, на хорошем русском языке развивает перед героем свою идею превращения России в отстойник для захоронения радиоактивных отходов.

Еще более неприятен герой рассказа Александра Сегеня „Китайский огурец". И не просто неприятен - он представляет собой явную угрозу, причем на сей раз не для какой-то там отдельно взятой жены, но для целого человечества.

Сегень изображает своего героя в иронических тонах, кое-где граничащих с карикатурой. Его Лазарь Маркович смешон и нелеп во всем: в любви к жене с неуклюжим именем Азалия, в педагогических теориях и разговорах с сыном, в объяснениях с женой. Нелеп он и в своей науке, которая вовсе не спешит признавать его притязания. Между тем Лазарь Маркович разработал теорию, как сделать человечество счастливым. Он предлагает - ни много ни мало - вмешательство в генетический код: если человеку, положим, на роду написано стать Мандельштамом, то „развиваем Мандельштама. А нет особенных задатков, мы их искусственно вводим - этот будет программистом на ЭВМ, этот летчиком-космонавтом, этот, если угодно, пекарем". Случайно встретившийся ученому священник приходит в ужас от изложения этой теории: „Страшные вещи вы говорите, страшные. Слушаешь вас и укрепляешься в мысли, что как только наука перестает быть служанкой богословия, ее берет себе в домработницы другой хозяин (т. е., вероятно, сатана. - Е.Г.). Хотите взять на себя труд Бога? Не получится". Наконец, священник окончательно ставит точки над „i": „Ведь и у Гитлера была своя теория осчастливливания человечества. Так ли уж она хуже вашей? Только там, где у вас Моцарт и Шнитке, Цветаева и Вознесенский, так у него просто немец и все: а там, где у вас

человек без задатков или с дурными задатками, у Гитлера - не немец, не ариец, а еврей, славянин, негр, китаец, из которого надо сделать каменотеса и пекаря, и он будет счастлив, если будет знать, что на большее ему и нечего рассчитывать". Впрочем, автор дает нам понять, что даже для его героя-человеконенавистника, может быть, еще не все потеряно: происходит этот разговор в Лазареву субботу, в день воскрешения Христом Лазаря. Тут аналогия явная и недвусмысленная: даже еврей может спастись, воскреснуть к новой жизни, если только вслушается, вдумается в потаенный смысл этого праздника. Беда, однако, в том, что Лазарь Маркович как раз на это-то и неспособен...

Александр Борщаговский, перекидывая мостик из вчерашнего в сегодняшнее, говоря о том, что в конце 40 - начале 50-х „в качестве „дрожжей", бродильного субстрата и подбрасывалась, как всегда, „еврейская опасность", замечает: „Все хранится в целости - старое оружие, бывшие лозунги обскуратизма, вчерашняя жестокость... Откройся сегодня новый подход против „вейсманистов-морганистов" или „космополитов", кто знает, сколько озлобившихся в долгом бездействии сторонников оказалось бы у вожаков и пророков новых репрессий?"

Да, прежние традиции сохраняются, живут и процветают. Вот и в последнем из увиденных „Наших современников" внизу страницы читаю примечание к статье о „запрещенном Блоке": „Орлов В.Н. (псевд., настоящая фамилия Шапиро) - ленинградский литературовед, фактически главный редактор восьмитомника А.А. Блока 60-х годов, полный монополист всего послевоенного „блоковедения".

Конечно, одно дело - когда Блока „запрещает" человек с хорошей русской фамилией Орлов, и совсем другое, гораздо более страшное - когда Шапиро: тут нити далеко тянутся.

Господи, доколе... Но процесс идет, азартно, шумно, безобразно, скандально. И уезжают из России русские евреи, не знающие ни еврейских праздников, ни собственного языка. Язык у них родной один - русский.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВАРЛАМА ШАЛАМОВА

Интервью Джона Глэда
с Ираидой Павловной Сиротинской

Я переводчик Шаламова, но я его не знал и переводил, как переводят давно умершего писателя. Ираида Павловна Сиротинская - близкий друг Варлама Тихоновича, и она любезно согласилась рассказать о его жизни. Заместитель директора Центрального государственного архива литературы и искусства И. П. Сиротинская принимает самое деятельное участие в издании произведений Шаламова.

Джон ГЛЭД

Д.Г. По нашим данным, Шаламов провел 17 лет в лагерях. Это правда?

И.С. Да, в лагерях; и в ссылке три года, всего 20 лет.

Д.Г. И какова история его ареста?

И.С. Родился он в Вологде 18 июня (по старому стилю) 1907 года. И всегда праздновал свой день рождения по старому стилю, хотя в паспорте значится 1 июля. Он родился в

семье священника, принадлежавшего к обновленческой церкви, отца Тихона, принимавшего участие в диспутах. Он, как говорил Варлам Тихонович, сражался за Бога, защищал веру от нападок атеистов. Закончил Шаламов школу в 1921 году, поступить в вуз ему в том году не удалось, и в 24-м году он уезжает в Москву. Но тогда не было свободного приема в университет, и он два года работает дубильщиком на Кунцевском кожевенном заводе. В 1926 году впервые был объявлен набор в Московский университет, и он поступает туда на факультет советского права. Это кажется неожиданным, ведь он осознал свою художественную одаренность очень рано, понял, что будет писателем. У него была огромная жажда непосредственного участия в жизни, он хотел не описывать, а делать что-то. К тому же у него было сильно врожденное чувство справедливости. Он считал, что, будучи юристом, сможет более действенно защищать эту справедливость. Наряду с таким ярко выраженным стихийным началом в его натуре было очень сильное рационалистическое, логическое начало. Вообще он был человеком очень противоречивым (как и всякий большой человек) и тем не менее очень цельным. И вот, охваченный жаждой этой справедливости, в 27-м году он примкнул к подпольной троцкистской организации комсомольцев. Варлам Тихонович не то чтобы был особым поклонником Троцкого, он просто считал, что это единственная сила, способная противостоять грядущему тоталитаризму, наступление которого он очень чувствовал. Он рассказывал, как это было. Его привели и прямо поставили в ряды той демонстрации, которую разгоняли в ноябре 1927 года, у выхода с Тверской улицы на Манежную площадь. Потом члены организации распространяли завещание Ленина, его письмо к съезду, где давались характеристики всем его возможным преемникам. Это было напечатано в подпольной типографии, где и попал в засаду Варлам Тихонович, когда пришел за очередной порцией литературы. Случилось это 19 февраля 1929 года. Этот день он всегда называл началом своей общественной жизни. Члены организации обсуждали, как

себя вести, они понимали, что могут быть арестованы, и было решено все отрицать и от показаний отказаться. Перед ними был великий пример народовольцев. Шаламов так и поступил: он отказался давать какие бы то ни было показания и не подписал ни одного протокола. Вплоть до того, что он отрицал знакомство с людьми, с которыми жил в Черкасском переулке, в общежитии. После чего был заключен в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, и те полтора месяца, что он провел там, он вспоминает, сколь это ни выглядит парадоксальным, как счастливые дни своей жизни. Он говорил: „Я чувствовал радость, что нахожусь в том месте, в котором должен находиться русский интеллигент, то есть в тюрьме“. Он так и не подписал показаний и получил самое тяжелое наказание. Впрочем, тогда были более „мягкие“ времена, всех отправили в ссылку, а Варлам Тихонович получил три года концлагерей, как социально опасный элемент. Как он пишет в „Колымских рассказах“ и в „Вишерском антиромане“, он пережил этап, заступился за избиваемого сектанта, и его самого избili, выбили зуб, вывели на мороз раздетым, как в рассказе „Первый зуб“.

Д.Г. Так что, это автобиографический рассказ?

И.С. У него все рассказы автобиографичны...

Д.Г. Ну, не все, наверное...

И.С. Почти все. Может быть, за исключением „Последнего боя майора Пугачева“.

Д.Г. А „Заговор юристов“?

И.С. Полностью автобиографичный. Это он и был арестован. Как бывший юрист; он все же несколько курсов проучился на юридическом. Именно поэтому - „Заговор юристов“. Как я уже сказала, 13 апреля 29-го года он впервые перешагнул ворота лагеря. Сначала работал на лесопильном заводе, а потом его взяли в отдел, который занимался организацией труда. Как грамотного человека и с хорошим почерком...

Д.Г. Разве у него был хороший почерк?

И.С. В 57-м году он тяжело заболел болезнью Миньера, и почерк страшно испортился. А до этого времени у него был

идеальный, каллиграфический почерк. И вот это не один раз сослужило ему службу, и его грамотность, конечно, и юридическое образование. Он работал в отделе, который назывался УРС (учет рабочей силы). В октябре 31-го года с зачетом рабочих дней он досрочно был освобожден. Ему предложили остаться работать там по вольному найму, и он стал заведующим бюро экономики труда (БЭТ) на Березниковском комбинате, на Северном Урале, близ Вишеры. Он был в вишерских лагерях, и там же неподалеку строился Березниковский химкомбинат, одна из знаменитых строек первой пятилетки. Проработал он там недолго, в конце 31-го года получил отпуск, съездил в Москву, узнал, что его родители живы, товарищи живы, и в 32-м году решил вернуться в Москву. Еще раньше в лагере он познакомился со своей первой женой, Галиной Игнатьевной Гудзь.

Она приехала навестить своего мужа, фамилию которого мне установить не удалось, и увидела там Варлама Тихоновича. Завязался очень бурный, „скоропалительный“ роман, и, когда в 1932 году он вернулся в Москву, он возвращался уже с ней. В Москве он стал работать в редакциях ведомственных профсоюзных журналов „За ударничество“, „За овладение техникой“ и так далее. Они размещались в Доме Союзов, кстати, в бывшем Дворянском собрании. Я составила библиографию, он страшно много печатался в то время. Бесконечные очерки, фельетоны, корреспонденции. А ночами работал над рассказами и стихами.

Д.Г. Это были рассказы о лагере?

И.С. Нет, не о лагере. Первый его рассказ был напечатан в 36-м году в первом номере „Октября“. Рассказ назывался „Три смерти доктора Аустино“ - о фашизме: конфликт фашизма и гуманного человека. Доктор Аустино - врач, который оказывает помощь жене начальника тюрьмы, а после этого его расстреливают в этой же самой тюрьме. После этого Шаламов печатал рассказы и большие очерки в журнале „Вокруг света“, в горьковском „Колхознике“, в „Литературном современнике“... Но он был „меченым“, и судьба его была решена.

Д.Г. А политикой он больше не занимался?

И.С. Нет, он порвал с ней. Когда он вернулся, его же товарищи ему сказали: „Ну ты, дурак, зачем же ты отказывался давать показания?“ Шаламов понял, что его предали, никто не попытался его вызволить, никто не протестовал. Тогда-то он решил посвятить себя литературе. Он всегда говорил: „В моей жизни были две линии. Первая - это непосредственное участие в жизни, борьба за справедливость. И вторая - художественное творчество“. Он понял, что его судьба - это творчество, которому он посвятит свою жизнь. Но он, увы, был „меченым“, и в ночь с 11 на 12 января 38-го года его арестовали. Правда, следствие прошло без побоев, бить стали только со второй половины 38-го года, когда разрешили „метод номер три“, то есть пытки. Он опять ни в чем не признался, никаких заявлений не подписал. Его осудило Особое совещание (ОСО) на пять лет за контрреволюционную троцкистскую деятельность (КРТД) с отбыванием в лагерях. 14 августа 38-го года вместе с большим этапом, который прибыл на пароходе „Ким“, он высадился в бухте Нагаево Магаданской области. Он мне рассказывал, что, когда увидел серое огромное море и маленький пароход, у него сердце сжалось. Это есть в его рассказе: „Я подумал, нас привезли сюда умирать“.

Д.Г. Какой рассказ?

И.С. „Причал ада“. С этого и начался крестный путь на Колыму. Его отправили на золотой прииск „Партизан“, и вот там, хотя его снова пытались погубить, получилось, что спасли. Он был самым ослабевшим в бригаде, и вообще ему оставалось жить месяц-два, он это понимал. И тут, в декабре 1939 года возникает дело юристов, его везут в Магадан. Везут, казалось бы, расстреливать, а, как вы помните, в „Деле юристов“, все обернулось наоборот. И его выпустили на магаданскую пересылку, в тифозный карантин, где он получил какую-то передышку. Он пробыл там до апреля, а весной 39-го года попал на Черную речку, это была геологическая разведка. Здесь, конечно, была более легкая работа, чем в за-

бое. Он помогал топографу, носил теодолит. Позже он писал об этом в рассказах „Триангуляция третьего класса“, „Иван Богданов“. Это на Черной речке. Он несколько раз почти доходил до смерти. И несколько раз воскресал. Геологическая разведка оказалась безрезультатной, ее закрыли, и Шаламов попал на угольный забой Кадычкан и Артакалу. У него есть рассказ о том, как они крутят ворот и вытаскивают вагонетку. И тут его пятилетний срок кончается, но он был оставлен до конца войны. Озабоченные соблюдением порядка, начальники пустили в ход весь аппарат стукачей-доносчиков. Были там два стукача - Кривицкий и Заславский, которые писали доносы на сверхсрочников.

Д.Г. В деле Пастернака фигурировал некий Заславский... Он был один из главных...

И.С. Это, наверное, не тот Заславский, хотя он потом вернулся и работал журналистом...

Д.Г. Может быть, тот?..

И.С. Это надо проверить. Варлам Тихонович не указывает имя, но говорит, что Заславский был известным журналистом. Кривицкий, по словам Шаламова, был заместителем наркома какого-то оборонного министерства. Вот они вдвоем писали доносы. Варлам Тихонович был одним из тех, на кого они донесли. 23-го июня 1943 года состоялся суд, на котором Варлама Тихоновича обвинили в том, что он восхвалял Бунина и называл его русским классиком, и за все это ему дали еще десять лет. Он уже был готов к тому, что его расстреляют. Но ему дали десять лет с литерами „АСА“-антисоветская агитация по 58-й статье, десятый пункт. И это было сравнительно немного. Казалось, этот литер новый, легкий, заслонил тот, более страшный, - с литером КРТД он не мог работать ни на каких работах, допустим фельдшером. Словом, это была просто смерть. Перед этим он сидел в камере и вышел оттуда таким, что его ветром качало, он весил немногим больше сорока килограммов. Варлам Тихонович был высокий человек, более 180 см, такой могучий, северный викинг. Благодаря этому он выдержал золотые забои,

тогда как другие умирали. После этого он попал на витаминную командировку, а потом, осенью 43-го года, оказался в больнице. Там он подружился с врачами, и, хотя вскоре его отправили на прииск „Спокойный“, все-таки ему удалось, по просьбе врачей, снова попасть в больницу. На прииске был на общих работах, опять дошел до истощения, но его второй раз отправили в больницу, где он пробыл около полугода; его там устроили работать культторгом. Так что если кто и спас Варлама Тихоновича, так это врачи. Потом, где-то через полгода он был отправлен на ключ „Алмазный“. Там начальник лесорубов просто не давал хлеба, если не выполняли норму, и Варлам Тихонович оттуда сбежал. За это его арестовали, но не стали судить, так как у него только что начался срок, и его отправили в штрафную зону, в Джелгалу, город на горе. Там, как рассказывал Шаламов, людей просто сбрасывали с горы. Тех, кто не мог идти, привязывали к лошади, и они, головой стуча по земле, волоклись. Наверное, там он уже в который раз приготовился умереть. Но был уже 46-й год, и туда привезли репатрированных из Италии. Поскольку вчерашние солдаты были гораздо более опасным контингентом, чем дошедшие „до ручки“ заключенные, этих последних перевели в другую зону, в Сосуму. Там Шаламов встретил знакомого врача Андрея Максимовича Пантюхова. Он всегда считал, что Пантюхов его спас. И хотя тот тоже был заключенным, он, рискуя своей лагерной карьерой, в 46-м году направил Варлама Тихоновича на курсы фельдшеров, которые в декабре 46-го года он окончил. Тогда-то он и сказал: „Я понял, что останусь жить!“ Шаламов стал работать в центральной больнице для заключенных, сначала в хирургическом отделении, потом, больше полугода, на лесной командировке лесорубов. Здесь он стал записывать стихи. Раньше он жил в бараках, не было бумаги, а теперь была отдельная избушка-амбулатория, где он принимал больных и спал. Он писал, сшивал тетради из старой бумаги, они и сейчас целы, в ЦГАЛИ находятся. Многие стихи из „Колымских тетрадей“ написаны в этой избушке. После этого он опять вернулся в

больницу и заведовал приемным покоем. Об этом рассказы - „В приемном покое“ и „Геологи“. Недавно в Москве были „Шаламовские чтения“, и меня разыскала врач, Елена Александровна Мамукашвили, которая работала с Варламом Тихоновичем в этой больнице и которая отвезла „Синюю тетрадь“ Пастернаку. Она говорит, что нигде и никогда не видела такого порядка, какой был в отделении Шаламова, в хирургическом или приемном покое. Какие бы ни были врачи, хозяином отделения был он. Он никогда не повышал голоса, у него все блестело, все вели себя безупречно. И когда один врач попытался выпить спирт, предназначавшийся для больных, Варлам Тихонович очень решительно это пресек. К тому же он вел беспощадную борьбу с блатными. Относился он к ним с ненавистью и презрением.

Д. Г. Есть рассказ, где заключенный симулирует болезнь, „Шоковая терапия“. Прототип врача - Шаламов?

И.С. Он был фельдшером.

Д.Г. Но он описывает события с точки зрения врача, разоблачающего симулянта...

И.С. Это как раз не автобиографический рассказ. Мерзляков - это не он...

И здесь, в больнице, в октябре 51-го года заканчивается срок его заключения. Но Шаламов остается работать в центральной больнице. В октябре ехать было невозможно, зима на Колыме очень суровая. Весной он пытается уехать на материк, но его не отпускают. И он начинает работать на дорожных командировках около полюса холода Оймякон. Рассказ „За письмом“ (где он едет за письмом Пастернака) - это происходило как раз у полюса холода. Только осенью 53-го года ему удастся уехать „на материк“. Есть рассказы об этом: „Поезд“ и „В погоне за паровозным дымом“. У него куда-то в Среднюю Азию было выписано направление. Паспорт ему был выдан такой, с которым разрешалось жить лишь в городах с населением менее десяти тысяч человек. В ноябре 53-го года он приезжает в Москву, его встречает на вокзале жена Галина Игнатьевна, она же устраивает ему

встречу с Пастернаком прямо на следующий день после приезда. Но жить в Москве ему не разрешалось, и он был вынужден отправиться в Калининскую область, жил в поселках Озерцы, Туркмен и других. Там были комнаты на пять-шесть человек, пьянство, драки. Здесь Шаламов, еще не реабилитированный, начинает писать „Колымские рассказы“. Первые колымские тетради помечены 54-м годом. Один из первых рассказов „Ночь“. „В лагере, - говорил он, - мне приходилось выбирать между жизнью и прозой. И я выбрал жизнь“. Стихи были более безопасны, о прозе кто-нибудь донес бы. Первый сборник „Колымских рассказов“ в основном и написан в 54-55-х годах, там, в Решетниково, и в двух поселках торфоразработок. Эти рассказы словно копились внутри под давлением, такая на них печать спрессованного какого-то творческого порыва, алмазной прочности. Вот, кстати говоря, сейчас выходят иные произведения, и почти каждое предваряется словами: „Это было переработано“. Невозможно представить, что „Колымские рассказы“ можно переделать. Это проза, которая не поддается расчленению. Написанное мыслилось им не как отдельные рассказы, а как циклы эпопеи, и разрывать его рассказы невозможно, нельзя рассматривать отдельно. Это как от дерева отломать веточку. Она, конечно, дает представление о дереве, но надо смотреть на дерево целиком, чтобы понять, что это такое. У него рассказы „прорастают“ друг в друга. Можно было, конечно, подготовить избранное, но Варлам Тихонович сетовал на западных издателей за то, что они нарушают его авторскую волю.

Д.Г. Он был недоволен Романом Гулем, редактором нью-йоркского „Нового журнала“.

И.С. Да, очень недоволен, он был просто в бешенстве. Гуль печатал его аптекарскими дозами. Первую книгу Варлам Тихонович отправил на Запад через Надежду Яковлевну Мандельштам. Насколько я знаю, это была единственная попытка публикации, предпринятая с его ведома. Но Шаламова очень разочаровало то, что сделали с его первой рукописью.

Он ждал, что его издадут отдельным томом, что будет удар, резонанс, а из-за публикации маленькими дозами исчез эффект. Позже он счел, что Запад его не оценил, и перестал поддерживать отношения с западными корреспондентами. Так что все последующие публикации были взяты из „самиздата“.

Д.Г. Журнал „Грани“...

И.С. Да, да, это уже пересылали разные люди, а он об этом и не знал. С ним обращались, как с покойником. И это его не устраивало. Вообще это был человек окончательных решений. Так, он в один прекрасный день расторг первый брак. Потом в одну минуту бросил курить. Когда он что-то решал, то делал это сразу и навсегда. Вот мы тянем, колеблемся, а он отрезал, как ножом. Так, в 56-м году он оставил первую жену и дочь и никогда больше с женой не виделся, хотя они жили в одном городе.

Д.Г. А дочери сколько лет?

И.С. Она родилась в 35-м году. Одним словом, он стал писать „Колымские рассказы“. И одновременно с этим обратился в Прокуратуру СССР с просьбой о реабилитации. Переписка эта тянулась где-то около года, но, в конце концов, 18 июля 1956 года Варлам Тихонович был реабилитирован. Справку об этом он получил ровно через месяц - 18 августа. Это было снятие судимости и, соответственно, снятие запрета жить в больших городах.

Он возвращается в Москву, пишет первой жене письмо о том (черновик этого письма сохранился), что с момента встречи на Ярославском вокзале ему стало ясно: жизнь их пойдет по разным путям. Она намучилась, тоже была в ссылке из-за него с ребенком - в Средней Азии, в Чарджоу, и жила в Москве без прописки. Но она не одобряла писание „Колымских рассказов“, считала, что этим не надо заниматься. Он же признавал ее подвиг, подвиг женщины, которая писала ему по сто писем в год на Колыму, но даже ради нее он не мог предать своих „нетленных мертвецов“, как он сам говорил. В письмах Пастернаку он утверждает, что для него главное - это лю-

бовь к стихам и любовь к жене. Шаламов мне говорил, что после разрыва просто метался по Москве. В воображении он создал себе почти Мадонну, это своего рода романтизация, а когда через 17 лет вернулся, то увидел обыкновенную женщину. То, чем она была, не совпало с тем, что он навывдумывал. Я познакомилась с Галиной Игнатьевной, когда собирала архив Варлама Тихоновича.

Д.Г. Она жива?

И.С. Нет, она умерла в году 84-м.

Д.Г. Она вам отдала архив?

И.С. Нет, к сожалению, она уничтожила его письма с Колымы. Я к ней пришла именно за тем, чтобы попросить колымские письма. Как раз в это время (1966 год) Варлам Тихонович отдал нам свой архив. Там были письма Галины Игнатьевны, и я, не ссылаясь на него, сама ей позвонила. Она дала мне кое-какие фотографии, еще кое-что, но письма были уничтожены. Это, конечно, большая потеря, хотя ничего особенного он ей писать из-за цензуры не мог. Расставшись с женой и дочерью, он женился на Ольге Сергеевне Неклюдовой, писательнице, она умерла в прошлом году. Я тоже была с ней знакома. Обе жены, надо сказать, были очень милые женщины. Он стал жить у Ольги Сергеевны, сначала на Гоголевском бульваре, потом на Хорошевском шоссе - в районе Беговой. И продолжал писать „Колымские рассказы“, это было главным делом его жизни.

Д.Г. Он получал пенсию?

И.С. Пенсия была 42 рубля 30 копеек. На эти деньги жить было невозможно. Но он был человек слишком гордый и не пользовался ничьей помощью. Он говорил, что за 3 рубля человек получает звание его благодетеля. Благодетелей он терпеть не мог и трех рублей не брал. Но надо было на что-то жить, и он работал рецензентом в „Новом мире“ - на самотеке. Это ужасная работа, надо было читать тонны рукописей графоманов и отвечать им так, чтобы не обидеть. Страшно подумать, на что он расходовал силы. Еще один эпизод я забыла рассказать. В 56-м году, еще до возвраще-

ния, он стал работать корреспондентом журнала „Москва“. В 57-м году кончалась первая оттепель, и разгоняли этот журнал: у него было такое ощущение, что сейчас снова наступит 37-й год. Это было потрясение для него. Вот тогда он упал на улице - „Припадок“, вы помните рассказ - и очень тяжело заболел. Он попал в Боткинскую больницу, у него была болезнь Миньера - нарушение равновесия, шум в ушах, страшные головные боли. Я смотрела заключение о состоянии его здоровья, у него все было больное - и печень, и сердце, и нервы. Но, конечно, он был человек огромной воли, ему нужно было выжить, видно, он ощущал свое предназначение. После этого сокрушительного удара постарел лет на десять. Еще из лагеря пришел могучим мужчиной, а тут вдруг стал человеком пожилым. И все же работал над двумя сборниками - „Левый берег“ и „Артист лопаты“ (1959-1965 годы).

Познакомились мы в марте 66-го года. Я прочитала его рассказы в „самиздате“, это было духовным потрясением. К тому времени, в 1965 году, он развелся уже с Ольгой Сергеевной. Нельзя даже сказать, что кто-то был виноват, просто два писателя в одной, тем более маленькой квартире - это слишком много. Жизнь не сложилась, хотя он очень хорошо относился к Ольге Сергеевне. Он получил комнату в том же доме, этажом выше и с 66-го года писал, что называется, на моих глазах. Он говорил, что в нем что-то клокочет и ему надо высказаться. Я была слушателем благодарным, понимала его место и в литературе, и в жизни и относилась к нему... даже трудно слова подобрать... и он это, конечно, чувствовал. Он говорил, что, может быть, не писал бы дальше цикл „Колымских рассказов“, если бы не было такого слушателя. Даже посвятил мне цикл „Воскрешение лиственницы“. Я обычно о чем-то спрашивала, он рассказывал, рассказывал, а в другой раз, когда я приходила, уже были написаны рассказы. Писал, конечно, он один, но какой-то первый эмоциональный толчок давали наши беседы. Вот „Четвертая Вологда“... Буквально при мне написана. Многие другие поздние рассказы.

Начиная с 1961 года выходят книжечки стихов Варлама Тихоновича. Всего вышло пять таких крошечных книжечек. Там есть стихи из „Колымских тетрадей“, но, как правило, очень прореженные, с отрубленными или исправленными строками. В 1972 году он переехал на другую квартиру на Васильевскую улицу, около чехословацкого посольства и Дома кино. В 70-х же годах, со второй половины, стало резко ухудшаться его здоровье. Но у него, видимо, снова включилась программа выживания, жесткая программа - все нацелено на то, чтобы выжить. Ни минуты в сторону. К нему вернулись кое-какие лагерные привычки. Особенно с конца 79-го года, и это тяжело было видеть. Была цельная личность, он говорил, что „сам себя собрал из кусочков"... Когда физические силы оставляют человека, душевные тоже, к сожалению, его покидают, и у него эти „кусочки" словно стали разъединяться. О нем что не скажешь, можно тут же сказать прямо противоположное. Можно сказать, что он пророк по складу личности, то есть человек нетерпимый, проповедующий какую-то истину, которую он осознал, как конечную. И в то же время он отшельник, которому ничье мнение не интересно. Да, он был личностью очень цельной. Я часто думаю, в чем основа цельности? Как мне кажется, основа его цельности - нравственного порядка. Он говорил: „Все думают, что я очень сложный, а я простой, моя мораль элементарна". Но попробуйте жить по элементарной морали, то есть не лжесвидетельствуй, ни в малом, ни в большом, не укради, не убий... И этой элементарной моралью он никогда не поступался. Он почти никого не подпускал к себе близко, и большая часть его знакомств заканчивалась тем, что он спускал человека с лестницы.

Но, тут, наверное, надо сказать и о письме 72-го года. Многие строят догадки, а это все происходило на моих глазах. Он говорил, что письмо следует расценить, как пощечину всем тем, кто спекулирует на чужой крови. Это были наши некоторые диссиденты, которые хотели из него сделать знамя, идола, святыню. Он говорил: „Они затолкают меня в яму и будут

писать петиции в ООН. Ты сам прыгай в яму, а не толкай другого". Он был против использования его имени помимо его воли. Он все-таки прежде всего считал свои рассказы искусством. Не политическим актом, а искусством. Из них же пытались сделать политический акт. И это ему не нравилось.

Д.Г. Но нельзя же отрицать политический элемент, это смешно.

И.С. Но использовать эти рассказы только в политических целях - это сводить на нет их художественное воздействие. Он считал, что так не должно быть. Его рассказы имеют политическое значение, но в то же время это - постижение мира средствами искусства, это - откровение души. И последняя отдушина, которая у него была, это публикация стихов. А все эти „Посевы", которые он упоминал, и радио „Свобода" перекрывали ему последние возможности публикации здесь. Книжка „Московские облака" долго не выходила, он метался по издательству, пытаясь выяснить, в чем дело, в конце концов, нашлась добрая душа, которая сообщила, что надо писать письмо, без этого опубликовать не будут. То есть ему перекрывался последний выход, и он должен был вообще просто лечь в могилу. Здоровье его было на исходе, он не годился для политической борьбы, это не Солженицын, который был здоров физически и значительно моложе Шаламова. Письмо он написал сам. Говорят, что его принудили к этому, но на него насилием невозможно было воздействовать. Это были его собственные слова, я видела черновик письма, он пригласил меня и показал черновик. Я ему, правда, сказала, что это не надо посылать, я чувствовала, что этого не надо делать. Шаламов мне сказал (он меня „Красной Шапочкой" звал): „Ты - Красная Шапочка и в мире волков ничего не понимаешь". Я обиделась и ушла, а надо было остаться. Я стала уже вычеркивать отдельные фразы, и он их не оставил. Надо было бы еще немножко вычеркнуть...

Д.Г. И черновик остался?

И.С. Да, остался.

Д.Г. И он был еще резче?

НС. Да, еще резче. Черновик был даже не один. К тому же он написал историю своего письма в „Литературную газету“. Это было в феврале 72-го года, кажется, 23 февраля. Он написал его в крайнем раздражении. Надо сказать, что тут же принесли с курьером верстку.

Д.Г. Принесли верстку письма или книги?

И.С. Письма. И он мне говорит, что-то со стихами они так не торопятся, а вот письмо...

Д.Г. Так что письмо - это была та цена, которую он заплатил за книжку?

И.С. За возможность печататься.

Д.Г. Но он пошел дальше, чем обязан был?

И.С. Да, безусловно. Я вот за это себя и корю, что мне надо было остаться и вычеркнуть побольше. Я не ходила к нему целую неделю, потом он позвонил, попросил прийти, и, когда я пришла, он буквально рыдал.

Д.Г. Жалел?

И.С. Не то чтобы жалел. Он просто плакал и говорил, что он не такой, каким я его считала, что он свалился в яму, написав письмо. Но кто мог осудить этого человека? Это, в конце концов, его право.

Д.Г. Но я знаю человека, у которого висел портрет Шаламова в его квартире, а после этого он портрет снял. И на Западе была реакция.

И.С. К нему приходили, пытаюсь поддержать. Столярова Наталья Ивановна, Федот Федотович Сучков, автор его скульптурного портрета, Евгений Борисович Пастернак. Но он просто всех выгонял. Он писал, находясь в состоянии аффекта. Но через две недели, когда я пришла, он уже реабилитировал себя в собственных глазах и стал говорить, что для этого поступка требуется гораздо больше мужества, чем если бы он ничего не писал.

Д.Г. Значит, он предал свои рассказы?

И.С. Но главное, что он продолжал писать, писал „Колымские рассказы-2“, по фону еще более мрачные, чем первые. В первых присутствует еще сильная личность автора, пере-

жившего все, а эти были очень безрадостные. Например, „Перчатка“, „Афинские ночи“, опубликованные в „Новом мире“. Он писал их до 73-го года. И тогда же он написал стихи „Славянская клятва“: „Клянусь до самой смерти мстить этим подлым сукам“. Имея в виду всю эту камарилью. Он на самом деле не отрекся от своих „Колымских рассказов“. Но он не такой человек, чтобы раскаиваться. Он должен был сделать усилие и осознать себя правым. И после этого письма начался процесс распада личности.

Д.Г. Физического распада?

И.С. И физического, и вообще распада личности. В 73-м году он писал, что это хороший год в его жизни - много написал стихов и прозы. Но этого хватило ненадолго. Это было тяжелое зрелище, страшнее смерти. Здоровье стало ухудшаться, он стал хуже видеть, обострилась болезнь Миньера. В 79-м году Литфонд устроил его в дом для престарелых. Я его там навещала. Он очень не хотел туда ехать, но я не могла его содержать, у меня было трое детей. Он даже хотел вернуться к первой жене и просил меня ей позвонить. Я позвонила, но она сказала, что у нее был недавно инсульт. Я позвонила дочке Лене, но та сказала: „Я не знаю этого человека“. Я приходила в дом престарелых, он диктовал стихи, воспоминания. Стихи часто диктовал из „Колымских тетрадей“. Видимо, он опять почувствовал себя, как в лагере. Он, например, повязывал полотенце на шею, как шарф, чтобы не украли. Тщательно считал приносимые яблоки, вел учет, чтобы не украли. Я спрашивала, как дела. И он говорил, что, в общем, хорошо, хорошо кормят.

Д.Г. Где этот дом?

И.С. Это у метро Планерная, улица Лациса. Там такие четырехэтажные корпуса, и его комната была 244. Сначала в комнате с ним жил какой-то то ли генерал, то ли прокурор, старичок, потом его удалили, и у Шаламова была отдельная комната. Я приходила, он лежал, сжавшись в комок, потом уже ничего не видел. Узнавая меня по руке, вставал, усаживался на стул и диктовал стихи.

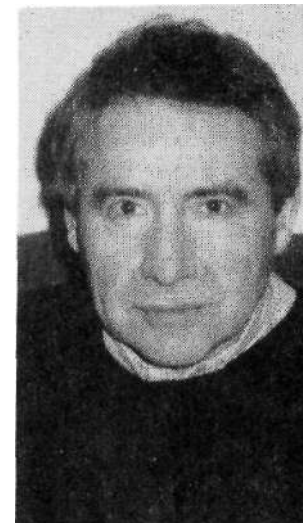
Д.Г. Когда он ослеп?

И.С. Когда его поместили в дом престарелых. Там все это стало прогрессировать. Его отец ослеп из-за глаукомы. Туда, в этот дом, я принесла ему лондонскую книжку, вышедшую в 78-м году. Он посмотрел, потрогал, увидел, что толстая книжка, и спросил: „А деньги где?“ Я сказала, что денег нет. Деньги для него означали независимость. Были бы деньги, можно было бы нанять сиделку. Это все стоит дорого. Но к этому времени он, правда, 72 рубля получал, ему в 65-м году прибавили. По показаниям свидетелей, был установлен его горняцкий стаж на рудниках - 10 лет, и ему дали льготную „большую“ пенсию. И вот на 72 рубля он и жил. По его просьбе я предложила стихи в журнал „Юность“, и вышла публикация в номере восемь. Он очень радовался, дарил всем экземпляры. Последний раз я его видела в январе 82-го года, когда пришла поздравить с Новым годом, чего-то принесла. Все было так же, он узнал меня по руке, сел, продиктовал стихи. Все, как всегда, так что я даже не встревожилась, а его, оказывается, 15 января перевели в другой интернат - для психохроников, и 17 его не стало. Конечно, потрясение, простуда. Мне позвонили и сказали, что он умер.

Д.Г. У него маразма не было?

И.С. Он был труднокоммуникабелен: слепой, глухой. Самое страшное, что внутри этого немощного тела был кусочек жизни, поэзии. Он диктовал воспоминания. Он говорил плохо, почти ничего не слышал, не видел, руки дрожали. Но сказать, что он был невменяем, нельзя. Конечно, были такие отклонения, что он прятал простыни, которые ему стелили, при мне не давал менять белье - так боялся хищений, а потом прятал под матрац. Но это включилась программа выживания, как в лагере. Страшно, что я не слышала его последних слов, мне рассказывали, что он пытался что-то сказать...

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО



Борис ПИСЬМЕННЫЙ

СУБУРБИЯ

В нашем доме тогда остановились очередные гости из Союза, прибывшие на рекогносцировку местности.

Я проснулся от какого-то потустороннего свечения в спальне, как в фильмах Стивена Спилберга, и, когда совершенно открыл глаза, свечение продолжалось. Все было как под водой. Я решил, что или еще сплю, или вчера намешали с гостями - „Баллантайн" и какое-то „Шато..." и подаренный „Рижский бальзам". Я сглотнул горечь и увидел, что окна, как марлей, затянуты снегом. Русские привезли снег точно на Рождество.

Выезжать из дома надо было минимум за час, чтобы к девяти добраться до Кэнделла, штат Иллинойс, где я тогда работал в страховой компании. Наш пригород - обычная американская „субурбия", весь за ночь был укрыт пышным, новеньким снегом. В приподнятом настроении духа катил я, вспоминая подмосковные лыжные станции Опалиху, Раздоры, и слушал по радио музыку.

В снег американцы исключительно осторожны. Скорость падает до пешеходной. Стоит одному водителю струсить, а таких сколько угодно, и вот длинная колонна машин плетется, как отступающая армия. От страха они начинают тормозить, где не надо, машины буксуют, их заносит, всеобщий испуг растет.

Как раз в это утро у нас в Компании созывалось собрание с обязательным присутствием. Предчувствуя задержку, я начинал нервничать. Музыка по радио кончилась. Пошли рекламы, геркулесовые каши, всякая дребедень. У каждого американца есть своя, особо ему ненавистная реклама, которую он не в силах терпеть. И вот, как назло, началась моя отрава, про то, как „ой-йо-йой, утром не приближайтесь ко мне, у меня изо рта пахнет. Но вот я прополоскал рот, и меня можно целовать". Потом адвокат чикагских гомосексов вызвал к большому уважению для своих подопечных. И, наконец, в новостях сообщили, что заledenелый кусище мочи с самолета проломил где-то крышу и тяжело ранил владельца дома, как раз страхового брокера. Я прослушал, в каком это городе, не из нашей ли Компании потерпевший?

Я ругал соседних водителей и свирепел, я не мог вспомнить, как по-английски „трус", а когда что-то забыл, то пиши пропало. „Ковардс!" - вспомнилось слово. Выпал снежок - и катастрофа. Кто начнет войну против Штатов в снег или дождь, тому успех гарантирован. На новеньких, рубчатых шинах, по широким шоссе, ну чего тут дрожать! В России перелатанный „Запорожец" летит по ледяным буграм, не работает печка, лишь кружок прокарябан в ветровом стекле. Я чертыхался и приводил янки в ужас, обходя по кромке одного, другого.

Вскоре я выбрался на свободный хайвей и пошел ровно, без задержки, вдоль линии энергоцентрали, похожей на бесконечный ряд Эйфелевых башен. На Париж хватит одной, а тут - Америка. На холмистом снежном просторе я принялся бодро декламировать незабываемое место из письма Ленина Крупской: „...и непременно станьте на лыжи. С горки на горку - кгасота!"

И как раз когда я шел под горку, машину крутануло, загремела банка в багажнике, портфель подлетел к потолку, что-то хрустнуло у заднего вала. Я видел, как наш отдел собрался на совещание, все со страхом уставились на меня - опоздал...

КАРПУЛ

Обычно я езжу на работу не один, а с Бобом. День на его машине, день на моей. Это и называется „карпул". До офиса от наших соседних городков примерно миль 30, то есть 80 км туда и обратно. Сегодня отдыхает моя „хонда", завтра - его „бьюик". Сначала я упирался связывать себя карпулом, но Роберт деликатно убедил меня, что мы сэкономим „хорошенькую сумму" на бензине и на долгожительстве наших автомобилей. Когда подъезжаем к автостоянке, видим, что не мы одни такие умные, отовсюду группы карпульщиков подтягиваются к подъезду. Бывают карпулы на троих, на четверых, карпул „по-польски" обходится без автомобилей - все встречаются прямо в офисе.

Приятно, когда за тобой заезжают, отвозят, привозят. Приятно посидеть пассажиром, листать газету или глазеть по сторонам. Мы тут не родились и, по-существу, туристы по гроб жизни, если, конечно, шторка в голове не заскочит раньше времени.

Пока глазаеется, в Америке не соскучишься. Почитай хоть наклейки на бамперах - „В помойку Флорио" (губернатор), „Теща в багажнике", „Быть черным - прекрасно", „Только что развелся", „А я ни при чем, я голосовал за республиканцев". Из одной машины торчат наискосок доски, из другой - босые ноги или псиная морда. В одной хасид в черном едет и молится, в другой так же качаются - слушают рок. Рок, бит и стук гремят из отдраенных окон.

Когда Боб за рулем, я могу поделиться с ним наблюдениями - вон задавленная белка или енот, вон засохший лист прыгает поперек шоссе, будто жаба. Когда веду машину я,

Боб чаще дремлет, и мне неудобно его беспокоить.

Я предпочитаю дни, когда Бобу не нужно подбрасывать жену до автобусной остановки. Когда она в машине, мы с ним молчим от „хэлло" до „бай". Всю дорогу передо мной ее потраченный крашенный перманент с просвечивающей кожей. Жена маленькая, властная. Боб же почти двухметровый. Если он по неосторожности скажет, что сегодня, например, будет солнечно, Милли (Милиция - зовут жену) может взорваться, крикнув: „Сколько тебе надо солнца, сколько!" Вобщем, он может пожалеть, сказав под горячую руку о погоде или задав невинный вопрос. Временами мне кажется, что он привык, и это только мне их обычная беседа слышится скандалом.

На остановке Милли выходит, приказав нам „иметь хороший день" и глянув на меня милицейским взглядом. Второй раз за всю поездку. На Боба она не смотрит, он и не нарывается. Как только хлопает за ней дверца, машина летит веселей, и Боб на радостях чего-нибудь мне вдруг и скажет. „Вот, - говорит, - вчера подстриг у себя, что осталось". И крутит головой. „Десять долларов и доллар на чай".

Пролетают зеленые щиты-указатели, конторские комплексы, склады, бензоколонки. За зеленью, подальше от дороги, игрушечные башенки молельных домов; попадают и русские луковки, приделанные прямо поверх обычного дома. Дома в нашей „субурбии" по виду как прибалтийские дачки на кавказской природе, а по цене - советские сравнения бессильны. Ловлю себя на том, что смотрю на ландшафт уже как на преysкурant, будто ценники припилены на крыше каждого дома. „Хвэй зер, я не киноартист, чтобы стричься дороже десятки", - продолжает Боб. Даже не зная английского, я бы его понял: так говорили мой отец и дядя из Брагина. Кажется, что бы Боб ни говорил, он повторяет одну фразу „хвэй зер, я знаю...". Парквей, по которому мы с ним едем, я переименовал для себя в „азохенвей парквей".

Бобу два года до пенсии. Дети взрослые. Мы не особенно распространяемся на пенсионные темы. Недавно у подъезда

комфортабельного кондоминиума я видел похожего на Боба пенсионера. Будто извиняясь, он мне сказал: „Такой прекрасный сегодня день. Что за день! Я просто не знаю, что мне делать сегодня со своей жизнью".

О работе мы тоже говорим немного. Я знаю, что Боб редкий специалист по анализу риска в бизнесе, иначе держать бы не стали, но разговоры про работу - разве лишь о сменах руководства и о неожиданных сокращениях. „Вы слышали, Грэг, вице-президент по Юго-Востоку, тью-тью! С понедельника. И Крис, такой всегда был везунчик". „Меня увольняли дважды, - вздыхает Боб. - В 1971 году чикагское отделение прогорело, а у меня дети в школе, высокий взнос за дом. И в 1964-м. За профнепригодность. Иес, сэр!"

„Батюшки, - думаю, - 1964 - это же Мезозойская эра, когда для нас граница была только нарисована на географической карте". Незаметно трогаю брючину Боба - кусочек старой доброй Америки. Настоящей Америки. Ведь когда тут живешь, это уже не то.

Может показаться, что мы беседуем в карпуле взалхлеб. Никак нет. Я и в других составах ездил, чаще сидят, помалкивают. Каждый свою думу думает. Боб предпочитает дремать. Разве что в приподнятом состоянии духа - удачно отоварился на газетный купон или передают танцевальные ритмы его молодости - тогда он делает пух-пуф губами и щелкает пальцами в такт музыке. Другой полюс настроения, когда Боб говорит: „Вы только мне не рассказывайте. Я знаю, что такое потерять работу". Да, думаю, я тоже знаю. И знаю, что значит работу найти. Когда тебе говорят о'кей, начинаете через две недели. А тебе слышится - о'кей, ты чего-то стоишь. Теперь удержиись. Вот американцы и поздравляют друг дружку с пятницей. СБСП - Слава Богу Сегодня Пятница. Это означает, что до следующего понедельника ты еще человек. А там будет видно.

ИНТЕРВЬЮ

Какую чепуху мог я себе придумать об Америке и американцах в той дали-далекой, которая на старых снимках в альбоме. Черно-белая жизнь. Мог сказать про человека, вот этот вылитый янки, а тот - нет. Что казалось Америкой? Джинсы, ковбои, небоскребы, грустные беби, джаз, даже рубашечные пуговицы „в четыре удара". Конечно, и многое другое, но сейчас мне было бы смешно быть таким самоуверенным. Расхожие клише тем и убедительны, что они отчеканены гениями мифотворчества, не тобой. С головой окунувшись в легенду, сам уже не видишь ничего. Постоянная нота в последних письмах иммигранта перед полным прекращением переписки: „А писать-то что? У нас все обыкновенно, по-прежнему..."

Короче, я все больше сомневаюсь, что у меня хватило бы наглости запросто определить американца. Может быть, скажу я, это тот, кто в Америке терял работу. Находил и терял. И находил опять.

Кто забудет свои поиски работы! Взять хотя бы танталовы муки - написание странички резюме. Такого понапишешь, хоть тебе Нобелевскую премию давай или директорский пост. А сам готов на любую работу. Главное в резюме - практический опыт. Для вновь прибывшего это заколдованный круг: пока на работу не возьмут, не будет опыта, а без опыта никуда не возьмут. Опыт должен быть не из Николо-Урюпинска, а проверяемый здесь, на Западе. Тут и банк вам дает деньги займы, если у вас уже имеются средства. Вот как США заявляют Союзу: „Встаньте на ноги, тогда и поможем". Опустим для ясности рассказ о том, какими дурачками должны прикидываться наши компатриоты, чтобы размагнитить эту железную логику. Вот лучше случай из жизни.

Брали меня в одну финансовую корпорацию, такой близости к деньгам, что требовались пройти „Полиграф", детектор лжи. Либеральная Америка продолжает протестовать против этой дьявольщины, как это можно допустить, чтобы машина читала ваши мысли - последний оплот свободного че-

ловека. В Америке уже нет нужды по-мелкому шпионить: всякая ваша квитанция от кредитной карточки, телефонный звонок, любой след накапливаются в огромном банке информации, там же, где хранятся ваши анкетные данные. Я живу себе тихо в своем пригородном домике и думаю, что мало кому знаком, а тут мои данные уже продаются сотням компаний, чтобы знать, какую рекламу мне посылать по почте, что уговаривать купить, кому отдать голос на выборах. Доллары и голос, а что им еще от меня нужно? Нет, говорят протестанты, последнее не отдадим - читать мысли и кровь, искать СПИД, наркоманию или генетические повреждения. К сожалению, мне было не до общих рассуждений в то время, мне нужно было попасть на работу.

Специальный час и место экзекуции были указаны в направлении.

В одном из чикагских небоскребов взлетел я к месту проверки на скоростном лифте. Меня поместили в полутемную комнату, и некто седой, мускулистый, похожий на отставного полковника с кафедры марксизма, участливо спросил меня, как я добрался, какая снаружи погода и как мое самочувствие. Самочувствие было неплохое, потому что с утра я побывал у дантиста, чего я опасался больше всего на свете, где еще раз убедился в полнейшей безболезненности американского врачевания, и зуб мой перестал ныть. Укрепив меня морально отвлекающими вопросами, полковник прикрепил контакты к моим рукам и голове, оставил в углу только синий свет, и началось. Вопросы следовали один за другим, безразличным голосом. „Уносили что-либо с работы вам не принадлежащее?" „А карандаш считается? - думал я, пробуя языком вылеченный зуб, и ответил, - нет". „Выпиваете?" „Бывали конфликты на службе серьезного характера? Личная неприязнь?.." На каждый из таких вопросов я бы непроч был пуститься в часовую беседу, как это у нас заведено, но тут от меня ждали ответа быстрого „да" или „нет", без объяснений - чуткий аппарат сам заметит малейшие „сосудистые признания".

У кого не бывало конфликтов, кто не выпивал, скажем, по случаю праздника? Ей Богу, мне было смешно. И радостно к тому же, потому что мой зуб совершенно не болел. Лаская зуб языком, я механически отвечал „нет, нет, нет...". „Нет, не бо ли т," - думал я, в вопросы стало вслушиваться даже лень. Когда зажегся свет, меня, как больного после операции, проводили в комнату отдыха, поинтересовались смогу ли я сам добраться домой. В комнате находились и другие пациенты, пили таблетки, утешали друг друга. Сидевший рядом человек, закрыв глаза, щупал свой пульс где-то на шее. Я поискал свой там же, не нашел и поехал домой. Ответ приходит в Компанию по закрытой почте, через две недели после тщательного анализа. Короче, на работу меня взяли без заминки, даже интересно знать, от чего же я так упорно отнекивался.

На одно из своих первых интервью я катил на любезно одолженном автомобиле, попробуй из субурбии доберись иначе из пункта „А" в пункт „Б". Еще свежи были в памяти этапы эмиграции, открытка ОВИРа, сборы-провождения. Машина неслась по хайвею, а я все не мог поверить, что я уже в США и еду на американское интервью. Прикидывал в уме, что на мне осталось советского - носки, трусы, блокнот во внутреннем кармане. Нутро, думаю, еще советское. В таких размышлениях проскочил я нужный съезд, а разворот назад мне никак не попадался. Замечательная скорость машины и гладкость шоссе вместо радости наводили уже тоску. Местность незнакомая, я положился на интуицию и взял ближний выезд. Не знаю был это „кленовый лист" или „морской узел", только к месту назначения я уже не надеялся попасть вовремя. Холодная струйка сползла между лопатками, когда чудом я оказался в вестибюле компании. Мрамор, бронза, фонтанчики, дизайнерская мебель. „Вы назначены? Располагайтесь..." Я был бы рад остыть, отдышаться, но из-за угла на меня уже летел с распростертыми объятиями некто незнакомый, сладко улыбающийся, такой никакой человек без определенного лица, что я для себя тут же окрестил его Мани-

ловым. „Прошу сюда, а здесь налево, тут наш новый конференц-зал, тут будет зимний сад и оранжерея, а тут и мой скромный уголок". И вот мы как старинные друзья, в глубоких креслах друг против друга. Чего только не поведал мне мой интервьюер: и про блестящие планы фирмы, и про мои ослепительные перспективы. Открыл даже пару невинных секретов: „Напротив кабинет Глории, вы ее непременно увидите на ежегодном нашем рауте в „Золотом дворце". Боже, как она танцует джиттебаг!" Незаметно перешли на профессиональные темы. Чего я не скажу, Манилов пожирал меня глазами и, шевеля губами, повторял мои слова.

Жизнь научила нас ничему не доверять, но, признаюсь, я невольно ловил его проговорки, намеки, знаки. Вот он вскользь проговорился о нашей с ним скорой партии в теннис, если погода позволит, вот вздохнул, вспомнив свои проблемы, и решил со мной посоветоваться. Я понимал, что все это входит в задачи собеседования, но, видя, как мой ответ его порадовал, как он согласно кивал и потирал руки, я не мог оставаться равнодушным. Я говорил все более уверенно и к месту, я уже перестал сомневаться, что на этот раз мне улыбнулась фортуна, что мне попался человек, который оценит меня и по-человечески, и профессионально.

Нет, думаю, так не делается для проформы.

Он даже пригласил двух соседей, полюбоваться на меня, его находку. „Это Джек, а это Джим, как раз около них и будете располагаться". В конце все трое провожали меня до лифта, и остальные сотрудники не без зависти смотрели мне вслед.

Вы все-таки ждете подвоха? Бывали на интервью? Ну и что особенного, что мой новый друг не перезвонил мне, как обещал, а я ему звонить не имею права? Ну закрутился, перепутал меня с другими кандидатами, вон его стол весь был завален бумажками. Поднаторев, я не ломаю больше голову, выйдя с интервью, стараюсь тут же забыть о нем. Если вас захотят - отыщут из-под земли.

ОФИС

Наступил долгожданный день, я первый раз являюсь на работу. Тоскливая беспризорность, так хорошо известная иммигрантам, уже позади. Все тут прекрасно, и кругом сплошные американцы. Это почти как если бы на международной выставке в „Сокольниках“ какому-нибудь приезжему счетоводу из Вязьмы, мечтающему добыть пару глянцевого проспектов, дать шанс переодеться иностранцем и расположиться в группе самоуверенных янки. Глядите, вот мой кабинет, мое вращающееся кресло, прохлада, множество разноцветных канцелярских штучек - фломастеры, блокноты, календари. Немного боязно, а что я буду действительно здесь делать?

Однако первый день, взятки гладки. Водят знакомиться: „Добро пожаловать на борт нашего корабля“. Рукопожатия, шутки. „Тут наш кафетерий, а тут - наоборот“. На ланч босс свозил в ресторан персонально. Так полагается. Потом сунули в руки объемистый том стандартов Компании и бросили в одиночестве. Долго, правда, не выдержали: прибежал некто розовощекий, почти мальчик, проблеял „кеегеебее“. Заглянули через перегородку, сказали „по-русски“, „товарыш“.

Не спеша вошел местный знаток мировых культур, сел, осмотрелся, спросил: „Кто был русский поэт и одновременно черный?“

Честно говоря, сначала очень поражало, что платят деньги. Доллары. Да что я такого сделал или сделаю на такие деньги! Сидишь, листаешь справочники и получаешь круглый чек. Каким топором, сверлом, зубилом смог бы я заработать эти доллары! Логика моего размышления была такова - за впервые получаемые настоящие деньги, а не деревянные рубли, это должен быть какой-то настоящий труд. Какой?

К счастью, недомогание быстро прошло. Заменилось чем-то совершенно противоположным. „Могли бы платить и больше! Пора повышать, джентльмены!“ Знать зарплату сослу-

живцев не полагается, но кто очень хочет, догадывается и как правило расстраивается, зная людей и большие (почему?) суммы ими получаемые. Поглядите, как они распивают свой бесконечный кофе, послушайте вялый треп. Почему мой сосед такими безумными глазами вперился в экран своего компьютера, да у него телефонная трубка намертво вклеена между плечом и ухом. То он сюсюкает с детьми, то с женой, то слушает байки на другом конце провода. Это же карикатуры из журнала „Крокодил“, а не цитадель капитализма. Ломаю себе голову, почему же они так богаты? Знайки гипотетически отвечают так: в каждом бизнесе важны два человека. Один знает, как делать, другой - как продавать. Всю прочую муравьиную кучу можно менять без особых последствий. Мне случилось поработать и в маленькой фирме, где патентный адвокат-владелец и его жена-администратор буквально находились за моей спиной, следя бесстрастно и молча, почему я, например, решил листать словарь или вдруг переменял карандашик. Я бывал в полуразрушенном здании бывшей шоколадной фабрики, несколько арендованных помещений были забиты до потолка сложными автоматами и механизмами. Четыре человека в коблках делали всю работу от проектирования до пайки, думаю, в объеме двух советских НИИ, да еще плюс мастерские. Один из „фирмачей“, оторвавшись перекурить, похвалился мне, что их продукцию заказывают такие гиганты, как „Ай-би-эм“ и „Дженерал электрик“. Он прямо-таки с плакатной рабочей гордостью достал из кармана доллар и сказал: „Чтобы заработать вот это!“

Если в маленькой фирме каждый точно знает, что и зачем, то в крупных корпорациях картина размыта. Чем крупнее американская компания, не говоря уже о федеральных, государственных службах, тем больше схожести с привычной советской рутинной: боссы - такие же служащие, как и все, можно затеряться, развести бюрократию, демагогию, повторять как попугай: „Я тяжело работаю, я плачу налоги, я делаю свое маленькое дело...“. Это есть та священная скоро-

говорка, которую вам первым делом выпалит тихий американец, если задеть его за живое. Я числился в страховой компании, но что я знал про этот род бизнеса?

Я хорошо помню горящие в московской ночи буквы „ГОССТРАХ“. Вот и весь мой доамериканский страховой опыт. Сознаться, я воспринимал это слово как совершенную абракадабру, чудное городское украшение, разрешенное властями и годное, чтобы пугать детей и ипохондриков. По латинской семантике это звучит полегче, их корень „ШУР“ (иншуранс), что означает уверенность, защищенность. И никакого страха. Наша фирма как раз и продает уверенность от полюса до полюса, включая Микронезию, Самоа и Новую Гвинею, где папуасы. В списках застрахованных мне попадались и советские организации „Аэрофлот“, „Интурист"... Мы имеем дело именно с крупными клиентами, и отдельно взятый папуас не может рассчитывать на наши услуги. Мы страхуем от землетрясений и ураганов, от терроризма и саботажа, от похищения заложников и выплаты выкупа. Нынче в большой моде защита от компьютерных вирусов и взлома банка систем информации. Проходной американский сюжет - про то, как головастый вундеркинд, играя, проникает со своего детского терминала в святая святых Пентагона или Уолл-Стрита. В последнюю минуту, по законам детективного жанра, ребенку не дают насладиться запуском ядерной ракеты или крахом на мировой бирже. Очень меня интригует также возможность страхования от государственных переворотов, и, представляя себя на месте президента нашей компании, я дебатировал сам с собой „за" и „против" предоставления такой страховки Союзу периода перестройки.

Чтобы не было недоразумений, скажу еще раз, что связь моя со страхованием весьма отдаленная. Эта Компания, где мне деньги платили была страховой, не я. Вышеприведенную общую информацию я почерпнул из глянцевого брошюра, которые только и остается листать, когда за два часа до конца рабочего дня, как известно, время имеет вредность останавливаться, хоть кричи караул. Вот сижу я, перелистывая бу-

маги, войди ко мне хотя бы и десять боссов, строим по ранжиру, ничего, кроме хорошего, про меня они сказать не могут. А я, может быть, в эти самые минуты блаженно витаю по пляжу г. Гагры летом 1972 года: плещет Черное море, загорелые купальщицы вкушают виноград, и вдруг доносится такой бессмысленный в подобной идиллии голос моего босса: „Куда черт подевал сводку за второй квартал?" Несу ему сводку. Сосед мой по кубику, Адам из Лодзи, этот решил в период невыносимо медленного рабочего времени заняться физкультурой. От отжимается в проходе за принтером и думает, что никто не знает. Увы, все знают!

Что ты делаешь в американском учреждении, известно всем, кому нужно; не пробуйте стыдить американца, что ябедничать нехорошо. Не поймут! Дело это для них без запаха и цвета - норма. Их в школе так учат. Я не параноик, но подозреваю, что про мое витание в эмпиреях им также известно.

БУДНИ

Маленький чернявый Джо начинает рабочий день с обхода вышестоящих кабинетов. Сам он бугор на ровном месте, никогда не ясно, каким проектом он точно заведует. Он отыскивает приоткрытые двери и ненавязчиво, кофе в руке, запускает пробные фразы. Вчерашний бейсбол, сбрасывание веса, обещанный ураган... Если разговор завязывается, Джо в грязь лицом не ударит, найдет нужный тон, одним словом, отметится и последует дальше. Свой кофе он наливает себе сам.

Директор отделения Винцент Ломбардо тяжело рушится в начальническое кресло. Ему уже несут кофе-декаф, как он любит, и пончик. У Винца постоянная свита - Рич, Рэм и Джина. Они последуют за ним в любом направлении, в любое время. Во всяком случае пока он босс. Они ходят за ним, когда Винц идет в кафетерий или покурить. Они всегда тут, когда Винц намерен что-то сказать массам. Картина эта

напоминала мне один из отцовских анекдотов про то, как лиса ходила за бараном: вот-вот у барана что-то отвалится. Забегая вперед, отмечу, что свита ходила не зря - каждому что-нибудь отвалилось.

Рэм - человек бородатый с задубленной кожей на шее. Бывший плотник, подрядчик, что здесь называется „синий воротничок“. Таких легко опознать по бороде, ковбойкам, массивным ботинкам на рубчатой подошве. Они водят удалой грузовичок, пьют „Будвайзер“ и курят, что покрепче. В противовес хлипким мозглякам, „белым воротничкам“, „синие“ символизируют мужественность и, по легенде, половой гигантизм.

Каким-то чудом Рэм попал в этот офис, люди Винца ему помогают прижиться. Рэм явно недоумевает, как это можно делать деньги в чистой сорочке, не таская циркульной пилы и мешков с цементом. Он всеобщий приятель, и в присутствии Рэма девушки в лифте начинают хихикать, а это хороший признак.

Не успел я удивиться конторскому энтузиазму Рэма, как до меня дошло, что на его экране не наши страховые таблицы, а калькуляции его левого строительного бизнеса, который он и не думал бросать. А зачем, пригодится! В последнее время Рэм увлекся еще и политикой и в свободные минуты размножал на ксероксе горы листовок для какой-то демонстрации или митинга. Он приносил значки и прокламации и убеждал каждого в офисе купить их у него для финансовой поддержки популистской партии. Рэм показал мне местную газету, в которой его активность уже упомянули, и можно было различить его бороду на групповом снимке. Не так ли рождаются политические деятели?

У Рича честные вдумчивые глаза и весь облик положительный: типичный секретарь первичной комсомольской организации. Может быть, и неизвестно, за что любить Рича, но я не помню случая, чтобы на него кто-нибудь пожаловался или разозлился. Ломбардо не успеет выкрикнуть его имя, Рич стоит за спиной и готов выполнить любое распоряжение.

Когда Рича повысили до среднего управленческого звена, он продолжал оставаться тем же положительным комсоргом и перед моим уходом из Компании долго интервьюировал в свою группу женщин и только женщин, стараясь, видимо, найти похожую на Джину из свиты Ломбардо.

Теперь - сама Джина. Полногрудая и знойная, она бывала чуть неряшливой, с размазанной помадой, наверное, потому, что близко принимала к сердцу производственные проблемы. Ей приходилось немало волноваться, принимать лекарство или курить от обиды. Винц имел обычай закрываться с Джинкой в кабинете для серьезного разговора, откуда она выходила в пятнах от волнения и опять курила и подкрашивала губы. „Мистер Ломбардо, - заявляла она с вызовом на лице, - для меня все равно, что родной папа и учитель“.

На новом месте я сразу выделил юношу Джима. В отличие от прочих, с кем разговор редко отклонялся от стандартных приветствий и служебной тематики, Джим горячо обсуждал необычные для американца абстрактные проблемы и интересы. Он мог привести что-нибудь из древней истории, теологии, сказануть: „Волшебство поэтической речи“. Я мог бы легко представить Джима на московско-питерских наших кухнях, в привычном для нас высоком трепе и дымных грезах. Одним словом, наш человек. Каково же было мое возмущение, когда „серые“ сотрудники, даже не имея понятия, о чем мы там с Джимом толковали, предупредили меня, что малый этот „ку-ку“. Да как же они смели! По прошествии времени, я стал замечать, что Джим говорит, не соизмеряя тона, одно и то же, он может бубнить себе под нос, как вокзальный диктор, а если случался новичок, вроде меня, Джим брал его за пуговицу и начинал про „волшебство поэтической речи“.

ПАНИКА

В американских инструкциях по найму на работу есть важный пункт - проверить, как человек способен функционировать под давлением. На взвинченных нервах, в испуге, в пол-

ном цейтноте. Времени в обрез - необходимое условие любого американского экзамена. Проходные 75% правильных ответов можно получить, только щелкая вопросы без всякой задержки. Раньше - поточная линия, а теперь и компьютер - это метафоры американской психологии. Янки нетерпеливы, они совершенно не умеют ждать. Они сходят с ума в паузах. Европейские фильмы не годятся в США: мало действия, тоска. То, что для всего мира все еще комфорт и роскошь: машины, супермаркеты, видео, факс... для американцев, скорее транквилизатор, антидепрессант и наркотик. США безнадежно проигрывают войну с наркотиками всех видов, в то время, как сама культура делается наркотической. Чертовщина прежде невинного детского праздника „Халуин“, монстр с кровавым тесаком непременно за вашей спиной в любом телефильме, рожи, чудовища - все это такие же части издерганного характера, как почти истерическая необходимость иметь любой продукт здесь исию же минуту. Если у компьютера приходится ждать вместо одной секунды две - „в помойку это дерьмо! - кричит американец, - эта машина выводит меня из себя“. И это все личные реакции. Теперь представьте, как это выглядит в условиях бизнеса. Большой босс никогда не станет кричать, его убийственным вердиктом будет тихое замечание, что он „несчастлив“. Смотрите, чего захотел, подумаете вы, „счастья“ - такая эфемерная категория. Но нет. В США существует как бы презумпция счастья, и, если босс говорит, что он „нот хэппи“, это звучит предложением подыскивать себе другое место работы.

В больших компаниях, я говорил, случаются периоды долгих распиваний кофе, чесания языков, но все это между непременными паниками, когда кто-то сверху позвонил и кротко признался, что как-то не чувствует себя счастливым сегодня. Тогда все и начинается. Боссы мал-мала-меньше начинают взрываться, как по бикфордову шнуру, что именуется здесь звучным словом „пистофф“ (так взрывается воздушный баллон). Не суть важно, какова причина, муравейник приходит в движение.

Для Винцента Ломбардо - это родная стихия. Его любимые роли - Крестный отец и Муссолини. И вот экстренно создается личный состав. Люди размазаны по стенам кабинета, лица красные. Винц закатывается в транс глубоко в кресле. Свита скорбно молчит. „За вас шею подставлять не намерен. Держать никого не собираюсь, убирайтесь на все четыре!“ Закрывается дверь и Винц смачно пересыпает слова любимыми трезвучиями из четырех английских букв - Шит, Хэл, Фак... Обычная причина паники - какое-либо расхождение цифр в отчетах компании. Урожденный американец политично негодует вместе с боссом, но всегда даст понять, что суть вопроса - вне его профессиональной компетенции. Иммигрант такого не скажет никогда. В своем резюме он ведь заявил, что знает все на свете, хотя, может быть, лишь в Америке впервые сел за компьютер. Самодельный русский программист не отказывается ни от чего, берется решать любую проблему. Не примите это замечание за патриотизм, просто ему некуда деваться.

Типичное воскресенье во время чумы, то есть паники. Пустынно громадное здание компании. Ломбардо у себя в кабинете. Рэм прикуривает ему сигарету. Рич несет сводки с фронта и пончики. Потом Винц закрывается для серьезнейшего разговора с Джиной. Бывает, для солидарности, заявляется и прочее начальство. Кофе пьют с хмурыми лицами. В это время усталая женщина из Риги, Бэлла Исааковна, младший программист, воюет в своем дальнем кубике с терминалом и находит-таки ошибку в программной логике. Победная реляция докладывается мистеру Ломбардо.

ПРОГУЛКИ

Летом, в обеденный перерыв, кто-то остается в здании, кто-то уезжает по делам, а я отправляюсь гулять пешком, В американском пригороде пешеходов не часто увидишь, особенно днем, в середине недели. Налево, ближе к шоссе, там, где бензоколонки, мастерские и склады, мягко говоря, сме-

шанный район, а попросту бедный и черный. Бедные доходные многоквартирные дома с пустыми глазницами окон. Дети, сверкая белками, глядят сквозь сетки окон наружу. В жару в глубокой тени чахлого парка можно различить пожилых негров, сидящих как изваяния. Пустынно. Изредка в тройном прыжке черный подросток перескочит шоссе перед потоком машин. Его друзья уже ждут, чтобы покидать баскетбольный мяч на площадке с треснутым асфальтом. Безработные прячутся от жары в местной библиотеке, выбору книг в которой, надо сказать, позавидовали бы любые московские библиофилы. По дороге в библиотеку, шагая вдоль шоссе, я поражаюсь местному мусору - платы сложных электронных схем из разбитых транзисторов, реле, микрокассеты... Подумать только, простейший мусор в этом поселке выше разума всех его жителей, в массе своей неграмотных и безработных!

Пойдешь направо, и, как в сказке, другая картина - „спальня“ среднего класса. Здесь сочная зелень ухоженных газонов. Бесперебойно стрекочут поливальные автоматы. Искусственный дождь зонтиком опадает, шурша, на газон, где травинка к травинке. Зелень пьет жадно и сверкает. Аккуратные домики в колониальном английском фасоне выстроились как на плацу, ни пятнышка на мундирах. Для украшения - всюду игрушечные кони, колеса старинных карет, жалюзи-ставни, фальшколонны; на фронтонах красуются черные федеральные орлы и звездополосые флаги. Вспыхивает бронза фонарей и надраенных ручек. В июньскую жару аромат трав вкрадчивый и душный. Зудит мошкара над цветами. И ни души (если не считать насекомых). Тишина, только слышишь стук собственных шагов, даже как-то неловко вторгаться в такое чистилище.

Нет, вдруг утянется вверх автоматическая гаражная дверь, и лоснящийся „шевроле“ выползет на солнце. Внутри - женская голова в папиютках. Вот она подкрасила глаз в зеркальце заднего вида, слизнула с языка, помедлила еще, дала газ и скрылась. Дверь гаража позади замкнулась, как

прежде. Бывает, встречу синего почтальона, идущего зигзагом от ящика к ящику. Или парни, загорелые, как пираты, уборщики газонов, проедут в своем тарантасе с прицепом. И снова вечная тишина. Так до субботы. В субботу затарахтят травкосилки, понесет бензином, зашевелиятся налогоплательщики. В воскресенье в субурбии закрыты даже магазины, пригородная Америка отсыпается.

СИМПОЗИУМ

Однажды мы с Ричем оказались в Вашингтоне на трехдневной теоретической конференции. Тут были люди из нашего манхэттенского центра, из зарубежных филиалов компании, университетские профессора. Вот уж где поистине богдыханская жизнь - это на таких конференциях. Три дня на всем готовом, и каком готовом! Прозрачный, как стакан, лифт поднимает нас из бассейна на крышу к коктейлям. Завтрак заказывается в номер. Все, кажется, мечтают тебе угодить.

На заседаниях проблемных секций царила неподражаемая американская раскованность. Докладчик, скинув пиджак, указка в руке, ерзает по краю стола. Перед каждым участником - табличка с его именем. „Не правда ли, Розмари? Вам так хорошо виден дисплей?“

На большом экране сменяются многоцветные диаграммы, зоны влияния нашей компании в стрелах и цифрах. На столе - кофе, содовая, орешки - ну это как обычно.

В тот достопамятный день техасский стратег нашей фирмы докладывал соображения о более агрессивной политике охвата международной клиентуры страховыми полисами. Через взаимное страхование, через инвестиции и биржевых маклеров, с переуступкой прав на покрытие и со ступенчато нарастающей прибылью...

Техасец объявил нам: „В этом году мы намерены выпустить на мировой рынок два новых продукта“.

Я был весь внимание: „новые продукты“? И что же оказалось - продуктом именовались хитроумные идеи и методика

для того, чтобы заполучить клиента. Агенты компании, собирающие с клиентов их взносы, в свою очередь, в том же ключе именовались „производителями“. Этого я все никак не мог переварить, потому что люди платят за страх, а компания, как хозяин игорного дома, если что-то упорно „изготавлила“, то только схемы выигрыша независимо от ситуации.

На конференции, однако, мы все так свободно себя чувствовали, „мозговой трест компании“, все были равны и так легко обменивались мнениями, что я не удержался и с места заметил, что, по моему скромному разумению, клиента так тщательно „вычислили“, что выиграть он не сможет. Стратег, улыбаясь, пояснил, что в нашем ответственном деле, вне всякого сомнения, нужно заранее знать рискованные бизнесы и либо исключать их из игры, либо вынуждать платить многократные взносы. После чего я даже поднялся и сказал, что выходит парадокс - наиболее смелых экспериментаторов мы лишаем сервиса. Английские фразы я подбирал заранее и звучал, как мне представлялось, убедительно: „Что ж, - говорю, - получается, джентльмены?“

Стратег замолчал. Все замолчали. Рич делал мне большие глаза через длинный полированный стол. Спустя вечность, стратег взял микрофон под нос и промывчал: „Борис! Да вы совсем не любите страхование!“ В конференц-зале повис ужас. Не любить страхование! Я не любил страхование? Как мне показалось, стратег побледнел и распустил галстук. Не помню, как наступил перерыв, пошло брожение между залами заседаний, коктейль-холлом и рестораном, но в заряженном воздухе так и висело: „Чего уж чего, но не любить страхование!“

Впрочем, вслух никто меня не совестил и тем более не преследовал. Правда, в те же дни на другом, восьмом этаже компании, вдруг взяли и уволили никак к этому эпизоду не относящегося безобидного лысоватого человека, кандидата филологических наук из Ленинграда Исидора Исаевича Юкина. Он запорол какой-то несчастный файл на магнитной ленте. Его босс, нарочно пошире распахнув дверь, делал

„листофф“ на Юкина, а тот, оправдываясь, невольно вставлял русские слова „видите ли“, „клянусь благородно“, что только давало боссу выгодный шанс повторять: „Шит, я не могу понять эту личность. Он не может даже говорить на нашем языке!“ Юкину было предложено быстро подыскивать себе другое место; такое делается одолжение, чтобы дать уволиться своими руками, и вскоре Юкин заходил ко мне прощаться и бормотал, что он и давно подумывал с женой и детьми перебраться в Пенсильванию, там говорят, мягче климат и в „Амиш Кантри“ живут удивительные патриархальные немцы.

НАШИ

Молоденькая полтавчанка Клара пошла на повышение. Смотрю, ее вещи переносят в просторный кабинет, не совсем угловой, но тоже с окном и в ряду с другими ответственными кабинетами. До того я бывал в Кларином кубике всего два раза, почти случайно; не помню точно, о чем она просила - то ли подвинуть полки, то ли посмотреть, что у нее с экраном. Копаясь, я, грешным делом, не удержался прочесть застрявшее на экране Кларино сочинение. Оно было написано „по-английски“; на русском языке оно бы звучало приблизительно так: „Жалоба. В полицию муниципального г. Элизабет. Саабчаю об украже двух сирежек. Еще у меня обокрали сумочку, лежала на окне...“.

По-русски Клара (Клэр) избегает говорить на людях и, похоже, правильно делает, потому что, когда пытается, у нее выходит: „Почему это мне никто не тейкает кер“. Клара приехала в США, так и не закончив семилетки. В молодости язык быстро теряется, но и быстро находится.

Ее подруга постарше, с которой они были вместе на компьютерных курсах, рассказывала, как уже там Клара проявляла лингвистический талант - только сегодня услышит слова „абенд, ассемблер“ (по алфавиту) и уже назавтра бьет этими словами самого преподавателя. В кубике Клару было

почти невозможно застать, на столе - зажигалка и полная пепельница окурков. Сама Клара вечно курит с боссами и чуть что бросается на них в бой: „Но-но-ноу, Марвин, ты не прав! Это абенд, это ассемблер!“ Голос у Клары молодой, пронзительный, юные прыщики светятся от живого возбуждения. В новый свой кабинет Клара пришла в модной жакетке со строгими плечами. На шее был повязан шелковый галстук-бант, восьмигранные очки без диоптрий, но в золотой оправе придали молодой начальнице солидность и изысканность.

Во всякой американской компании отыщется какой-либо „рашен“, которого тут же приводят ко мне и ждут, пока мы с ним заговорим „по-русски“. Так я познакомился с Шуриком. „Ал, - протянул он мне руку, - можно Алэкс, хотя они любят называть Саша“. Американцы любят звук „ша“ в русских именах, может быть, потому, что он рифмуется для них с „Ра-ша“. Когда Шурик говорил со мной, мешая слова русские и английские, в глазах его мелькали заговорщицкие искорки, что мне тут же напомнило Гашека. Его бравый солдат Швейк, кажется, полагал, что все чехи - члены подпольной заговорщицкой группы. Шурик рассказал мне, что он из Харькова, а теперь вся его мишпуха здесь, включая даже дядю Арона - седьмую воду на киселе. Фамилия Шурика была более, чем удачная для нашей местности - Броклин. Одновременно и „брокколи“ и „Бруклин“, хотя ни того ни другого в Харькове не было. Был вот Шурик и тот сплыл.

В день нашего знакомства Шурик картинно зевал и прикрывал глаза. „Я на коле“, - сообщил он. Из вежливости я не стал выяснять детали - на каком и от какой болезни уколе бедный Шурик, но он сам тут же пояснил, что ночью был дежурным смены и ему звонили по телефону („кол“) операторы из-за неполадок в системе.

Вот ведь везенье с программированием! Божий дар для нашей эмиграции. И не только нашей, кого тут только не встретишь - вкрадчивых китайцев, волооких эбеновых индусов, пакистанцев, филиппинцев, поляков... Раньше люди шли в

лотошники, таксисты, швейцары, шили наволочки в подвальных мастерских. Нашу эмиграцию могло бы ждать то же: ведь подавляющая советская профессия - „инженер“. Инженер „широкого“ профиля, в том числе и „человеческих душ“. Профессия эта - не очень конвертируемая для западного рынка. И тут, слава Всевышнему, „компьютеры“ - одно то, как звучит, не хуже недавно модной атомной физики. Стучи по клавишам и смотри в „телевизор“. Что казалось профессией лишь для хорошеньких семиклассниц - („машинистка“) теперь престижно для кого угодно. Редкое, если вдуматься, совпадение звезд: ведь Америка сегодня почти не изготавливает, а больше считает деньги; причем перед новым, мало известным занятием все равны, как перед Богом. Американский управляющий, выпускник Гарварда, не без чувства гордости говорит, что он программист. Он пишет заключения о динамике мировых рыночных структур. Как и он, большинство профессионалов, чем бы они не занимались, сидят сегодня у экрана, сами перестраивают программы, всплывают в информационном потоке (хотел сказать „потопе“). Одним махом удалось нам иммигрировать сразу в две запредельные территории - в Америку и в Программистику. Где один чужой язык изучать, там и второй - компьютерный.

В некоторых фирмах русских программистов так много, что на этаже вывешивают объявления сразу по-русски: „Продаю кондоминиум“. „Требуется няня“.

„Сейчас наших берут“, - сообщил мне Шурик в первом разговоре. - В прошлом году не очень, а теперь берут“.

БАРБЕКЮ

Осенью наша компания устраивает пикник или, что называется „барбекю“, с жареными цыплятами, сосисками, гамбургерами, дымящимися на жаровнях. Вволю пива, сельтерской, содовой... Подается еда в несколько раундов с нарастанием: сначала закуски, крекеры, мелочи для ранних пришельцев, затем всевозможная зелень и салаты, сочная куку-

руза, потом и главное - жареное барбекю до отвала. Для гурманов припасены ракушки, креветки, анчоусы. Завершают парад арбуз, мороженое и кофе со сладостями. Набрасываются на еду, будто не ели сто лет. Постепенно во всех углах парка можно обнаружить картонные стаканчики и тарелки с креветками в ломтях недоеденного арбуза, надкушенные куски торта вперемешку с овощным рагу - чистое раблезианство!

Вопреки знаменитому американскому правилу, что бесплатного обеда не бывает, воскресное угощение выглядит совершенно на дармовщинку, что несказанно возбуждает аппетит.

Дня пикника ждут с нетерпением. Забавно встретить на природе ответственных деятелей Компании не в строгих костюмах и галстуках, а в домашних шортах. Тенниски оттопырены животиками. Беззащитные бледные шеи. Шлепанцы.

Здесь одна из загадок американских учреждений: перед пикником или укороченным предпраздничным днем сотрудники с буйной радостью школьников напоминают друг другу, что одеваться разрешено „не формально“. На службе подчеркнуто корпоративный вид, попробуй расслабься, а тут, кто во что горазд - как шаровозники: намеренно рваные джинсы (из дорогих магазинов), майка шиворот-навыворот, небритая щетина. На пикник разрешено приводить родных и близких, это еще один сюрприз - когда можно увидеть неожиданных жен-мужей сослуживцев. У полной, не обхватишь, Линды муж оказывается еще толще. Важного британца Кевина детки, как видно, не ставят в грош...

Шурик приводит в числе прочих сестру Мальвину с мужем и пенсионера дядю Арона. Дяде не столько любопытно покусать, сколько хоть глазком поглядеть на живых американцев. Дядя Арон, в прошлом видный работник коммунального треста Харькова, вот уже 14 лет как покинул родные места. В США ему посчастливилось исключительно плавно переходить с разнообразных пособий, велфэра и талонов на пенсию и программы федеральной помощи. Поработать, увы, не до-

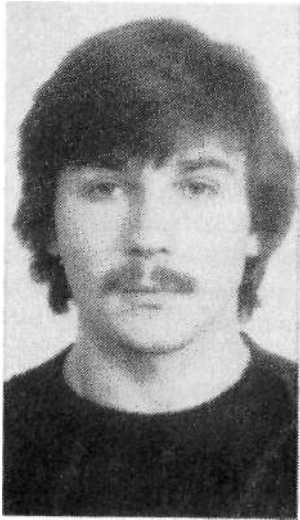
велось ни одного дня. Да зачем? Он один из многих, кому только кажется, что он живет в Америке, в то время, как он, как жил, так и продолжает жить на своей Сумской улице, читая русские газеты, кушая привычные щи-да-кашу из продуктов, купленных в американском супермаркете. Весь день в его распоряжении, и обычно он жалуется пожилой соседке, соотечественнице: „От кока-колы у меня кислотность и отрыжка. Да ну ее...“ На что соседка парирует: „Плевать, у меня на-все-про-все медикейд“.

С началом перестройки дядя Арон не раз уже слетал в родной Харьков, где учил американскому бизнесу всех, кто готов был слушать. Хотя он иммигрировал еще в семидесятых, он и сегодня иммигрирует почти ежедневно: когда приходится спросить что-либо по-английски, или когда нужно ответить по телефону, или, как сейчас, сидя в двух шагах от жующих американцев.

Шурик бегал уже не раз добавлять цыплят и кукурузы для нашего стола. По дороге он останавливался у смиренного кушающего сослуживца и, отводя того зачем-то в сторону, заговорщицки спрашивал: „Хэв-э-минит?“ Сослуживец отвечал, что у него есть и минута, и две, после чего Шурик энергично вскидывал большой палец и восклицал: „Хай класс барбекю, а?“

Я прилег на траву в тенике. Дядя Арон подсел и спросил: „Хэв-э-минит?“ Он стал мне рассказывать о своих далеко идущих планах обустройства юга России с захватом части Кубани и черноземной зоны Украины. Я слушал монотонный голос дяди Арона, терял нить, в голове кружилась полная сумбурбия. Над нашей субурбией плыли высокие облака: Америка, Россия, дядь-Ароновы еврейские интонации в русской речи, негритянская мелодия по радио...

Я засыпал.



Эдуард ПУСТЫНИН

АФГАНЕЦ

ГЛАВА 1. Свидетельство о праве на льготы

Я тоже „афганец“. Несколько лет назад я был там. Жалею? Нет, скорее, наоборот. Удостоверение: „Свидетельство о праве на льготы“. Сколько раз оно выручало: гостиницы, билеты, тряпки без очереди, даже в городском транспорте без билета ездил.

Но об Афганистане я не люблю говорить, по возможности избегаю этой темы и не горю желанием встречаться с друзьями „афганцами“.

Я в Афгане ни разу не стрелял (даже по мишеням), служил в связи. „Кто тут пашет в дождь и грязь - наша доблестная связь“. О своих армейских буднях никогда никому не рассказывал. Неудобно.

А когда учился в КГУ* и на 23 февраля устраивался вечер воинов-интернационалистов, я притворился больным, мне

* Кубанский государственный университет.

было очень стыдно. Ведь я всем сказал, что служил в десантно-штурмовой бригаде. Из-за этого и я университет бросил. На 1-м курсе это еще можно было скрывать, но на 2-м появилось бы военное дело, и меня сразу бы уличили во лжи.

ГЛАВА 2. Пытка

Живя с ребятами в одной комнате, я все время чувствовал себя беспокойно, я боялся, что зайдет разговор об армии, о ДРА*. Боялся, что кто-то спросит: „Ну как там?“ Боялся передач по радио и телевидению, боялся студентов, бывших воинов-интернационалистов. Это была настоящая пытка. Я жестоко и мучительно переживал свой обман. А получился он сам собой.

ГЛАВА 3. Тельник

С Афгана я привез музыкальные часы, индийский дипломат и тельник. Часы подарил брату, дипломат - Сергею Гурьеву, а тельник оставил себе.

Я, как и все мальчишки, мечтал быть десантником и даже писал заявление в Афгане, но перевод в десантники не состоялся и на память я купил в чековом магазине тельник десантника. Когда я вернулся домой, Коля сразу его заметил (он служил в воздушно-десантных войсках поваром, но это не мешало ему рассказывать о своих подвигах). „Я в станице только один, а теперь нас двое будет. Десантники должны другу другу помогать. Десантники по всему Союзу братья“, - говорил Коля, когда я давал ему трешник на пиво.**

ГЛАВА 4. Десантно-штурмовая бригада

Незаметно для самого себя я сжился с этой мыслью (что я десантник) и на вступительных экзаменах в университет (несмотря на июльскую жару, я был в тельнике) на вопрос одного из абитуриентов, я ответил: В ДШБ.

* Демократическая Республика Афганистан.

** Я не пил тогда даже пиво.

Но потом я на минуту пожалел, что обманул, но это только на минуту, я еще не мог предвидеть все плоды своего вранья. Тем более глаза мальчишек и девчонок загорались таким восторгом, что устоять было трудно. А сказав одному, что я десантник, я уже вынужден был говорить это всем.

ГЛАВА 5. Военный билет

Военный билет я хранил в чемодане (под кодовым замком), ведь там было написано, что я всего-навсего телефонист. Помню, как я переживал, когда нужно было становиться на военный учет. Дело в том, что становились на учет, как правило, все вместе, все ребята с курса.

И скорее всего, кто-нибудь из них попросил бы показать военный билет. И я бы был разоблачен.

Я выдумывал различные предлоги: некогда, болен; даже убегал, скрывался, чтобы удалось пойти самому. Я так ловко лавировал, что никто ничего и не узнал.

ГЛАВА 6. Шахрат

Мое положение усугублялось тем, что в одной секции со мной жил еще один воин-интернационалист. Правда, он был не десантник, но мне от этого было не легче. Таким образом, и в своей комнате я не мог полностью расслабиться. А позже я сошелся с Шахратом, так его звали, это когда я уже знал, что меня исключили „за распитие спиртных напитков и недостойное поведение“. Мы вместе с ним выпивали, знакомились с девчонками, и Шахрат просил, скажи, что я тоже с тобой в десантуре... И в винно-водочный ездили, без очереди по удостоверению водку брали. Афган вспоминали.

ГЛАВА 7. Бронежилет

Как-то в разговоре я сказал, что продал „там“ бронежилет за 100 000 афгани.

А потом Леха Лунев где-то достал бронежилет (чтобы бегать в нем - тренироваться), и я впервые видел его так

близко. Вот почему Леха спрашивал перед этим, а какие у вас были бронежилеты, как они застегиваются.

Я напряг всю волю, чтобы вести себя непринужденно, не знаю, как мне это удалось.

Леха натянул на меня (оказывается он на застегках) этот злосчастный бронежилет.

И я начал: да от них толку! Мы их ставили и с автоматов прошивали, как нечего делать!

Леха согласился со мной, он ничего не заподозрил.

ГЛАВА 8. Наркоман

Девочки спрашивали, скольких ты убил. А страшно? Страшно! Анаши обкуришься и не страшно. Анаши обкуришься и вперед.

С тех пор девочки стали считать меня наркоманом (мне это нравилось), записки писали: „...тебе не кажется, что ты сегодня принял немножко больше, чем обычно“.

В армии один старлей тоже меня за наркомана принимал:

- Да ты постоянно обкуранный. У тебя глаза мутные.

А я первый раз попробовал анашу только через полтора года после армии. Я ехал в Сибирь, по оргнабору (из университета меня уже исключили), и Серега Фоменко предложил... Я тут же сделал радостный вид и начал играть роль заядлого наркомана. Попробовал, но ничего не ощутил: нужно еще уметь курить, вдыхать полной грудью и по возможности задерживать дыхание. У меня не получалось.

ГЛАВА 9. Градусники

Поведал я всем и историю о нашем солдате с Кавказа, который перебежал к духам и стал главарем банды. У него был свой гарем, жителей он обложил тяжелым налогом. И в конце концов, сами духи сместили его. Не знаю, откуда взялась эта история, я сейчас даже не могу отделить в ней правду от вымысла. Еще я всем рассказывал про градусники.

Подъем. Не встаю. Старшина спрашивает: „Что с тобой? - Заболел“. И градусник приносит.

А я градусник под подушку и говорю: „Утерял“.

Я так несколько раз делал, а градусники по 200 „афошек“* сплавлял.

ГЛАВА 10. Дорога в Ташкент

Шесть человек из нашей учебки распределили в ТУРКВО**, выдали одному из нас документы в пакете, и без сержанта, сами отправились мы в Ташкент.

В Харькове была пересадка, и мы разбрелись кто куда. Нас с Саней Ткаченко взяли возле кинотеатра „Стерео“, и до самого отъезда мы с ним маршировали на гауптвахте.

В поезде Валера Брюховец (мой земляк, он в Мары попал) начал выступать, что он командир, документы у него и его надо слушать.

Пришлось заехать Валере в рожу.

В Ташкенте столько всего было, на базаре глаза разбежались, а денег ни копейки, пришлось искать свою часть. Я приболел и попал в медпункт, лежал, читал Конан Дойля. Год назад, когда я в Краснодаре на квартире обитал, рядом „афганец“ жил, и к нему друг приезжал. Такая радостная встреча, и меня пригласили. Я в ресторан ходил за вином.

Если бы еще два дня пролежал, меня бы не взяли, но я сам выписался, решил будь, что будет.

ГЛАВА 11. Кабул

Принимал прапорщик небольшого роста с располагающим лицом и большими лихо закрученными усами. Он записывал наши данные и одновременно вводил в курс дела. Рядом лежал автомат со складывающимся прикладом. Все косились на него и с интересом разглядывали (в учебке у нас были карабины, за все время стреляли один раз, по 5 выстрелов), самые смелые пытались потрогать.

* Афгани - денежная единица.

** Туркестанский военный округ.

- Успеете еще, - улыбнулся прапорщик, - мы тут с автоматами и спим.

Казарма представляла собой двухэтажное серо-желтое здание. На первом этаже располагался медпункт и общежитие офицеров и прапорщиков.

Распределили по ротам, я попал в 1-ю. Мы уже изрядно проголодались, и как раз нас повели кормить.

Столовая, так называемый модуль (новые постройки), - длинное вытянутое здание, покрытое шифером.

Нас сопровождал дежурный по роте, простой, общительный парень. Мы задавали ему вопросы, он охотно отвечал, но при этом держал нас на расстоянии.

После обеда сдавали старшине шинели, рюкзаки, все, что привезли с собой. Старшина был здоровый мужчина (в таких случаях разводят руками), с вот такой красной рожой. Громовым голосом он давал ценные указания: „Слышали ли вы что-нибудь о дедовщине?“ А мы уже не только слышали, мы видели, правда, нас пока не трогали (пусть привыкнут, говорили дедушки), гоняли своих молодых. А те смотрели на нас с радостью, конечно, теперь им будет легче.

ГЛАВА 12. Шапка

Какой-то солдат, худой, шупленький, маленький пытался отобрать у меня новую шапку.

- Давай сюда, - уверенно потребовал он и, не дожидаясь ответа, потянулся за шапкой.

- А у тебя что, нет? - остановил я его.

- Я дед, мне новая нужна.

Но я не поддался на его уговоры, и он сразу как-то обмяк (как я узнал чуть позже, это был дедушка-стукач, из тех, что пашут до дембеля).

В тот же вечер я написал домой, сперва хотел сообщить, что я где-нибудь в соцстране, но потом все же решил - Афган.

Из окна казармы был виден кишлак. Небольшие глиняные постройки - дувалы. Там ходили люди, колючая проволока и минное поле отделяли нас от них. Стоял ноябрь 83-го года.

ГЛАВА 13. Колобаха

Ну что такое казарма? Бетонный пол, от которого тянуло сыростью. Койки в два яруса. Верхние для духов*, нижние для дедушек и черпаков. И конечно же - тумбочка дневального. Без нее никуда. Это корень, основа, каркас казармы. С дневальным шутили. Шутки самые разные. Ну, например, проходит мимо дедушка и задирает дневальному шапку на лоб (чтоб чуб было видно). А другой дедушка говорит: „Ты что, припух, ну-ка надень как положено“.

Перед сном дедушка, которому не спится, мог подозвать к себе и спросить: „Ну-ка, расскажи, сколько баб на гражданке перепортил“.

Каждый дух должен знать, сколько дедушке осталось до дембеля. Не дай Бог ошибешься, не миновать колобахи. Колобаха бывает двух видов. Простая и стереофоническая. Молодой солдат берет в рот шапку, нагибается и мотает головой, дедушка сначала по ушам его, как кролика, а потом, заключительно - по шее. Это стереофоническая, а простая - просто по шее.

Иногда дедушки проводили с нами беседы: „Год честно отпашешь и все. От этого никуда не деться“.

Так дедушки смиряли нас силой слова. И, как и дедушки всех времен и народов, они иногда любили поворчать: „Да что это, разве мы вас гоняем, вот нас в свое время“.

ГЛАВА 14. Духи

Духи тоже бывают разные. После карантина** - одни духи, они уже выслужились перед дедушками, и у них больше прав по сравнению с молодыми солдатами, только что прибывшими с учебки***.

Есть духи русские и нерусские.

* Духами называют душманов, молодые солдаты тоже почему-то носят имя духов.

** Подготовка в течение двух месяцев.

*** Учебная часть (6 месяцев).

Русских духов гоняют все - и русские дедушки и нерусские, а нерусские духи находятся под защитой своих дедушек-земляков.

Кроме этого, у нас были различия между духами с роты и духами с узла. Солдаты с узла не ночевали в казарме и не ходили в наряд. Между ними не было равенства, первые были на ранг выше.

Для того чтобы стать черпаком и пользоваться привилегиями, нужно честно отпахать свой год.

Но бывают исключения, бывают такие, которые пользуются всеми этими благами досрочно, и не потому, что они какие-то особые. Совсем не поэтому. Просто им повезло. Все зависит от должности, должность выделяет и дает право не ходить в наряды, не заправлять утром по нитке постель. Водитель командира, почтальон.

Мы, простые духи, завидовали таким, нам доставалось и за себя, и за того дедушку. Даже в столовой покоя не было, после приема пищи нас припахивал наряд. Мы опаздывали на построение. Старшина нас ругал и с наивным видом спрашивал: „Где шлялись?“ (хотя он прекрасно знал, где мы были). Наряд вне очереди.

Когда выдавалась свободная минута, собирались и заводили речь о том, что вот когда мы будем дедушками... И каждый искренне думал, что никого бить не будет и издеваться тоже.

Но до этого было еще целых полгода. Нам казалось, что это целая вечность. Наверно, никогда ни для кого из нас время не тянулось так медленно.

ГЛАВА 15. Матрацы

Осень и зима в Кабуле прохладные. Грязь. Слякоть. В казарме сквозняк. Уже за полночь, скоро начнет светать. Старослужащие сладко спят под несколькими одеялами. Им самое время видеть сны, в которых „водки - бочка, пива - таз и Устинова приказ об увольнении в запас“. А мы, согнувшись,

дремлем. Холодно. Страшно холодно. Черпаки и деды забирали даже матрацы. А что офицеры, где замполит. Они знают, все все знают, но им легче не замечать.

В 7 утра тишину нарушает бас старшины:

- Рота, подъем.

Молодые уже не спят, они ждут этого крика, многие уже оделись*, умываться не положено. Мне сначала не верилось, как не положено, заправил свою постель и пошел к умывальнику. Вернулся быстро. И присоединился ко всем. Койки заправляли - по нитке выравнивали. Черпаки в белых майках, в ярких подтяжках присматривали. Подогревали. Подгоняли: „Быстрее. Быстрее!..” И так до завтрака.

Иногда мне удавалось сбегать. Я уходил за казарму, стоял и смотрел на кишлак, на горы, вспоминал одного деда с дизельной, я был на него зол и собирался отомстить ему, подражаться с ним, даже караулил его, пытался поймать одного.

ГЛАВА 16. Стукач

Наша рота вышла из столовой. Пока дедушки перекуривали, мы обязаны были построиться или создать что-то наподобие строя. Это были минуты отдыха, никто не трогал, можно было помечтать.

Из-за пригорка показался старшина.

- В бане все были? Ну что, все помылись?

- Нет, не все. Мы не успели, - я сказал это совершенно неожиданно, я никого не хотел подводить (как и все, я боялся стать стукачом, я знал, видел собственными глазами, что меня ожидает в подобном случае). Я просто ответил на вопрос. Ведь мы действительно не успели помыться, старослужащие мылись все отведенное время.

- Кто не успел?.. Еще кто?.. Может, еще кто-то?..

- Нет, помылись. Все помылись, - ответил стройный хор молодых голосов.

* Сапоги и ремень, остальное на себе, спали-то не раздеваясь.

После этого старшина ушел завтракать, подошел Бык, его кровать была под моей, и он почему-то ненавидел меня.

- Что, стукач?

Бык обладал огромным авторитетом. С ним никто не стал спорить*.

- Нет, я не стукач, разве я кого-нибудь назвал.

Я начал оправдываться. Куда там. Ярлык был готов. Этого было уже достаточно. С этого все началось.

Молодые начали меня сторониться, их на меня натравливали, всяческие унижения и насмешки надо мной со стороны моего призыва поощрялись дедушками. Это был беспроигрышный вариант.

ГЛАВА 17. Стирка

Стирать мы ездили сами, возили белье и стирали. Солдаты должны были сами стирать.

Загружали белье в стиральные машины. Доставали. Вешали сушить. Работы хватало.

Я всегда изъявлял желание, всего несколько человек, все молодые, и подальше от роты.

В этот раз со мной ездил шустрый паренек из Молдавии. Гуцул. В обеденный перерыв жгли костер, грелись, приходили дедушки из других частей и посылали нас за досками, ящиками. Чтоб жарче было.

Съели припасы, привезенные старшиной. Рядом - хлебозавод. У молдаванина там земляк был. И он принес булку хлеба. Целую булку.

По пути я внимательно следил за местным пейзажем. На улицах мальчишки обстреливали нас гнилыми фруктами,

* Дембеля относились ко мне хорошо, после этого случая я как-то слышал разговор: „А он мне нравился. Я от него не ожидал”. Но дембеля не дедушки. Дембеля уже уходили домой.

объедками, иногда мелкими камнями и матерились. Матерились они хорошо, у них врожденная способность к языкам.

Возле маленького дукачика* остановились, старшина что-то себе купил.

Ехали на открытой машине, и я простудился. Уже в дороге почувствовал слабость, жар, глотать было трудно. Приехали, старшина отправил меня в санчасть.

ГЛАВА 18. Санчасть

Санчасть была маленькая. Всего 4 койки. А через перегородку жили прапорщик и младший сержант. У них был магнитофон. И я впервые услышал все эти блатные песни. Еще прапорщик играл на баяне и пел: „Как у нас на озере лилии цветут, и мою любимую Лилией зовут. Уплыву на озеро, и цветов нарву, и тебе, любимая, я их подарю". У него хорошо получалось. От души.

Болезнь мне нравилась. Температура у меня несколько дней держалась 39,5 (чуть в госпиталь не отправили). Но чувствовал я себя хорошо и, когда спала температура, я расстроился.

Получку, 9 чеков, мне прямо в палату принесли. И сразу же гонцы от дедушек прибежали - отдай. Я не отдал и попросил прапорщика, чтобы он на все сладостей набрал. Сгущенка. Печенье. Si-si. Пир горой. Дни быстро шли, я уже выздоровел, а уходить не хотелось. Прапорщик все понимал и не выписывал. Я каждый день делал генеральную уборку. Все чистил, мыл и был тише воды ниже травы.

Но потом приехал капитан, начальник медслужбы. Я пробовал просить у него, чтобы навсегда остаться. Помогать буду сержанту. А после армии в мединститут поступать.

Не помогло. Но капитан был не виноват, штатной единицы такой нет.

И отправился я снова в роту. Там меня уже ждали... По ночам я мечтал заболеть. И еще раза два попадал в санчасть.

* Дукач - магазин.

ГЛАВА 19. Автомат

„Добрый день. Обращаюсь к вам с просьбой. Во время службы в ДРА я потерял друга. Помогите мне разыскать его..." Это я после армии обращался в адресный стол Донецкой области, хотел найти Саню Ткаченко.

Но оказалось, „без отчества справку навести невозможно", а отчества я не помнил.

С Саней мы вместе были в учебке, вместе приехали, и, когда от меня все отвернулись, он единственный, кто со мной общался. Он сразу устроился хорошо. Он располагал к себе, с открытым лицом и обаятельной улыбкой. Саня был почтальон. У него была своя коптерка, я приходил к нему, он меня угощал чаем и говорил, что все равно, несмотря на случившееся, он уважает меня больше всех.

Саня хотел, чтоб после армии мы вместе с ним жили у него, в Донецке. „На сестре моей женишься, она такая красивая. Купим черную „Волгу" и будем все вместе на ней ездить".

Я не знаю, как так получилось, что Саня похитил у комбата автомат и продал его за 20 000 афгани Фариду*, а Фарид проболтался. Под трибунал Саню не отдали (автомат был не зарегистрирован, это было личное оружие комбата, поэтому комбат все замаял). Саню отправили в другую часть, в Газни, с тех пор я ничего о нем не слышал.

ГЛАВА 20. „Помпа-27"

На узле не хватало телефонистов, вспомнили, что я механик дальней связи и перевели меня на коммутатор. Я был „за"!

Мне нравилось соединять, делать кому-то приятное. Все начальники служб, зам. командующего называли меня просто - сынок, некоторые даже имя спрашивали, для таких я все предоставлял в первую очередь.

Иногда (ночью) я подслушивал: однажды разговор командующего с нашим комбатом, оказалось, что комбат - пьяни-

* См. главу 25. Торговые контакты.

ца и алкоголик, а начальник штаба - развратник. Еще звонил в Москву, знакомился с телефонистками, договаривался о встрече. Мечтал, как я в форме десантника гордо вышагиваю по улицам Москвы, все на меня глазеют, а телефонистка - симпатичная милая девушка - влюбляется в меня.

Для поддержания своего „авторитета" Шурику Шелковникову обещал дозвониться домой - в Новосибирск (до Новосибирска я дозвонился, а дальше...).

На обед я ходил редко, часто не ел по два дня, и, когда Новиков или мой дедушка приносили мне хлеба (причем дедушка говорил при этом: „На, жуй, а то сдохнешь от голода, сходил бы пожрать"), я впивался в хлеб и моментально его съедал. Хотел есть медленно, чтобы растягивать удовольствие, но у меня не получалось. А в столовую я боялся ходить, потому что меня там всячески унижали, сперва свои ротные, а потом кухонный наряд припахивал.

Иногда я сбегал, и мне передавали ультиматум, чтобы я больше не появлялся на обеде.

Я приходил на узел, а мой дедушка упрекал меня, почему так долго обедал. Правда, он меня не трогал. Он был лояльным.

ГЛАВА 21. Мины.

На коммутаторе нас было трое - я, дедушка и еще один молодой, миной ему оторвало ногу. Он выносил бачки с мусором и высыпал их вблизи минного поля. Были сильные дожди, все размывало.

Потом еще одна мина разорвалась. Недалеко от казармы, там камни были, и ручеек бежал. По утрам все здесь умывались. Дедушка меня послал за мылом, я взрыв слышал. Пришел, а дедушки (не моего, другого) - нет.

ГЛАВА 22. Чистка картошки

Больше всего я боялся чистки картошки. Один раз в неделю наша рота чистила картошку, выделялись молодые, ни один черпак туда не ходил. Ни одному из офицеров или пра-

порщиков никогда и не пришло бы в голову послать старослужащего. Это были неписанные армейские законы.

Людей не хватало, чистка картошки обычно растягивалась с 6 вечера до 3 часов ночи. Естественно, привлекали и духов с узла.

Для меня это было настоящее мучение. Я ведь находился между двух огней. Мой непосредственный начальник - прапорщик - запрещал мне участвовать в чистке, собирался наказыывать.

А за мной приходили молодые из моей роты, просили моего дедушку, чтобы он посидел за коммутатором (он всегда им уступал), и забирали меня насильно. Мне не приходилось выбирать, они всегда оказывались сильнее и влиятельнее прапорщика.

Мой призыв уже приближался к черпакам, некоторые уже собирались ушиваться. А тут на тебе - картошка.

Как-то застучал Кораблик. Его все избивали и меня ставили в пример.

- Вон смотри, - показывал на меня пальцем Шелковников, - даже он не застучал.

И я был рад, что бьют не меня, а его, и что хоть сегодня меня не трогают, не до меня. Сегодня Кораблик - козел отпущения. Меня тоже заставляли его бить, чтобы отстали, пришлось один раз изобразить что-то наподобие удара. После меня вызывал замполит.

- Как, и ты тоже?

Я молчал.

ГЛАВА 23. „Опера"

Наш узел связи присоединился к общеармейскому, и „Помпу" переводили на „Оперу".

Я радовался, сидел и мечтал. Новая часть. Меня никто не знает, я уже черпак*, ушьюсь, и начнется новая жизнь без издевательств и унижений.

* 12 ударов ремнем ниже спины разделили мою армейскую жизнь на две части.

Но на „Помпе“ я ушиться не мог. „Не дай Бог ушьешься,“ - предупредили меня с роты.

И я пришел в новую часть в форме не по размеру, без кожного ремня, правда, я его спустил ниже, чем обычно. Меня спросили: „Ты кто?“

Я сказал: „Черпак“.

- А почему не ушит.

- А не охота, - я постарался быть как можно естественнее, но мне не удалось.

- Чарс будешь или тоже неохота. Или может не положено*.

Я уже собирался уходить, но мне сказали: „ Подожди, ремешок поправь“.

У Валеры Копьеноса навели справку.

- Да нет, он никого не застучал, так просто, чмо.

Мы с Валерой (Валеру перевели вместе со мной) не переносили друг друга. Он был под два метра, и над ним тоже здорово потешались, авторитетом на „Помпе“ он не пользовался.

Вместе с местными духами мне пришлось мыть полы, и т. д. и т. п., параллельно я пытался улизнуть.

Ходил в гарнизонную поликлинику на прием к невропатологу. Говорил ему, у меня - нервы, но он не реагировал. Предлагал свои услуги в качестве уборщика, не взяли. Снова, как и в помповской санчасти, мечтал попасть в госпиталь, а после службы поступить в Институт. Ходил в особый отдел, хотел устроиться туда. Начальник был мой земляк (телефонный знакомый). Не вышло. Даже садовником в сад Амина хотел. Прапорщик Сосков - мой прямой начальник, тоже земляк, и я хотел с ним искренне поговорить. А он сказал: „Товарищ солдат, почему у вас подворотничок неправильно пришит и ботинки почему не блестят?“

* Духам и стукачам запрещалось употреблять наркотики.

ГЛАВА 24. Бэтээры

С Заса* меня перевели на простой коммутатор, а там всего два человека, вместе со мной, теперь хоть на смене я мог расслабиться и отдохнуть.

Мне было 19, водки я никогда не пил, курить не пробовал, женщин не было ни одной.

Я был мальчиком во всех отношениях, писал мамочке письма, заверял ее в своей любви.

И делал заметки в своей тетради: „...я никогда не смогу, что-нибудь уворовать у государства, и в то же время не только не помешаю другим это сделать, но даже могу косвенно помочь. Возьмем, к примеру, сегодняшний день. Кто-то, с риском для себя, пошел в столовую, принес икру, консервы, хлеб; заскочил в сад Амина, набрал полную сумку яблок. Как охарактеризовать его поступок и общественное мнение о нем?“

Я бы никогда не пошел на это (хотя словами я подталкивал), и, конечно, не из-за своих принципов, может быть, из-за трусости... я тоже в числе первых с жадностью ел...”

Еще я мучился: „...какую лично мне занять позицию в борьбе с пьянкой, курением, наркотиками... Возможно ли введение сухого закона? Созреет ли человечество. Если нет, то что же будет впереди, например, при коммунизме?..“

Ночью звонили мало, времени было много, дедушка спал, а я читал; у меня нашелся родственник. Советник. Целый полковник. Он был недавно в отпуске и привез мне передачу из дому; яблок и книгу стихов Баратынского.

И еще я попросил у одного прапорщика две фотографии с видом дворца Амина и отправил их маме и брату.

Когда дедушка садился за коммутатор, я закрывался в туалете и выбирал бельевую вошь. Мандавошки. Их называли бэтээрами. Они были крупные, жирные. Селились в складках.

Я несколько раз кипятил ХБ**, с трудом от них избавился.

* Засекреченная связь, у меня допуска не было, и, как появилось, кем заменить, меня сразу же и заменили.

** Гимнастерка

ГЛАВА 25. Второй поцелуй

Один прапорщик начал почему-то читать лекцию о вреде рукоблудия. Рассказывал о своей жене. Вот приду (ему было за сорок) еще ребенка заведу.

С чего это он вдруг?

Скоро у нас на коммутаторе появились женщины.

У нее были такие красивые ноги. Потом мы оставались одни (случайно один раз). Она поцеловала меня и сказала: „Бедный мальчик.“

А первый... В школе нас выпускали на перемену по очереди, сперва выходили отличники.

Я выходил самым первым и становился в коридоре возле стены. А она подошла ко мне, наклонилась и поцеловала прямо в губы. Ей тоже было 7 лет.

ГЛАВА 26. Коренной перелом

Дембеля ушли, мой призыв стал дедушками, теперь верховодить стали Гена Грозин и Дима.

Дима ходил по казарме и размахивал нунчаками, его слово было закон.

Гена - высокий, стройный, красивый. Мы часто втроем беседовали на всякие эстетские темы. Диму призвали с юрфака, а Гена, как и я, пробовал писать рассказы, стихи, на этой почве мы подружались. Все это знали, наши койки стояли рядом.

И сейчас, все поспешили изменить отношение ко мне. Я стал уважаемым дедушкой. Третьим человеком в части. Привилегии посыпались на меня, как из рога изобилия. Я стал хорошо питаться (нам троим приносили пищу из офицерской столовой).

За коммутатором я почти не сидел, брал с собой книги и читал. После смены часто ходил заниматься в полковую библиотеку, меня охватила жажда знаний. После нескольких дней такой жизни я даже постель перестал заправлять.

А когда меня назначили дневальным (дежурным по части

был молодой лейтенант, недавно прибывший из Союза), к тряпке я не притронулся, на тумбочке не стоял. И ночью стал убеждать лейтенанта в необходимости дедовщины, так должно быть, говорил я, ничего не поделаешь.

ГЛАВА 27. Тишина

За все время в нашей части не было ни одного ЧП. Никого не убили, никого не ранили.

Одного сержанта (он собирался в военное училище) комбат представил к медали „За боевые заслуги“.

Сам комбат получил орден Боевого Красного Знамени. Жизнь текла тихая, в столовой давали сушеную картошку и кенгуру с Новой Зеландии.

На ужин - рыбные консервы из Темрюка*. Сигареты выдавали „Охотничьи“ из Краснодара. И в магазинах сок яблочный тоже из Краснодарского края. Приятно**.

На смену мы ходили строем. Узел связи находился в бывшем дворце Амина. И кроме пейзажа, который открывался по дороге, на глаза ничего не попадалось. В Кабуле я был всего три раза: по приезде, по дороге в госпиталь и по дороге на дембель.

Экскурсий никаких не проводилось, ни лекций, ни бесед. На смене делать было нечего.

Ходили смотреть на кроликов, комбат их держал для себя. Как-то за этим занятием он нас и застал.

- Что юннаты, невыебанные.

Самым острым ощущением был сбитый над штабом армии советский вертолет, который распадался на части прямо на наших глазах.

ГЛАВА 28. Письмо

Гена Грозин перехватил у Тимашова*** письмо, где он описывал матери свои подвиги: „...пробираюсь с донесением в

* Краснодарский край.

** Я тоже из Краснодара.

*** Дедушка нашего призыва.

штаб, везде духи, отстреливаюсь. Уже 18 убил. Еще одного убью, и орден дадут..."

Вот за это историческое послание Гена с Димой и решили его наказать. Как раз вечером принесли спирт, они были навеселе и послали за Тимой.

Я с трудом удержал их. Тима был беззащитный. Типичный маменькин сынок, призвался со второго курса института. Интеллигент в очках.

С этого дня Тима пытался быть поближе ко мне. И в строю рядом стать и в столовой на одну лавочку сесть.

ГЛАВА 29. Злостный дедушка

Духов я не бил, но заставлял учить наизусть Гимн Советского Союза и Интернационал.

И дошел до того, что перестал сам стирать себе ХБ. Как-то на дежурстве припахал одного молодого, и он, постирав, повесил ее сушиться на железной вешалке у дизеля. Чтoб быстрее высохла. Но, видно, слишком близко повесил, вешалку затянуло. Дизель сломался, и весь узел связи пришел в бездействие на целый час. Маленькое ЧП.

Было расследование. Замполит сказал: „Ну что, под суд тебя... Или 30 000 будешь платить".

Но все обошлось, у комбата было хорошее настроение: орден, скоро полковника получит, а замполиту досрочно - капитана. Меня даже не наказали.

ГЛАВА 30. Гепатит

В начале зимы я заболел, попал в инфекционный госпиталь (где и проторчал полмесяца).

Госпиталь занимал обширную территорию, несколько одноэтажных модулей. Желтуха... Брюшной тиф... Мест не хватало, развернули палаточный городок. Двое десантников в теплых бушлатах повели на карантин. Душ. Горячей воды не было. Дедушки и черпаки не мылись, духи обязаны были мыться.

Затем все проходили через каптерку. Маленький толстенный солдат с гнилыми зубами требовал деньги, ча-сы...

У меня ничего не было. У рядом стоящего каптерщик забрал ручку*

- Я дед, - возмутился тот.

- Ну и что, я собираю коллекцию, - объяснил каптерщик.

Сдали обмундирование, сапоги.

Узкие проходы разделяли двухъярусные койки, нижние были заняты. Я взобрался наверх и лежал, ни с кем не вступая в разговор.

Кто-то бесцеремонно подергал меня за ногу.

- Пошли за картошкой.

- Я дед, - произнес я тихим голосом, вышло не очень уверенно. Но молодой отстал, ушел доставать картошку сам. В конце коридора стоял телевизор, я тоже пристроился, немного постоял.

Даже без ХБ нетрудно было определить, кто сколько прослужил - по прическе, манере себя держать и по пижаме, которая сразу же ушивалась. Один дух объявил себя черпаком, но был разоблачен и жестоко наказан.

Кроватей не хватало, одеял тоже. Столовая - палатка - валилась, все не помещались, было 3 смены. Смены ели из одной и той же посуды. Ложек вообще не было. Все жили надеждой попасть в Союз и ждали отправки.

ГЛАВА 31. Красноводск

Нас прибыло 16 человек, по дороге нас встретил один щупленький чеченец и нагло заявил: „План**, деньги сюда ". И все, в том числе и дедушки, послушно полезли в карманы.

С нами был один десантник. Герой Баграма. Чеченец его выделил особо, начал выворачивать у него карманы, и де-

* Не простую, а гонконговскую с часами.

** Наркотик, то же, что чарс.

сантник сам помогал ему в этом, оправдываясь - да разве я б не дал. Ну, честное слово, нет.

Мне повезло еще в первый день, рядом лежал дедушка с разведроты. Мой земляк. Он пользовался авторитетом. Имел награды. Я с ним повспоминал родные места и постарался, чтобы на наш разговор все обратили внимание. И все пошло как по маслу.

ГЛАВА 32. Чеченцы

Заправляла группа чеченцев, их было человек десять, но этого было достаточно. Чеченцы не делали разделений на дедушек, духов, черпаков. Для них все были равны. Кто подвернется. Но меня они почему-то не трогали. Все-таки Краснодар - Северный Кавказ.

А Леша, бедный Леша,* летал как последний дух, все душки дрожали и старались в палате не задерживаться. То же делал и я. Но я уходил не спеша, всем своим видом показывая, что эти чеченцы не имеют ко мне никакого отношения.

ГЛАВА 33. Лада

Лечили - капельницы ставили. Ничего не болело. Аппетит зверский, кормили хорошо, но, несмотря на это, мы с Лешей питались в нескольких столовых одновременно. В двух своих и еще ходили в столовую для раненых. Я весил всего 58 кг, а до армии 67 было.

Фильмы показывали, на экскурсии возили, на Каспийское море. Библиотека была, и все ходили записываться, книги выдавала девушка со звучным именем Лада.

ГЛАВА 34. Баграм**

Я рассчитывал, что удастся протянуть до дембеля, возвращаться не хотелось, оставалось всего два месяца до приказа. Но отравили. На реабилитацию.

* Дедушка с соседнего полка.

**Город в ДРА.

И началась тоскливая жизнь. Кормили плохо. На работу гоняли. Снаряды грузили, килограммов под сто ящики. Строевым заставляли заниматься. Песни петь. А замполит будил всех в 6 утра и бегать заставлял. Все просились в свои части. Не отпускали. Положена реабилитация - месяц.

Я позвонил комбату (нас, связистов, насобиралось человек шесть), и за нами приехал старлей. Мы сбежали.

ГЛАВА 35. Торговые контакты

Торговля процветала, афганцы, люди добродушные, брали все. Колеса, кондиционеры,* сигареты, сгущенку, консервы, соки, печенье и даже солдатское обмундирование, начиная с шапок и ремней и до нижнего белья включительно.

В основном торговля велась через водителей и наряд военной автоинспекции (на „Помпе“, напротив казармы - кишлак, в кишлаке жил местный купец Фарид, с ним и имели дело, вещи и деньги перебрасывались через минное поле).

За всю службу я так ничего и не продал, хотя пытался вместе с Геной сбыть колесо. В торговый контакт я вступил только один раз, когда возвращался с реабилитации. У развилки мы остановились.

Там как раз наши танк делали (я тогда впервые побывал внутри танка). Рядом была целая стая мальчишек. У меня было несколько чеков, и я купил у них открытки с изображением девушек**.

Потом я надел шинель старшего лейтенанта. Подходили местные афганцы. Сорбосы*** с нашими ППШ. Хлопали по плечу: „Командор, командор, чарс нужен“.

* Кондиционер стоил 25 000 афгани (на эту сумму можно было купить 20 джинсов).

** Не порнографические.

***Воины.

ГЛАВА 36. Домой

Дембельских альбомов я не готовил, фотографий у меня было всего 5 штук, и то сняли случайно, на одной фотографии с собакой. Пса, как и большинство армейских собак, звали Дембелем.

Никаких аксельбантов, подставок под погоны, значков - ничего этого я тоже не делал.

Только тетрадь с армейским фольклором: "...почему до сих пор никто не собрал солдатский фольклор и не издал книгу. Это нужно сделать..." - записал я в своем дневнике.

Билетов на Краснодар не было, и Тима (это тот, за которого я заступался), пригласил меня к себе в Темиртау.

Спустя два года мама мне писала: "...ты сразу не поехал домой, где тебя так ждали, ты поехал к другу... прежде чем сказать: „Мама, здравствуй“... ты мне свою одежду вручил и сказал все спалить..."

От друга* я примерно в это же время тоже получил письмо "... Мы не писали** друг другу, и между нами не существует общих тем и понятных слов... Будешь в Питере, заходи, поговорим. Привет, Тим". И фотографию зачем-то прислал - лежит на ляжке в солнцезащитных очках. Фотографию я изорвал вместе с письмом.

1988-1989, Керчь; Москва, 15-18 января 1991 года

* От Тимы.

** Я ему первый написал.

Вышел в свет роман Виктора Перельмана „Грехопадение Цезаря“.

Роман написан от лица бывшего московского журналиста, пережившего все прелести советской системы и оказавшегося на склоне лет в эмиграции. Герои романа - выходцы из среды московской богемы, - оказавшись в Америке, мечутся в поисках места под солнцем: мы видим их в русских ресторанах Бруклина, в подозрительных, полууголовных бизнесах, погруженными в иллюзорные эмигрантские мечтания. То там то здесь мелькают знакомые лица, слышатся родные голоса... Другая сюжетная линия - жизнь самого автора, человека острого и умного и вечно униженного из-за неустойчивости жизни, из-за своего еврейства и к тому же из-за... своей сексуальной неполноценности - тайный недуг, который неизменно проходит через всю его жизнь. И вот в эмиграции он решает как бы взять реванш и обессмертить себя произведением, в котором выскажет всю правду о себе. О загубленной в сталинском лагере молодости, о жене, о своих несчастных связях с женщинами, об эмигрантском окружении. Рождается горячая исповедь человека, неизвестно зачем прожившего жизнь и решившего эпатировать читателя выворачиванием самых темных, болезненных закоулков своей души: род мазохизма, который странным образом скрашивает его последние дни. Все остальное мы узнаем из самого романа, который, возможно, и введет читателя в тяжелые раздумья по поводу „проклятых вопросов“ жизни, но вряд ли оставит его равнодушным, когда он закроет последнюю страницу.

В книге 320 страниц. Цена - \$ 16. Заказы и чеки высылать по адресу:

**„Time and We“
409 Highwood Avenue
Leonia, New Jersey 07605, USA**



КОМЕДИЯ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ

Даже не помню, где я впервые это услышал: „женщины Окштейна“ - некое устоявшееся клише, призванное засвидетельствовать предмет, волнующий художника.

„Я полюбила этих женщин, - пишет эмигрантская критикесса. - Теперь я часто вижу их на улицах Нью-Йорка, в сабвее, вестибюлях банков, кафе, ночных клубах... Узнаю их по жестокости взгляда, независимому повороту головы, твердости походки. Их шляпки, вуали, ремни, кружева, обтянутые юбки, корсеты, перчатки, сигареты - все это сумел сфокусировать, собрать воедино и запечатлеть на вызывающе красивых лакированных поверхностях своих картин художник Семен Окштейн“.

Все сказанное правда, по крайней мере та правда, на которой базируется бессмертное искусство соцреализма. Помните: „Искусство, как зеркало жизни,“ и потому запечатлевающее ее, собирающее воедино, фокусирующее ее...

- Как и где вы нашли ваших дам? Что привлекает вас в них? - задается вопрос художнику.

- Где нашел? - улыбается он. - Мне помогла патологическая слабость к женскому полу. Если даже вернуться в мое детство и вспомнить, что я тогда рисовал, то окажется, что рисовал я только женщин.

И неожиданно заявляет: - Женщина всегда была для меня мистичной и загадочной. Она была интересна мне как сама природа.

- И теперь, уже будучи вполне взрослым человеком, художником, вы по-прежнему черпаете в женщине свое вдохновение.

- Окружение, в котором я живу, - здесь я черпаю вдохновение! - отвечает Окштейн, которого, похоже, мало прельщает роль певца нью-йоркских обольстительниц. Хотя он и создал их целую галерею и написаны о них десятки эссе, замысел художника так и остается загадкой. Все вроде сказано, и не сказано ничего. Героинями некой странной мистерии выглядят все эти его „Девочки с обложки журнала“, его „Партнеры“, его „Зазывающая“, его „Курящая“, его „Сюзанн“, его „Бизнесмен“ - весь этот вызывающе красивый, раздерганный мир платного секса. Мы можем сколько угодно философствовать на тему натуры художника и тысячи раз повторять, что его героинь мы встречаем на улицах Нью-Йорка, и что именно с этих улиц он натурально перенес их на свои полотна, и что многие навеяны даже его окружением, и даже образом его жены Татьяны или супругой старого приятеля доктора Урина. И сам он со своей „патологической слабостью к женскому полу“ расскажет, кто есть кто, но, кажется, никогда не сознается в том, что весь этот фантастический мир от начала до конца им выдуман и имеет лишь то отношение к реальности, что стала она импульсом для безудержной фантазии автора. Назовем вещи своими именами: настоящий художник ничего не выражает, не собирает и не фокусирует. Его образы - это он сам, его эмоции и талант, преображенные на полотне, и творит он нечто совершенно свое, мифическое и интимное, не похожее ни на какую реальность. Это, в сущности, и отличает настоящего мастера от простого рисовальщика с натуры.

Но о чем все-таки эти блестяще выписанные сексуальные хищницы, только что сошедшие с рекламных обложек? „А ни о чем, - готов ответ у завистников, коих у Окштейна хоть отбавляй, - обычное коммерческое искусство, по 30 тысяч долларов за картину“.

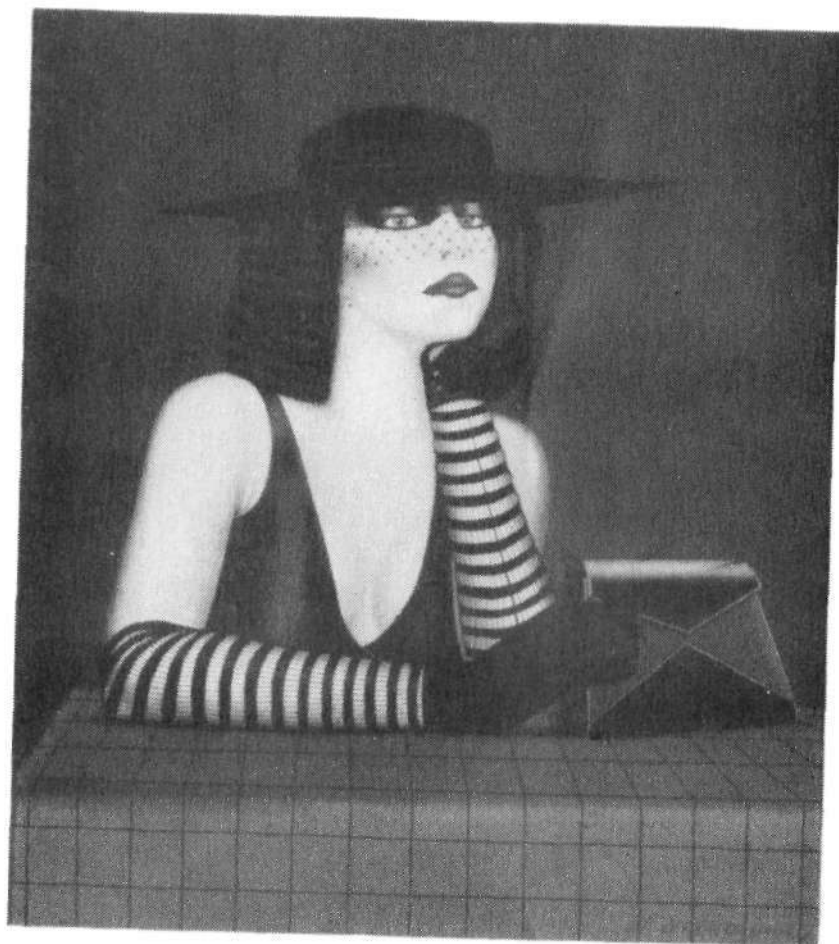
Когда-то написал я на эту тему статью „В защиту коммерческого искусства“. Статью о мире прекрасного, где, вопреки, может быть, всякой логике, доллар остается единственно признанным и всеобщим критерием. Дурно ли это, хорошо ли, но таковы реалии мира, среди которых мы с вами живем.

Известному парижскому критику Жозе Пьеру женщины Окштейна напоминают средневековых рыцарей, у которых под их доспехами и металлом панциря не осталось ничего живого и естественного. Так что же? Просто манекены? Да, манекены, если не считать одного замечания самого художника. Он говорит, что у его женщин живое человеческое лицо и манекенное одновременно. И далее: „В моей женщине, по-

сколько я художник русский, есть что-то живое в глазах". Я бы добавил: и что-то пронзительное, и агрессивное, и что-то неуверенное, этакий глубоко упрятанный комплекс страха перед миром, в котором она живет. Если она себя вовремя не продаст, то за любым углом (несмотря на все ее амбиции и агрессивность) ее могут ограбить, изнасиловать, убить. Таков уж Нью-Йорк, город секса и смерти, который окружает женщин Окштейна. Взгляните: этот дразнящий оскал зубов, эти жирно накрашенные губы и эти сигареты в длинных, словно дуло, мундштуках - весь этот сексуальный аттракцион есть, в сущности, комедия, комедия потерянных душ, как писал все тот же Жозе Пьер. Его слова и подводят нас к пониманию мифологии Семена Окштейна. Можно сказать, что его искусство о женщине-манекене, что оно просто род бизнеса и самореклама художника, который, желая повыгоднее себя продать, создает вызывающе красивые лакированные полотна. А можно сказать, что это искусство - о современном трагикомическом мире, где все на продажу, все на сэйле, и женщина, символ мировой гармонии, становится высшим выражением этой трагикомедии. Из символа и знака прекрасного она превращается в обычный торговый знак, в рекламу, цель которой - помочь выгоднее продать товар. Такова эта зловещая метаморфоза, блестяще выписанная на языке красок Окштейном. Его пример - это пример многозначности искусства, богатства и выразительности его языка. Оставим в стороне выдуманный марксистами разговор об искусстве и жизни. Воздадим лучше должное труженикам и творцам прекрасного, которые прокладывают путь к небу и делают работу, не знающую географических границ. Все открыто искусству, если оно настоящее, если оно плод таланта и полета мастера.

В. ПЕТРОВСКИЙ

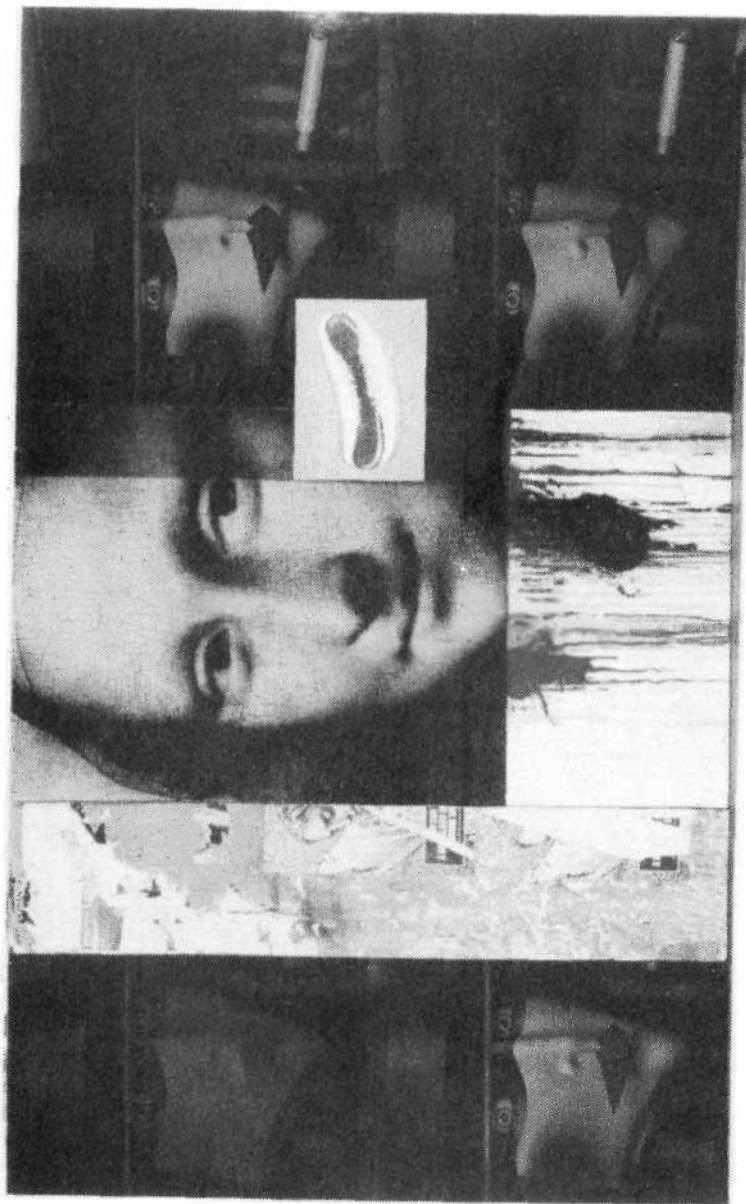




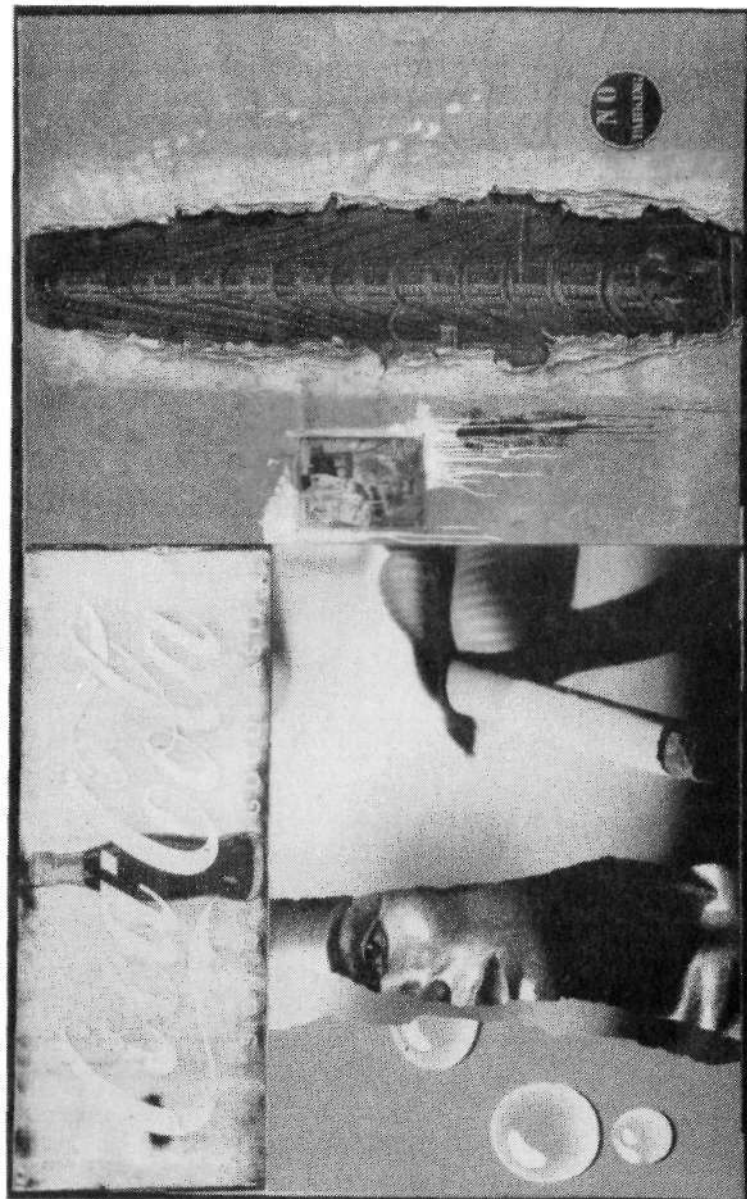
Память



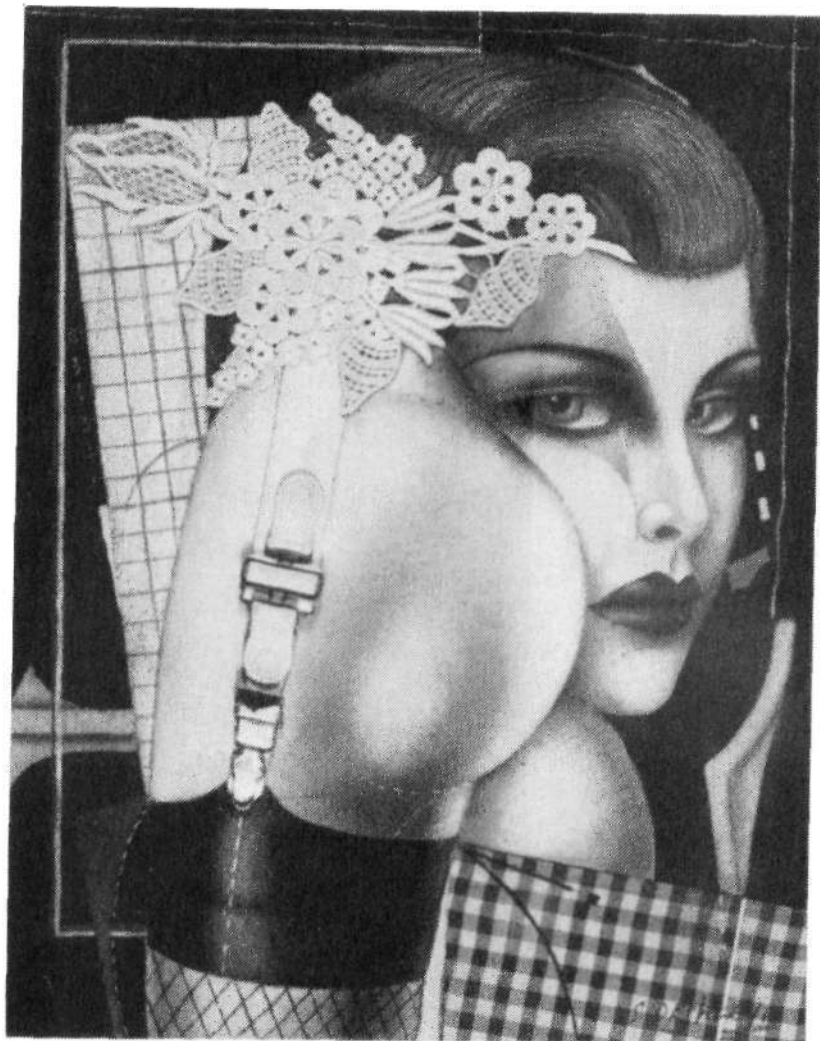
Таня



Мона Лиза



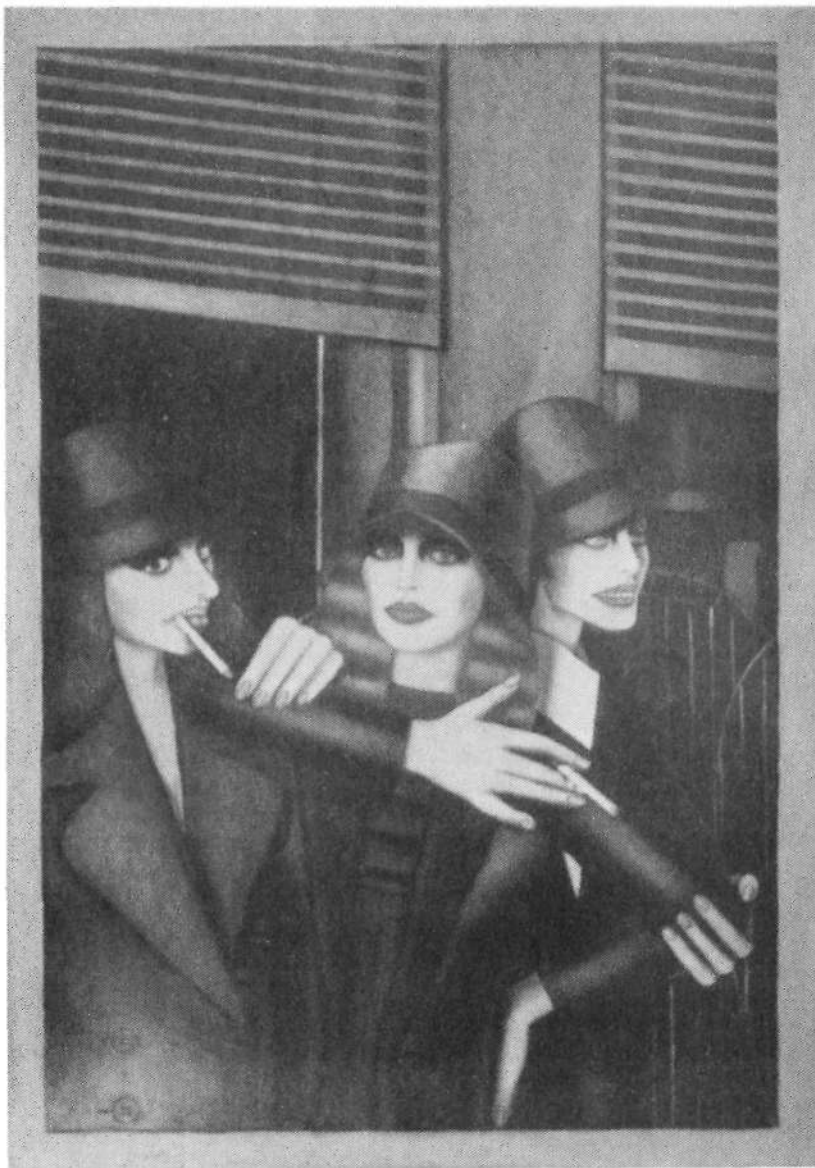
Но паркинг



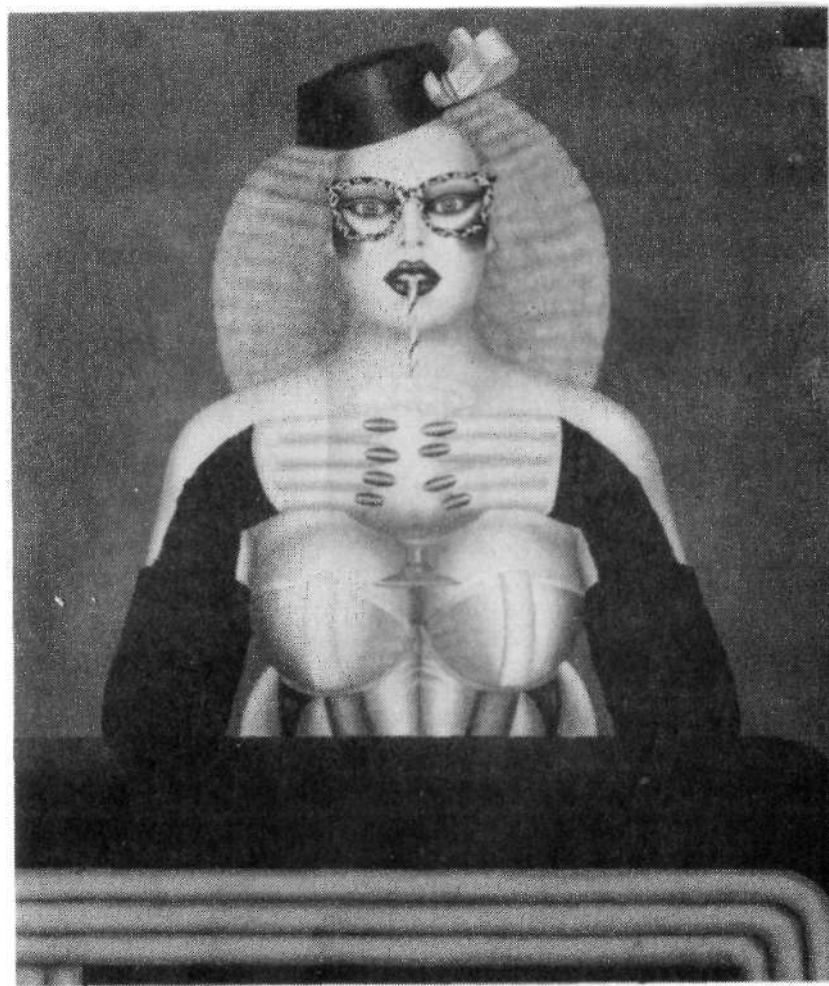
Щека к щеке



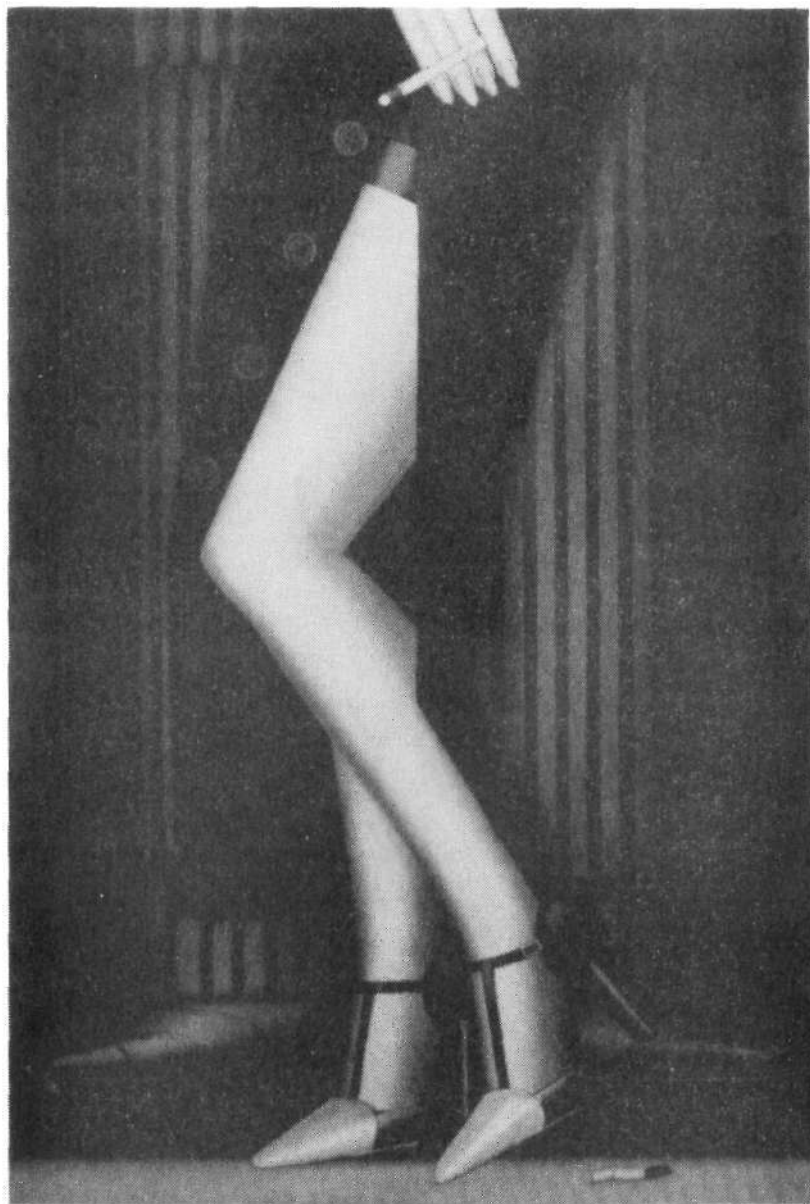
Курящая



Девушки с обложки журнала



Пина Колада



Ноги

СОЛОМОН ЦИРЮЛЬНИКОВ

Умер Соломон Цирюльников. На 87 году жизни. Как написали его друзья, умер тихо, спокойно, с достоинством. Был он человеком исключительной судьбы, и гармоничность его характера, да и всей его непростой жизни, может быть, являлись главным его качеством. Он родился в 1905 году, в городе Елизаветграде, учился в Одесском институте народного хозяйства. Был участником молодежного сионистского движения и в 1928 г. эмигрировал в Палестину. После второй мировой войны возглавлял „Общество дружбы Израиль - СССР“, из которого в 1956 г. вышел в знак протеста против угрозы Советского правительства в адрес Израиля. С этого времени целиком отдавал себя журналистике, выступал во многих израильских газетах.

В нашу редакцию он впервые пришел в 1979 г. и предложил замечательно искреннюю повесть о своей жизни „Исповедь на пепелище“. С этого времени он становится постоянным израильским обозревателем журнала. Его глубокие и безусловно талантливые аналитические статьи „Сумерки богов“, „Духовная драма сионизма“, „Вслух о черном Израиле“, „Абстрактная мораль и живая история“, „Израиль - год 2000“ и многие другие, его блестящие переводы воспоминаний дочери Моше Даяна, мемуаров Абы Эвана, работ Франца Кафки принесли ему широкий и заслуженный успех у читателей. Остро критикуя израильских политиков, он любил Израиль, верил в его будущее. Он был глубоко предан журналистике и являлся человеком редкого бескорыстия. Первое, что он заявил, придя в редакцию, это то, что он раз и навсегда отказывается от гонораров - все, что он написал для журнала, было им сделано бесплатно. Вероятно, при его жизни, погруженные в редакционные дела, в повседневную текучку, мы так и не сказали этому замечательному человеку всего того, что были обязаны сказать. И только теперь, когда его не стало, мы еще долго будем ощущать его отсутствие. Таких людей, как Соломон Цирюльников, сегодня уже трудно встретить. И может быть, поэтому мы так остро переживаем его уход.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

АБРАМ Б. ЙЕГОШУА. См. № 114.

НАТАЛИЯ ВОЛЬБЕРГ. См. № 114.

ДМИТРИЙ РАШКИН. Родился в 1952 г. в Москве. В 1975 г. окончил факультет режиссеров кукольного театра в ГИТИСе. Затем работал в Москонцерте актером и режиссером, писал пьесы и инсценировки для кукольного театра, сценарии для эстрадных программ телевидения. С 1988 г. живет в Америке. В журнале „Время и мы” публикуется впервые.

ЖЕНЯ КИПЕРМАН. Родился в 1967 г. в Ленинграде, учился на режиссерском факультете Ленинградского театрального института, служил в армии. Эмигрировал в США в 1988 г. В настоящее время живет в Нью-Йорке, учится в Колумбийском университете на отделении сравнительной литературы.

АРКАДИЙ КАЙДАНОВ. Родился в 1955 г. в Нальчике. Окончил филологический факультет университета. Выпустил четыре поэтических книги „Далеко от Москвы”. С 1987 г. член Союза писателей. Печатается в „Литературной газете” и других левых изданиях.

КИРА ЧЕКМАРЕВА. Родилась в 1967 г. После окончания английской школы поступила в Менделеевский институт, который окончила в 1989 г. по специальности „Технология изотопов и особо чистых веществ”. Окончила музыкальную школу. Стихи начала писать в институте. В настоящее время работает младшим научным сотрудником Института общей и неорганической химии.

АРОН КАЦЕНЕЛИНБОЙГЕН. Родился в 1927 г. на Украине. В 1946 г. окончил Московский педагогический институт. В 1966 г. стал доктором наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР, преподавал на экономическом факультете МГУ. В 1973 г. эмигрировал в США, где получил профессию Пенсильванского университета. Автор многих книг и статей по различным проблемам экономики, политики и теории систем.

ЛЕВ НАВРОЗОВ. Родился и вырос в Москве. Переводил на английский язык Достоевского, Герцена, Пришвина, Андрея Платонова, Фазиля Искандера. В 1972 г. эмигрировал в США, издал первую из семи своих книг, имеющих общее название „Воспитание Левы Наврозова: жизнь в закрытом мире, некогда называемом Россией”. Отрывки из этой книги публиковались в журнале „Время и мы”. Там же были напечатаны эссе и статьи Льва Наврозова: „Что знает советская разведка о России”, „Посредственность и спасение Запада”, „Запад выходит напрямую к гибели”, „Где так вольно дышит человек” и др. Свыше двадцати его статей вошли как официальные материалы в протоколы конгресса.

АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. Московский журналист. Заведующий московским отделением журнала „Время и мы”. Родился в 1965 г. Окончил юридический факультет МГУ. Работал консультантом Верховного суда РСФСР, в ежемесячнике „Совершенно секретно”, в последнее время - в журнале „Диалог”. Печатался во многих центральных советских изданиях, автор ряда интервью для радио. Материалы „Полнота и фатальность истории”, „Пресса партийного будуара”, „Левиафан и Венера” были опубликованы в журнале „Время и мы”.

ЕЛЕНА ГЕССЕН. См. № 114.

ДЖОН ГЛЭД. Профессор Мэрилендского университета. Родился в штате Индиана, окончил Индианский и Нью-Йоркский университеты. Специалист в области советологии, русского языка и литературы. Заведовал институтом Кеннана по изучению России. Его перевод „Колымских рассказов” Шаламова на английский был удостоен премии как один из лучших художественных переводов Америки за 1980 г. Автор многих книг и статей. За славистские и переводческие работы Джон Глэд удостоен приза Гугенхайма. Джоном Глэдом было опубликовано 17 статей в „Энциклопедии русской литературы” Йельского университета.

БОРИС ПИСЬМЕННЫЙ. Родился в 1940 г. в г. Речице (Беларусь). По образованию инженер по системам контроля и управления и патентовед. Заведовал отделом зарубежного патентования в Институте патентной экспертизы. Переводил с иностранных языков, печатался в журналах „Вокруг света” и „Спутник”. Эмигрировал в 1981 г. В Нью-Йорке сотрудничал в патентных адвокатских фирмах, получил лицензию на частную практику. Публиковался в „Новом русском сло-

ве" и американской печати. Работал консультантом по программированию во многих американских компаниях.

ЭДУАРД ПУСТЫНИН. Родился в 1965 г. в Краснодарском крае. Учился в Кубанском государственном университете. Проходил службу в ограниченном контингенте советских войск в ДРА. Работал грузчиком, дворником, воспитателем в ПТУ. В настоящее время живет в Москве. Печатался в журнале „Студенческий меридиан“, альманахе „Поэзия“, в „Новом журнале“, „Независимой газете“. Автор „Прозы Швейцарии“ („Собеседник“, № 44, 1991 г.). Стихи и проза Пустынина переводились на французский, сербско-хорватский и немецкий языки.

SUMMARY for *Vremya i My (Time and We)* No. 115

A.B. YEGOSHUA, *The Lover*. Excerpts from the novel by the outstanding Israeli writer. Conclusion from No. 114. The theme of the novel is the life of an Israeli family, its internal conflicts shaped by the wars the country has undergone, the generation gap in Israeli society.

DMITRY RASHKIN, *My Dear Little Black Kitty*. A short novel about the life of a Moscow communal apartment, written in a fine psychological key. The dark, cheerless existence of men and women crushed by the hardships of everyday life. The lies and doublethink that flourish in a society where people are denied the slightest hope of decent, dignified life.

GENYA KIPERMAN, *Modern Verses*.

ARKADY KAIDANOV, *Civic Poetry*.

KIRA CHEKMAREVA, *Lyrical Verses*.

ARON KATZENELINBOIGEN, *To Whom Does The Future Belong?* Reflections of the present situation in Russia. A political essay that offers an analysis of the causes of the collapse of the USSR and the consequences of the August coup. An attempt to prognosticate the further development of former Soviet society.

LEV NAVROZOV, *Democracy, Culture and Optimal Happiness*. The author, an American journalist and political commentator, examines the psychological aspects of the crisis of culture in Western society, its growing philistinism and the decline of its ideals.

ANDREI KOLESNIKOV, *The Yeltsin Myth*. A Moscow journalist analyzes Yeltsin's path to power and looks at the sources of his popularity, which he explains largely by the mythological make-up of the Russian national consciousness.

ELENA HESSEN, A Soviet Jew at a Rendez-Vous. The new Jewish theme in modern Soviet literature.

The Life and Death of Varlam Shalamov. An interview of professor JOHN GLAD with assistant Director of Central Literary Archive Iraidia Sirotinskaya about the destiny of the great Russian writer, author of the famous Kolyma Tales.

BORIS PISMENNY, Suburbia. The author, a recent Soviet emigre who works for an American insurance company, gives a humorous account of his life in America, the people around him, their mentality, character, and views.

EDUARD PUSTYNIN, The Afghan. A true story by a former Soviet soldier in Afghanistan.



панорама

Nation's Largest Independent American Russian Weekly

Крупнейшее независимое еженедельное издание на русском языке
Издаётся с 1980 года в Лос-Анджелесе
Главный редактор А. Половец

Постоянные рубрики газет:

Обзор и комментарии к событиям международной и внутренней жизни.
Обзор важнейших событий, происходящих в Америке.

В числе постоянных авторов газеты известные журналисты русского зарубежья.
П.Вайль, А.Генис, В.Гинзбург, Б.Парамонов, Г.Рискин, А.Харьковский,
П.Вегин, А.Жолковский, С.Рахлин, П.Стойкила, С.Фрумкин, В.Шим,
М.Демин, Г.Менкер,
Е.Монин,
В.Головской, М.Михайлов, С.Резник,
А.Асаркан,
О.Мехсимова, М.Маркисон, Т.Шуман,
Ю.Адамов.

Глобус, Телетайп

США, Калифорния

Публицистика

В США: Нью-Йорк
Лос-Анджелес
Сан-Франциско
Филадельфия
Вашингтон
Чикаго

В Канаде
В Израиле

Европейские репортажи

Из Франции
Из Германии
Из Швеции
Из Голландии

Из Москвы

Ведут писатели и журналисты:
А.Арсентов, А.Аладин, А. и Б. Шлеен, К.Салгир,
С.Бадюш, В.Белоцерковский,
О.Нурден,
И.Гриневич.

Аккредитованный в Москве В.Бегичев наш корреспондент и руководитель представительства Панорамы, ведет постоянную рубрику Размышления у стен Кремля.
К нам также поступают корреспонденции журналистов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Риге, Харькове и ряде других городов.
В специальной рубрике мы публикуем наиболее актуальные материалы неофициальной и издательств «Экспресс-Хроника».

Интервью «Панорамы»

Беседы корреспондентов «Панорамы» с политическими и общественными деятелями и работниками искусства.

Обзор прессы

Наиболее актуальные публикации из зарубежной русскоязычной и советской прессы, переводы из американских и европейских периодических изданий.

Литература

В «Панораме» впервые публиковались отдельные произведения В.Аксенова, Ю.Алешковского, А.Бородина, И.Губермана, И.Ефимова, Э.Аймонова, С.С.Соколова, А.Жолковского, А.Халифа, А. и А. Шаргородских, А.Равнера и ряда других писателей и публицистов, живущих в США, Европе и Израиле. Живущие в России писатели В.Бродяга, Т.Полстав, А.Сирянына, В.Вишняцкий и другие неоднократно передавали «Панораме» право на первую публикацию своих произведений.

Книжные полки

В этом разделе рецензируются новые русские книги, выходящие в свет на обоих континентах.

Другие разделы

Наука, Здоровье, Спорт, Кино, Театр, Искусство, Юмор.

Заполните этот купон и вышлите его по адресу:

Almanac, P.O. Box 480264, Los Angeles, CA 90046, USA

Прошу подписать меня на газету «Панорама» на срок ☐ 12 мес. (\$3.00 дол.) ☐ 6 мес. (\$0.00 дол.)
в Калифорнии (incl State Tax) ☐ 12 мес. (\$7.37 дол.) ☐ 6 мес. (\$2.47 дол.)
в Канаде ☐ 12 мес. (\$6.00 дол.) ☐ 6 мес. (\$3.00 дол.)
в СНГ (бывший СССР) ☐ 12 мес. (\$108.00 дол.) ☐ 6 мес. (\$58.00 дол.)
в других странах ☐ 12 мес. (\$8.00 дол.) ☐ 6 мес. (\$0.00 дол.)

Чек (Money Order) на сумму _____ прилагаю

Газету прошу высылать по адресу:

Name _____ Tel _____
Address _____
City _____ State _____ ZIP _____



**В марте 1992 года
на территории Российской Федерации
начала выходить ГАЗЕТА «24»**

«24» — это самая оперативная информация о событиях в России и СНГ, на всех континентах планеты, анализ и комментарии, прогноз. В каждом номере газеты публикуются эксклюзивные материалы лучших репортеров страны, телевизионные обозрения, кроссворды, проводятся различные конкурсы.

«24» — это издание для самого широкого круга читателей: политических деятелей и бизнесменов, сотрудников академических учреждений, учащихся и студентов, рабочих, фермеров, крестьян, домохозяек и ученых.

«24» — газета без политических пристрастий или партийных интересов, новости без морализаторства, анализ и прогноз без предвзятости. Она исповедует сдержанный, без вульгарности и политического экстремизма стиль, не навязывает свое мнение, а стремится представить самые разнообразные точки зрения по проблемам нашей жизни.

«24» поможет читателям сориентироваться в экономическом водовороте, найти партнеров для делового сотрудничества как в своей стране, так и за рубежом.

«24» — это вся корреспондентская сеть ТАСС и другие высокопрофессиональные журналисты. На ее страницах публикуются сообщения советской и иностранной прессы, ведущих информационных агентств мира, материалы из заслуживающих доверие конфиденциальных источников. Для достижения высокой оперативности используется самая современная компьютерная технология.

«24» имеет формат А2, объем 8-12 и более полос, печать двухцветная. Среди ее учредителей: ТАСС, ВАО «Соврыбфлот», журналисты редакции.

«24» распространяется в России и других странах содружества.

«24» представляет свои страницы для размещения рекламы коммерческих структур, организациям и частным лицам на выгодных условиях.

Адрес редакции: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия
☎ 292-30-54, 292-36-23. Факс 203-30-49

Агентство „24“ (ATF) - деловой партнер в мире бизнеса, рекламы, издательской деятельности.

- Наша фирма будет рада оказать Вам помощь в сборе и анализе информации о событиях в России и странах СНГ. Мы занимаемся редакционно-издательской деятельностью, предоставляем рекламные, сервисные, продюсерские, представительские услуги.

- Агентство „24“ (ATF) окажет Вам помощь в поиске партнера для бизнеса, мы готовы предоставить Вам эксклюзивную информацию о деловом и финансовом потенциале Вашего партнера в России, провести маркетинговые исследования.

- Мы выпускаем экономический бюллетень 'Рынки на Востоке' на немецком языке и распространяем его по подписке среди деловых кругов Германии, а с августа 1992 г. предполагается издание его на английском языке для Южной Кореи, Америки и некоторых стран Европы.

- Кроме того, Агентство „24“ (ATF) готовит специализированные информационные обзоры о событиях в России и СНГ, выполняет эксклюзивные заказы на подготовку интервью, репортажей, аналитических статей для газет, журналов, информационных агентств, ТВ. Мы работаем в тесном контакте с лучшими журналистами страны, корреспондентами газеты '24' и ИТАР-ТАСС.

- Агентство „24“ (ATF) предлагает художественно-графическое оформление оригинал-макетов книг, брошюр, календарей, и другой печатной продукции с дальнейшим полиграфическим исполнением в типографиях с бумагой.

- Наша фирма готова взять на себя организацию курсов и семинаров русского языка, обеспечить учебными пособиями и квалифицированными преподавателями.

- Агентство „24“ (ATF) поможет Вам провести в России выставку, конференцию, переговоры, обеспечит досуг.

- Предлагаем Вам сотрудничество во всех, заинтересовавших Вас областях нашей деятельности.

Наш адрес: 103009, Москва, Тверской бульвар 10-12, Россия.
Тел.: 292-36-09, 292-30-91.
Факс: 203-30-49.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗДОРОВЬЯ

Гл.ред. академик *В.И.Покровский*.

В 4-х томах. - М.: ИПО „Автор“, 1992

Медицинская энциклопедия - всеобъемлющее и общедоступное издание, которым могут воспользоваться как больные, так и здоровые.

Тот, кто хочет профилактически обезопасить свой организм от заболеваний, найдет в ней советы и рекомендации о закаливании, о нормах и составе пищи в зависимости от возраста, профессиональные рецепты и многие другие полезные и необходимые сведения, помогающие предупредить болезни у взрослых и детей.

Вы заболели? На вас обрушилась неожиданная беда? „Энциклопедия здоровья“ поможет вам узнать о вашем заболевании, расширить знания о самом себе, увидеть многое из того, что остается за рамками сухих врачебных предписаний.

Неоценимую помощь окажет это издание людям при острых, угрожающих жизни состояниях - отравлениях, биологических изменениях в организме, перегрузках. В ряде случаев самопомощь, оказанная своевременно, поможет спасти жизнь.

Вы здоровы и хотите сохранить свое здоровье на долгие годы? Не откажите себе в удовольствии иметь в доме уникальное издание - четырехтомник медицинской „Энциклопедии здоровья“.

ВРЕМЯ И МЫ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ЖУРНАЛА
ЗА 16 ЛЕТ ИЗДАНИЯ, С № 1 ПО № 111

На страницах журнала печатались такие выдающиеся современные писатели, как Сол Беллоу, Артур Кестлер, Олдос Хаксли, Эфраим Кишон, А.Б. Иошуа и многие другие.

Среди его авторов — известные писатели современной России и русского зарубежья: Василий Гроссман, Лидия Чуковская, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Иосиф Бродский, Семен Липкин, Инна Лиснянская, Юз Алешковский, Владимир Марамзин, Александр Зиновьев, Аркадий Львов.

В разделе публицистики выступают: Андрей Синявский, Ефим Эткинд, Дора Штурман, Лев Наврозов, Амос Оз, раввин Адин Штейнзальц, Борис Шрагин и др.

С именем журнала «Время и мы» связано появление в русской литературе целого созвездия талантливых имен: Фридриха Горенштейна, Бориса Хазанова. Зиновия Зиника, Юрия Карабчиевского, Феликса Розинера.

Большой популярностью у читателей пользуется раздел «Из прошлого и настоящего», где были опубликованы воспоминания о Бунине, мемуары Марии Иоффе (бывшего секретаря Л. Троцкого), Самуила Микуниса (в прошлом генерального секретаря компартии Израиля), письма Лескова, переписка Николая Милюкова, дневники Ольги Берггольц.

Журнал высоко ценится среди либеральной интеллигенции современной России, откуда редакция постоянно получает письма и рукописи.

Стоимость полного комплекта журнала — 1186 доп.

Для подписчиков — скидка 15%

Тот, кто приобретает комплект журнала, в качестве подарка получает полный комплект книг издательства «Время и мы».

Заказы и чеки высылайте по адресу:

Time and We
409 Highwood Avenue.
Leonia, NJ 07605. USA

БОРИС ХАЗАНОВ**Я ВОСКРЕСЕНИЕ И ЖИЗНЬ***ОДНОТОМНИК ИЗБРАННОЙ ПРОЗЫ* 352 стр.

Однотомник избранной прозы Бориса Хазанова включает три произведения, которые объединены общей темой. Эта тема — "антивремя", эпоха, давшая жизнь поколению, чье детство и юность протекли в промежутке между двумя мировыми войнами. Вместе с тем антивремя — это время, обращенное вспять, упорядоченное нашей памятью и как бы переживаемое заново.

Повесть "Час короля" — история вымышленного миниатюрного государства, оккупированного нацистской Германией.

"Я Воскресение и Жизнь" — семейная драма, в центре которой стоит ребенок.

"Антивремя" — роман, действие которого, как и в предыдущей повести, происходит в Москве. Это история любви, связавшая трех молодых людей и рассказанная много лет спустя ее единственным оставшимся в живых участником. В роман вплетена тема "двойного отцовства" русского и еврейского, которая становится частью общей темы исторической судьбы страны. Написанная в конце 70-х годов, книга вместе со всеми черновиками была арестована КГБ и позднее написана автором заново.

Все три произведения Бориса Хазанова, писателя, работающего в современной аналитической манере, с использованием многозначной символики и фантастики, но пишущего ясным, лаконичным и гармоническим языком, воспроизводят одну и ту же жизненную ситуацию — одиночество человека, отстаивающего свое достоинство перед грозными силами неумолимой Истории, деспотического Государства и своего собственного душевного подполья. Книги Бориса Хазанова не относятся к роду политической, идеологической, националистической или какой-либо иной ангажированной литературы. "Душа мытарствует по России в XX веке" — в этих словах Блока заключена вся его программа.

Заказы и чеки присылайте на адрес издательства:

Time and We

409 Highwood Ave, Leonia, N J 07605

Цена 15 долларов, включая пересылку

Виктор ПЕРЕЛЬМАН**ТЕАТРАБСУРДА**

**Комедийно-философское повествование о
моих двух эмиграциях. Опыт антимемуаров**

СОДЕРЖАНИЕ:**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. РОДИНА, ТЕКСТЫ И Я**

Нью-Йорк; Правительство в изгнании; Шинау; Израиль; Бейт-Бродецкий; Рувен Веритас и другие; Снова Нью-Йорк; «Свободный мир»; Мой иностранный паспорт; Дядя Сол; Под знойным солнцем Тель-Авива; Что нужно бедному еврею?; Дом, в котором я жил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАЛП «АВРОРЫ».

Инженер Сэм Житницкий; «Оплот Израиля»; Мы жили... Мы ждали; Судьбоносный день; Сага о черемухе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НАХМАНИ, 62

Мой Атлантик-Сити; Лорд Шацман и его персонал; Про Мейерхольда и Ворошилова; Странная штука — жизнь; Лефортовская одиссея; Ленин-Бланк и наша эмиграция; Мать и мачеха; Пир победителей; Облака плывут, облака.

Книгу можно заказать в редакции «Время и мы».

**"TIME AND WE", 409 HIGHWOOD AVENUE
LEONIA, NJ 07605, USA
Tel. (201)592-6155**

Цена книги 10 долларов.

В книге 254 стр.

"МЕЛКИЙ ЖЕМЧУГ"

"Мелкий жемчуг", новая книга Аллы Кторовой, разнопланова и многотемна. Это литературно-исторический коллаж, где описание пращуров и предков прошиваются картинками жизни современной Москвы, а воспоминания о детстве и юности во время Второй мировой войны идут параллельно с рассуждениями о современной литературе, взглядами автора на нового человека эпохи НТР и т.д.

"Мелкий жемчуг" продается во всех магазинах русской книги США и Европы. В книге 303 страницы, с портретом автора и фотоиллюстрациями. Обложка выполнена Вагричем Бахчаняном. Цена книги — 20 долларов. За пересылку — 1 доллар. Заказы на книгу также принимаются по адресу:

Victoria Sandor,
5838 Edson Lane,
Rockville, MD, 20852
USA

Феликс РОЗИНЕР

101 СЛОВО = 12 СТИХОТВОРЕНИЙ

*Цикл с поэтикой аллитераций и
смысловой игры, словотворчества
и номинативной краткости.*

Факсимильное издание рукописи:
13 отдельных листов в папке
на рисовальной бумаге «Энгр».

Весь тираж — 212 нумерованных и подписанных
автором экземпляров, из которых для продажи
предназначена только часть.

14 долларов (с пересылкой). Заказы у автора
по адресу:

Felix Roziner
866 Beacon Str. Apt. 2
Boston, MA 02215, USA

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русской энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходившей в 1890-1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство «Терра» (Москва). Доход от продажи энциклопедического словаря пойдет на закупку одноразовых шприцов и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненые золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание будет осуществлено в течение 1990-1994 гг. Стоимость одного тома 28 амер. дол. Пересылка в США и Канаду 99 центов за том, в другие страны мира 1 дол. 99 центов за том. Оплата подписки может производиться поточно по мере выхода книг в свет. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30-процентная скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит 1600 дол. плюс 56 дол. (в США и Канаде) или 113 дол. (в остальных странах) за переслему. Для подписавшихся на адрес в СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton Centre, MA 02159, USA. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира, включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеуказанные благотворительные цели.

ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

ПОКИНУТАЯ РОССИЯ. ЖУРНАЛИСТ В ЗАКРЫТОМ ОБЩЕСТВЕ

Второе издание книги Виктора Перельмана, которая в 1976 году вышла очень маленьким тиражом в Израиле, полностью раскуплена и уже давно исчезла с книжного рынка. Книга выходит в новой редакции, с предисловием Ефима Эткинда и послесловием автора. Автор книги, главный редактор журнала «Время и мы» и в прошлом известный советский журналист, рассказывает о своей жизни в СССР. Бывший корреспондент Московского радио, фельетонист газеты «Труд», спецкор и заведующий отделом информации «Литературной газеты» пишет о нравах советской печати, раскрывает малоизвестную широкому читателю кухню советских газет и руководящего ими партийного аппарата.

Значительная часть книги посвящается жизни советских писателей и «Литературной газеты», которую автор называет «Гайд-парком при социализме». Он рисует образы известных советских писателей и журналистов — Александра Чаковского, Константина Федина, Сергея Михалкова, Леонида Соболева, Федора Абрамова, Алексея Аджубея и многих других. В книге рассказывается о нравах высшего суда партии — Комитета партийного контроля, — через который в годы молодости лично прошел автор книги. Он раскрывает процветавший там антисемитизм, рисует образ одного из тогдашних вождей страны, председателя КПК Н.М.Шверника, показывает обстановку ненависти и лжи, царившую в высшем суде партии.

По существу — это исповедь бывшего советского журналиста, который много лет служил, как он сам пишет, идолам лжи и который прошел долгий путь мучительного раздвоения и внутренней борьбы, прежде чем окончательно порвал с советским режимом.

В книге 320 страниц, цена книги — \$16. Заказы и чеки направлять по адресу:
Time and We, 409 Highwood Avenue, Leunja, N.J. 07605

НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ТРЕТЬЯ ВОЛНА»

МИХАИЛ КРЕПС

«ИНТЕРВЬЮ С ПТИЦЕЙ ФЕНИКС»,

142 стр.

Михаил Крепс — один из интереснейших и оригинальнейших поэтов русского Зарубежья. Его стихи печатают все ведущие русскоязычные журналы — «Континент». «Время и мы», «Новый журнал». «Стрелец», альманах «Встречи» и др.

Новый сборник отличается необычностью стиля и свежестью поэтического восприятия. Стихи сборника, весьма неожиданные и новаторские для русской поэтической традиции, вызвали оживленные дискуссии как среди специалистов-стиховедов, так и рядовых любителей поэзии.

Цена книги — 9 долларов

Пересылка за счет издательства

Заказы направлять по адресу:

В Европе:

Third Wave Publishing House
Chateau du Moulin de Seds 91230,
Montgeron, France

В США:

Third Wave Publishing House
286 Barrow Street, Jersey City,
NJ 07302, USA

Новые книги «ЭРМИТАЖА»

Ашкенази В. «Преодолеваю границы».	12.50
Бар-Ор. «Приходят века и уходят века» (Стихи)	8.00
Близнецова И. «Вид на небо» (Стихи)	8.00
Вайль П., Генис А. «Родная речь».	12.00
Визель Эли. «Завет». (Роман.)	12.50
Галич Александр. «У микрофона». (172 с.)	12.00
Гандельсман В. «Шум земли» (Стихи)	8.00
Губерман И. «Прогулки вокруг барака».	10.00
Довлатов С. «Чемодан». (Повесть, 120 с.)	7.50
Ефимов И. «Кто убил президента Кеннеди?»	10.00
Ефимов Игорь. «Светляки». (Афоризмы, 110 с.)	8.00
Ефимов Игорь. «Седьмая жена». (Роман 420 с.)	14.00
Жемчужная З. «Пути изгнания». (Восп. 300 с.)	14.00
Зайчик Марк. «Феномен». (Рассказы, 184 с.)	8.50
Иванов Георгий. «Третий Рим». (Избр. проза)	14.00
Избранная проза семидесятых. (260 стр.)	14.00
Лосев Лев. «Тайный советник». (Стихи)	8.00
Лосская В. «Цветая в жизни». (320 с.)	15.00
Матлин В. «Эффект Либерсона». (Рассказы)	8.00
Муравина Н. «Встречи с Пастернаком» (220 с.)	15.00
Найман Анатолий. Стихотворения	8.00
Озерная Н. «Разговорник для новых американцев»	9.00
Платова В. «Неяркая жизнь Сани Корнилова».	7.50
Поэтика Иосифа Бродского. (Ред. Л. Лосев)	12.00
Рачко Марина. «Через немогу». (Повесть)	6.50
Рейн Е. «Против часовой стрелки». (Стихи)	8.00
Россия глазами женщин. (Лит. антология)	8.50
Сведенборг Э. «Основы учения». (200 с.)	12.00
Свицкий Г. «Прощание с Россией». (160 с.)	8.50
Сулов Илья. «Мои автографы»	10.00
Телесин Ю. «1001 советский полит, анекдот»	10.00
Троцкий Лев. «Дневники и письма» (304 с.)	14.00
Шварц А. «Жизнь и смерть М. Булгакова»	12.00
Шляпентох В. «Открывая Америку» (200 с.)	9.00
Эткинд Ефим. «Стихи и люди». (160 с.)	9.00

Заказы и чеки отправлять по адресу: Hermitage, P.O.Box 410. Tenaflly, N.J. 07670, USA.

К стоимости заказа добавьте 2.00 дол. на пересылку (независимо от числа зак. книг). При покупке 3-х и более книг скидка 20%.

ТАМАРА МАЙСКАЯ «КОРАБЛЬ ЛЮБВИ»

Второй сборник произведений Тамары Майской. Первый «Погибшая в тылу», киносценарии и пьесы вышел в США в 1984 г. Рассказы и статьи Т. Майской регулярно печатаются в русскоязычной прессе США, а также в переводах на английском языке.

Книга состоит из трех частей.

1. БРАК БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ — рассказы, написанные автором еще в Советском Союзе подпольно.

«Т. Майская изображает советскую жизнь правдиво, без прикрас, с глубоким пониманием того, что видела и выстрадала» (А. Андреев «Новое русское слово»).

«Она приподнимает завесы над многими сторонами советского общества. Автор ставит в своих произведениях общечеловеческие проблемы» (Майкл Эндрюс. д-р наук, проф. русского языка и литературы).

2. АННУЛИРОВАННОЕ ДЕЙСТВИЕ — автор на основе личного опыта — преподавателя русского языка для иностранцев в СССР — показывает психологию советского человека, вынужденного вести двойную жизнь: думать одно, а вслух говорить другое.

«Аннулированное действие» — проза, написанная в современной исповедальной форме.

3. КОРАБЛЬ ЛЮБВИ — рассказы, написанные автором в США. Русский читатель-эмигрант найдет в них яркое описание своих переживаний: трудности первых лет жизни в чужой стране, заботы и радости... сбывшиеся и несбывшиеся мечты...

Выходит в издательстве «Время и мы».

Объем книги 321 стр. Цена 12 долларов.

Заказы и чеки посылайте по адресу:

Tamara Mayskaya
11501 Mayfield Rd., No. 306
Cleveland, OH 44106, USA

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АНТИКВАРИАТ"

- И. АКСЕНОВ. Пикассо в окрестности. — 12 долларов.
 М. БАХТИН. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. — 36 долларов.
 А. БЕЛЫЙ. Христос воскрес. — 5 долларов.
 К. ВАТИНОВ. Труды и дни Свистопова. — 10 долларов.
 Е. ДУМБАДЗЕ. На службе Чека и Коминтерна. — 10 долларов.
 П.П. ЗАВАРЗИН. Работа тайной полиции. — 10 долларов.
 А. КОТОМКИН. О чехословацких легионерах в Сибири. — 10 долларов.
 П.Н. КРУПЕНСКИЙ. Тайна императора. — 7 долларов.
 В.И. ЛЕБЕДЕВ. Борьба русской демократии против большевиков. — 12 долларов.
 Н. РЕЗНИКОВА. Пушкин и Собольская. — 5 долларов.
 А.РЕМИЗОВ. Пляс Иродиады. — 12 долларов.
 И. СЕВЕРЯНИН. Колокола собора чувств. — 5 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Ход коня. — 12 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Гамбургский счет. — 15 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Сентиментальное путешествие. — 20 долларов.
 В. ШКЛОВСКИЙ. Техника писательского ремесла. — 10 долларов.
 Э. и О. ШТЕЙН (составители). Чтобы Польша была Польшей. — 9 долларов.
- Готовится к печати:
 В. КРЕЙД (составитель и автор комментариев). Георгий Иванов — Несобранное. Ориентировочная цена — 25 долларов.

Деньги и чеки присылать по адресу:

E.SZTEINS ANTIQUARY

594 Chestnut Ridge Rd.

Orange, CT 06477, USA.

ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ И МЫ» — 1992

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость годовой подписки в США — 59 долларов; с целью экономической поддержки редакции — 69 долларов; для библиотек — 86 долларов

Цена в розничной продаже — 19 долларов.

Подписка оплачивается в американских долларах чеками американских банков и иностранных банков, имеющих отделения в США, и высылаются по адресу: «Time and We».

409 HIGHWOOD AVENUE, LEONIA, NJ 07605, USA

TEL: (201)592-6155

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Фамилия.....

Имя.....

Адрес.....

Подписной период.....

Прошу оформить подписку на журнал «Время и мы» на.....год. Высылать с номера.....Журнал высылать обычной (авиа) почтой по адресу:

Подпись.....

Отвергнутые рукописи не возвращаются и по их поводу редакция в переписку не вступает.

Редакция осуществляет стилистическую правку рукописей без дополнительного согласования с авторами.

MAIN OFFICE
409 Highwood Avenue. Leonia. NJ 07605
(201)592-6155

Набор, изготовление оригинал-макета выполнены ИПО „Автор”
123423, Москва, пр. Маршала Жукова, д. 39. корп. 1.
Тел. : 943-90-91

OCR и вычитка - Давид Титиевский, август 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На первой странице обложки коллаж Вагрича Бахчаняна.
На четвертой странице обложки: Семен Окштейн
„Нью-йоркская лэди”**

